



3 1761 03596 8668

LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1914

1914

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1914

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

НИК СУХАНОВ

7096

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО И. Г. ТРЕХЛЕР

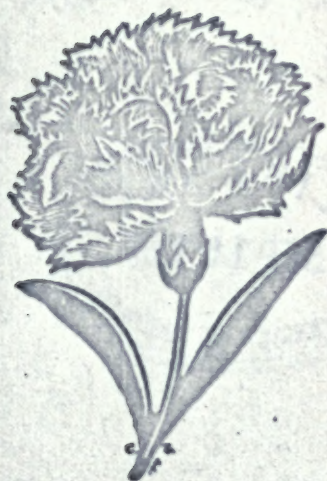
ВЛАДИВОСТОК - ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА

1926

НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ
О
РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ПЯТАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА

1 9 2 3

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten

Copyright 1922 by Z. J. Grschebin Verlag, Berlin



DK
265
S847
1922a
km. 5



ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

НИК. СУХАНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО Э. И. ГРЖЕБИНА

БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА

1 9 2 3

Reproduced by
DUOPAGE PROCESS
in the
U.S. of America

Micro Photo Division
Bell & Howell Company
Cleveland, Ohio 44112

DP # 10973



947.083

S9482

V. 5

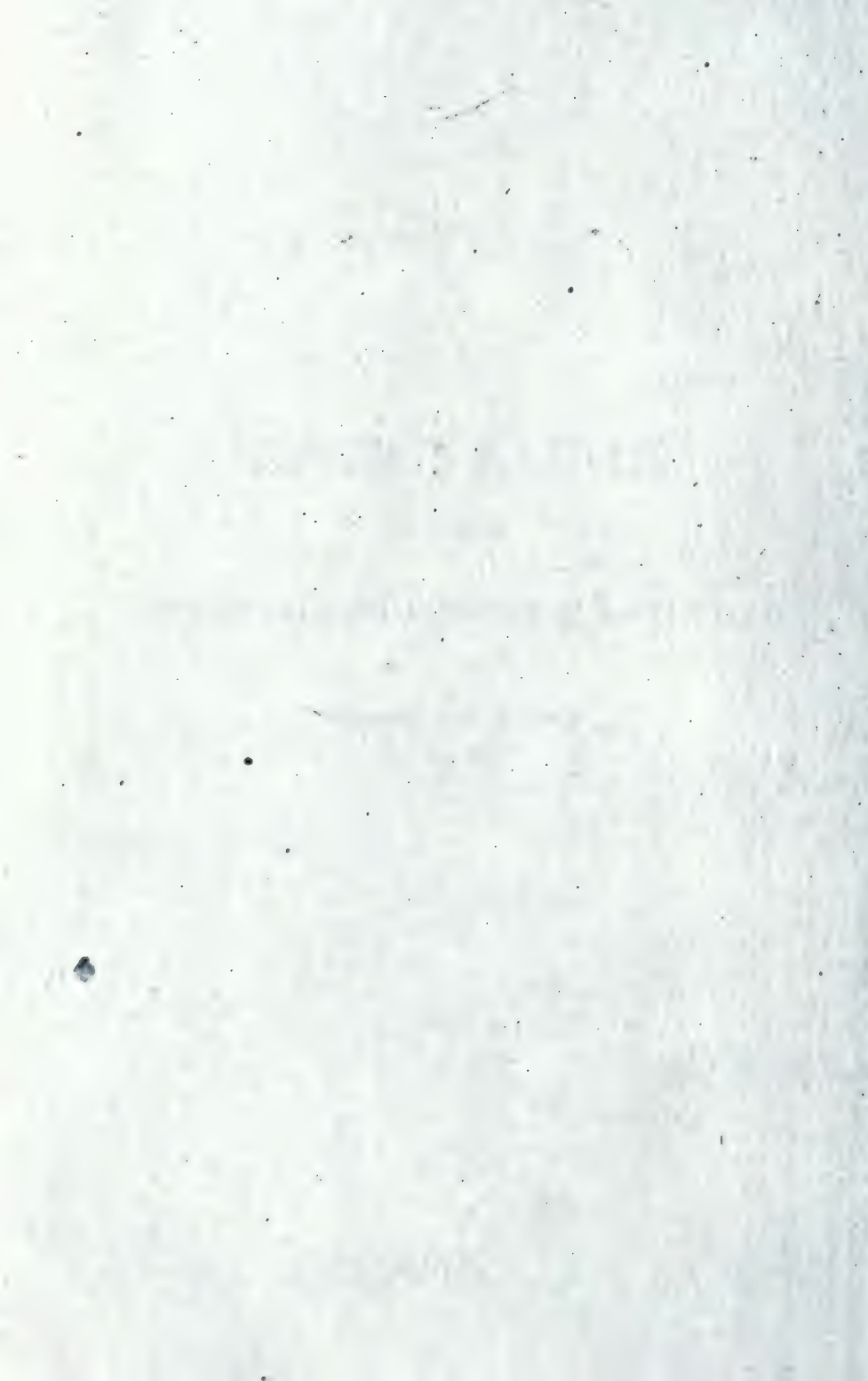
КНИГА ПЯТАЯ

РЕАКЦИЯ И КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ

8 июля — 1 сентября

1917 г.

558838



1. ПОСЛЕ «ИЮЛЯ»

Керенский и его эпоха. — Вторая коалиция. — Репрессии. — Ленин из подполья. — Стеклов в бесте. — Перекидной огонь буржуазии. — В провинции. — На фронте. — Вопрос о диктатуре. — Керенский и «независимость власти». — Вопрос о диктатуре в Ц. И. К. — «Правительство спасения революции». — Почва для диктатуры. — Депрессия и реакция в массах. — «Успокоение» флота в Кронштадта. — Выдача вождей. — Восстановление смертной казни. — Церетели в роли Плеве. — Гонения на печать. — Военная цензура. — Министерские циркуляры. — Злость и слабость второй коалиции. — История с финляндским сеймом.

Да, имеют герои свою судьбу!.. Демократия была для Керенского абсолютной ценностью. Он искренне видел в ней цель своего служения революции. Он самоотверженно служил ей при царском самодержавии. Начиная с эпохи возглавления им полулегальных кружков, когда Керенский волею судеб был главным открытым выразителем всего скрытого, подпольного движения, — и до сих пор, до эпохи возглавления им правительства и государства, Керенский являлся миру в образе пламенного поборника и — если угодно — поэта демократии... Ныне, после июльских дней, Керенский стал главой правительства и государства. И эта эпоха, — эпоха, называемая его именем, именем «керенщины», была эпохой разложения, удушения, гибели демократии. Керенский был

тут главным, самым активным и самым ответственным героем.

Не в добрый час началось его премьерство и не добром оно кончилось. Оно началось под знаком контр-революционных потуг и покушений. Эти покушения не удалось: революция сохраняла еще слишком много накопленных сил, а у плутократии не было ничего, кроме ярости, клеветы и жалких, распыленных обрывков царизма. Контр-революция не удалась во время июльской смуты. Но наступила прочная, упорная, глубокая реакция.

Эта реакция была и раньше. Уже два месяца назад, с началом первой «коалиции», революция после некоторых зигзагов и колебаний вышла на прямую дорогу деградации и упадка. Но до сих пор этот процесс имел пассивный характер; теперь, при Керенском, реакция стала активной. До сих пор реакционные классы оборонялись; теперь буржуазный блок перешел в наступление. Раньше, до июльских дней, реакция выражалась в свободе саботажа, в невозбранном пренебрежении нуждами революции; сейчас, при Керенском-премьере, началась действенная ликвидация рабоче-крестьянских завоеваний. Правительство цензовика Львова вело с революцией борьбу на истощение; правительство демократа и социалиста Керенского повело эту борьбу на сокрушение... Факты и итоги мы увидим в этой книге.

* * *

Вторая коалиция, созданная 7-го июля под предводительством Керенского, прожила не долго — всего две недели. Срок совершенно недостаточ-

ный ни для того, чтобы «спасти», ни для того, чтобы погубить революцию. Но совершенно достаточный для того, чтобы как следует показать себя.

Это было сделано с полным успехом.

Новое правительство, прежде всего, энергично продолжало начатые обыски, аресты, разоружения и всякие преследования. Оно делало это в лице советского лидера, министра внутренних дел, меньшевика Церетели, но — не только в его лице. Военные власти, во главе с quasi-советским Керенским, также действовали во-всю. Определенно взятый правительственный курс развязал широкую частную инициативу. Самочинные группы офицеров, юнкеров, а, кажется, и золотой молодежи, бросились «помогать» новой власти, которая явно стремилась проявить себя в качестве «сильной власти»... Разоружались не только мятежные полки и батальоны. Едва ли не большее внимание было устремлено на рабочие районы. Там разоружалась рабочая «красная гвардия». Оружия собирались огромные массы. Особенно лихой набег был произведен на Сестрорецкий завод, где победители насильничали и бесчинствовали, как в завоеванном городе. Попутно производились аресты, но большинство задержанных приходилось распускать.

Большевиков ловили и сажали всех, кто попадется. Керенский и его военные соратники определенно стремились стереть их с лица земли и перевести на нелегальное положение. Но советские сферы сдерживали патристический восторг победителей. Объявить формально большевизм, как таковой, за пределами легальности все-таки не удалось — согласно известной нам резолюции Ц. И. К. ... Впрочем, репрессии сыпались непосред-

ственно только на большевистское «офицерство» и на массовиков. Из генералов в июльские дни был арестован, кажется, один Каменев; затем через несколько дней, при возвращении из Стокгольма, была арестована на границе Колонтай — разумеется, «с важными документами»; и, наконец, та же участь постигла Рошаля; Ленин и Зиновьев скрылись, так сказать, официально. Троцкий, Сталин, Стасова и многие другие пока-что не ночевали дома и находились «неизвестно где». Раскольников отсиживался в Кронштадте, под охраной своей армии. Но, надо сказать, что полицейский аппарат революционного правительства, хотя и восстанавливался, но был еще очень слаб; и второстепенных большевистских вождей, имена коих не фигурировали в газетах, власти просто не знали.

Ленин и Зиновьев из своего подполья прислали к нам в «Новую Жизнь» письмо — подписанное и Каменевым. Письмо, строках на 60, заключало в себе оправдания по существу дела и полемику с обвинителями и клеветниками. Не следует сомневаться в том, что все конкретные (иной раз — довольно мелочные) утверждения этого письма решительно ни в чем не расходились с истиной. Но все же письмо произвело на нас пренеприятное впечатление. Газетная полемика по существу, из подполья, была тут явно не при чем: дело слишком далеко выходило за ее пределы. Совсем не было охоты судить на основании этого письма, получали ли большевики какие-нибудь деньги через Козловского из-за границы, знали ли авторы письма г-жу Суменсон и т. д. Большевикам можно было бы совсем пренебречь обвинениями и не отвечать на них по существу. Это была бы как-ни-как «линия

поведения». Но требовать реабилитации и полемизировать из-за пределов досягаемости — это было совсем странно. Редакция, не желая в то время ставить на вид эту «странность», сделала к письму Ленина кислую приписку, написанную Тихоновым; она гласила, что ведь имеется следственная комиссия, которая и разберет существо дела. Наряду с этим наша газета чуть не ежедневно подчеркивала тогда всю лживость и гнусность клеветы против Ленина. Но это не помешало большевикам обвинять «Новую Жизнь» чуть ли не в том, что она присоединила свой голос к буржуазной травле и клевете... Между прочим, Ленин и Зиновьев восклицали в своем письме: «захотят ли партии с. р. и меньшевиков сделать канун созыва Учр. Собрания в России началом дрейфуспады на русской почве!» — Читатель сам оценит со временем этот пафос...

Так или иначе, все большевистские вожди после июльских дней временно исчезли с горизонта. Налицо были Луначарский, Рязанов, да еще, для представительства в Ц. И. К., был прислан москвич Ногин, одна из важнейших фигур московского совета, один из старейших большевиков — небольшого, однако, внутреннего содержания. Может быть, при этих фигурах в Ц. И. К. были и еще какие-нибудь безымянные лица, но решительно не помню — кто... Стеклов в то время направо и налево отрекся от большевиков; при этом он усиленно ухаживал за нами, меньшевиками-интернационалистами, убеждая нас, в виду разгрома большевизма, объединиться с его обрывками и стать во главе крайней левой. Но дипломатии Стеклова тут было недостаточно.

Да и самому Стеклову не помогли его экивоки. В ночь на 10-е июля, когда на финляндской даче Бонч-Бруевича ретивый отряд юнкеров разыскивал Ленина, то Ленина он там не нашел; но был удовлетворен другой лакомой добычей в лице знаменитого Стеклова, которого под усиленным конвоем и привезли в Петербург, прямо в главный штаб. Так как он «с большевиками не имеет решительно ничего общего», то его скоро отпустили. Но он не отправился домой. Много дней спустя его в самое неурочное время можно было видеть в Таврическом бесте, где он бродил, как тень, и отвечал на удивленные вопросы:

— Я не выхожу отсюда ни днем, ни ночью. Я тут живу. Разве можно! Убьют... Вы знаете, что против меня...

А юнкера гонялись не только за Стекловым, «не имеющим ничего общего с большевизмом». Разгромив большевистские организации, *de jure* легальные, они пошли дальше и совершили набег на самих правительственных меньшевиков, партию коих возглавлял министр внутренних дел. Как будто это было уже слишком? Но это было в полном соответствии с «общими настроениями», а в частности — с курсом буржуазной печати. Эта печать, видимо, считала, что с большевиками дело покончено; и добивая приниженного, павшего, презренного врага, кадетская «Речь» с ее бульварными подголосками чем дальше, тем больше начинали бить правее: по Чернову, по Церетели, по меньшевикам и эсерам, по Совету вообще. Это было неизбежно, вполне последовательно и дальновидно. В интересах буржуазной диктатуры, ставшей такой близкой и возможной, надо было именно

советы стереть с лица земли. Ведь именно в них, с точки зрения плутократии, заключался первоуродный грех революции, источник «двоевластия» и корень зла. Кампания стала разворачиваться совершенно открыто.

С другой стороны, еще не совсем исчезли факторы, питающие слева эту кампанию. Левые эсеры, которые объявили в эти дни о своей свободе действий внутри эсеровской партии (и уподобились в этом отношении меньшевикам-интернационалистам), вдруг призвали в своей газете «Земля и Воля» к новой манифестации на 15 июля — день убийства царского министра Плеве эсером Егором Сазоновым. А кроме того и Раскольников, в кронштадтском советском органе, пытался назначить новое «мирное выступление». Он выбрал для этого 18-ое июля. Это было уже серьезнее — если не для судеб революции, то для успеха реакционного натиска. На деле из этих призывов, разумеется, ничего выйти не могло. И сколько-нибудь серьезные левые элементы хорошо оценивали весь их вред. Петербургская организация меньшевиков (бывшая, как известно, в руках интернационалистов) выпустила в эти дни воззвание к провинциальным товарищам: в нем заключалось требование во что бы то ни стало «удержать рабочий класс от открытого боя в данный момент отлива»...

* * *

Июльские события не могли остаться без отклика в провинции. В ряде городов отзвуки июльской катастрофы выразились в виде солдатских бунтов или вспышек... Надо сказать, что в результате

наступления 18-го июля «большевизм» среди провинциальных гарнизонов разлился широкой рекой. Солдат решительно не хотел, то-есть армия решительно не могла воевать. В Петербурге, как мы знаем, большевики господствовали именно среди пролетариата: всецело в их руках была именно рабочая секция, тогда как солдатская составляла преторианскую когорту звездной палаты. В Москве и в провинции, с их более отсталым, полу-мужицким, эсеровским пролетариатом — было обратное соотношение: большевизм в советах расцветал за счет солдат¹⁾. И в июльские дни эти солдаты там и сям сыграли роль кронштадтцев.

Но движение повсюду было подавлено довольно легко. Командующий войсками московского военного округа, будущий министр, полковник Верховский, в изданном им приказе пишет: «в полном согласии с советом раб., солд. и кр. депутатов я пушками беспощадно подавил контр-революцию в Нижнем-Новгороде, Липецке, Ельце и Владимире и так же я поступлю со всеми, кто с оружием пойдет против свободы, против решений всего народа». Очень содержательно...

* * *

Вообще июльские дни глубоко встряхнули всю страну, все отношения внутри государства. Наличной власти, какова бы она ни была, непременно

¹⁾ Объясняется это в значительной степени тем обстоятельством, что петербургский гарнизон был почти гарантирован от вывода на фронт — в силу первоначального, мартовского соглашения. Провинциальные же тыловики пребывали под постоянной угрозой окопных тягот и самой смерти.

требовалось проявить быстроту и натиск. Особенно же потребность эта вызывалась положением дел на фронте. Там наши неудачи продолжались. О победоносном наступлении уже не было речи. На очереди было спасение от полного военного разгрома — в результате июньской авантюры Керенского. Военный же разгром грозил величайшими осложнениями, особенно в обстановке послеполускопских дней.

К 10-му числу была совершенно разбита 11-я армия — та, которая начала наступление. Но деморализация распространялась по всему необъятному фронту. Армия быстро теряла боеспособность. Авторитеты больших газет, — быть может, преувеличивая опасность, — писали, что под ударом уже находятся Киев, Минск и даже Петербург. Положение, во всяком случае, было очень напряженным. Комитет 11-й армии 9-го июля послал на имя Вр. Правительства, верховного главнокомандующего и Ц. И. К. такую телеграмму: «Начавшееся немецкое наступление разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями сознательного меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи. Уговоры и убеждения потеряли силу. На них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника... На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, потерявших всякий стыд,

чувствующих себя совершенно безнаказанными... Члены армейского и фронтового комитетов и комиссары единодушно признают, что положение требует самых крайних мер... Сегодня главнокомандующим юго-западным фронтом и командиром 11-й армии, с согласия комиссаров и комитетов, отданы приказы о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду, пусть она содрогнется и найдет в себе решимость беспощадно обрушиться на тех, кто малодушием губит и продает Россию и революцию»...

Такова была картина на фронте. Керенский, в ответной телеграмме, горячо одобрил расстрел бегущих «свободных граждан». Это была логика положения. Но отыграться на этих мерах было явно невысказано... Послали на фронт самого Скобелева и... Лебедева. Они об'езжали части, произнося речи против Вильгельма и большевиков. Но все это уже слышали. Это не было средством...

Рассчитывать на нашу армию было нельзя. Больше надежд приходилось возлагать на ограниченные возможности и соответственные — не широкие — планы самих немцев. Но при таких условиях положение было тем более критическим.

* * *

При таких условиях естественно и неизбежно на очередь становился вопрос о диктатуре. Естественно и неизбежно — не только у буржуазной, но и у советской части коалиции возникло неукротимое стремление к сильной власти. Диктатура была объективно необходима... Вопрос

был только в том, какая именно диктатура требовалась при данных условиях?..

Сейчас, когда носителем государственной власти являлся Керенский, речь могла идти только о буржуазной диктатуре. Если бы при данных условиях установилась диктатура, то по своей крутонаклонной плоскости она мгновенно скатилась бы к неограниченному господству плутократии. Но тут возникал другой вопрос, — возможна ли при данных условиях действительная диктатура Керенского, прикрывающего плутократию? Удастся ли установить подобную диктатуру?

При всем стремлении к полноте власти, проблематичность этого не скрывал от себя и сам Керенский. По возвращении из действующей армии, он говорил журналистам: «Главной задачей настоящего времени, исключительного по тяжести событий, является концентрация и единство власти... Опираясь на доверие широких народных масс и армии, правительство спасет Россию и скует ее единство кровью и железом, если доводов разума, чести и совести окажется недостаточно... Вопрос, удастся ли это?»...

Да, это был вопрос... Но как бы то ни было, Керенский был, конечно, главным застрельщиком в попытках реализовать диктатуру новой коалиции и вполне развязать руки самому себе. При этом, с точки зрения Керенского, связывал руки и «путался в ногах» именно Совет; и именно от этой «частной» и классовой организации надо было освободиться сильной власти; ведь черносотенный думский комитет, состоявший из «представителей всех партий», был, конечно, учреждением внеклассовым и притом вполне официальным.

Правда, Всеросс. С'езд Советов, который не решился поднять руку на Гос. Думу, постановил распустить думский комитет. Но не все ли равно, что постановил Всерос. С'езд! Во всяком случае Керенский в эти дни являлся в думский комитет, чтобы заимствовать оттуда благодати и имел с Родзянкой продолжительную беседу — по словам газет — «чрезвычайной государственной важности». Боевым лозунгом Родзянки ведь тоже была «независимость государственной власти», — то-есть, независимость ее от большинства населения, от советской демократии...

Прочие «общественные» слои консолидировались в кадетской партии и ею возглавлялись. Эта партия, как известно всем, была также над-классовой, общенародной. Зависимость правительства от этой партии не могла при таких условиях быть вредной. Но, разумеется, с своей стороны Милюков с друзьями настаивали в первую голову на независимости власти. То-есть, вся российская «революционная» «общественность» требовала от Керенского самым решительным образом, чтобы он освободил власть от влияния Совета. А не такой человек был Керенский, чтобы не внять голосу этой общественности и не подчиниться ему.

И в результате, через три дня после «назначения» Керенского премьером, звездная палата выступила перед Ц. И. К. с требованием диктатуры.

В воскресенье 9-го, к вечеру, в «белом зале» началось объединенное (с крестьянским Ц. И. К.) заседание и опять продолжалось чуть не всю ночь. Правые хозяйственные мужички, помесь черносотенства и эсерства, истинная социальная опора нового правительства, Керенского и Церетели, —

выглядели хозяевами положения. Когда Войтинский, докладывая итоги июльских событий, сказал, что их не вызывала и в них не виновна ни одна советская партия, — мужички рычали, радуя слух Чайковского и Авксентьева... Но это была не главная часть заседания. Главную провел, конечно, Церетели.

Церетели вернулся к кризису власти, отметил, как благополучно и удачно он был разрешен, а затем нарисовал мрачную и, можно сказать, страшную картину нашего внутреннего и военного положения. В частности, он огласил приведенную мною телеграмму с фронта. Это были предпосылки. А выводы были те, что необходимо сделать новое правительство сильной властью, снабдив его неограниченными полномочиями.

На подмогу выступил и Дан. Исходя из левых соображений, он поставил, в интересах правых, все точки над «i»:

— Мы не должны закрывать глаза на то, — сказал он, — что Россия стоит перед военной диктатурой. Мы обязаны вырвать штык из рук военной диктатуры. А это мы можем сделать только признанием Вр. Правительства Комитетом Общественного Спасения. Мы должны дать ему неограниченные полномочия, чтобы оно могло в корне подорвать анархию слева и контр-революцию справа... Не знаю, сможет ли уже правительство спасти революцию, но мы обязаны сделать последние попытки. Только в единении революционной демократии с правительством спасение России...

В это время советское начальство окончательно взяло за правило ограничивать прения в Ц. И. К. одними фракционными ораторами. Выступали с

обвинениями министерских сфер и с требованиями единого советского фронта — Мартов, Дуначарский, Ногин. От меньшевистской фракции поносил большевиков Либер, от эсеров — Авксентьев, от энесов — Чайковский. Кроме того, всеильное большинство находило способы увеличивать число своих ораторов и фракций — ради «отповеди» большевикам первого и второго сорта. Так что известный нам эсерствующий кадет Виленкин «давал отповедь» от фронта (!), а новая знаменитость, недалекий, но обладающий огромной седой бородой, мужичек Зенкин отчитывал большевиков «от крестьян» (!).

Но безразлично — были ли прения или их не было; принятие резолюции Дана было обеспечено. Эта резолюция гласила: «Признавая положение на фронте и внутри страны угрожающим военным разгромом, крушением революции и торжеством контр-революционных сил, — объединенное собрание Ц. И. К. С. Р., С. и Кр. Деп. постановляет: 1) Страна и революция в опасности. 2) Вр. Правительство объявляется правительством спасения революции. 3) За ним признаются неограниченные полномочия для восстановления организации и дисциплины в армии, решительной борьбы со всякими проявлениями контр-революции и анархии и для проведения той программы положительных мероприятий, которая намечена в декларации (8 июля). 4) Обо всей своей деятельности министры-социалисты докладывают объединенному Ц. И. К. не менее двух раз в неделю».

На следующий день, после тех же примерно докладов и речей, та же резолюция была принята в Петербургском Совете... Не знаю, кому это при-

шло в голову — воскресить на фоне наших июльских дней слова великой французской революции. Но во всяком случае в этой оболочке не было души 93-го года. Осталась одна риторика и при том безвкусная. Официальные формулы об «опасности» и «спасении» были совершенно бесплодны и, будучи не в нашем стиле, несколько не ласкали слуха. Но и в деловой своей части (в передаче правительству неограниченных полномочий) резолюция не имела никакого значения... Казалось бы, кадетским сферам оставалось только радоваться освобождению правительства от Совета; но даже милюковская «Речь» сочла нужным отметить «типноз слов», юридическую ничтожность и фактическую бессодержательность резолюции о диктатуре.

И в самом деле, — юридически диктатура не сделана, так как часть министров обязывается постоянной отчетностью Совету (обязан ли ею глава государства Керенский, является ли он ныне советским или подотчетным Родзянке или одному Господу-Богу — попрежнему никому неизвестно). А фактически правительство и без того делало и впредь могло бы делать все, что только считало нужным; фактически оно давно было совершенно «независимо» в своих действиях, ибо Совет одно игнорировал, а другое одобрял *post factum*; так могло бы продолжаться и впредь безо всякого шума о диктатуре... Резолюция о неограниченных полномочиях имела бы практический смысл только тогда, если бы она действительно сделала кабинет Керенского сильной властью. Но об этом не могло быть речи. Правительство не имело попрежнему ни авторитетного аппарата, ни реальной силы в своем «свободном» и «независимом» распоряжении.

Что оно могло сделать со своей «диктатурой»? Политически — все, что угодно, оно могло делать и без нее. И оно доказало это за две недели целым рядом кричащих эксцессов, контр-революционных актов, плохо мирившихся даже с сознанием советского большинства. Для этих актов не требовалось ни государственного аппарата, ни реальной силы, а только — своего рода смелость. Но технически, «органически» — где требовались аппарат и сила — новое правительство, даже с дарованными ему «полномочиями», не могло сделать ровно ничего. Оно не могло ни водворить в стране порядок, ни восстановить дисциплину в армии, ни реставрировать фактическую диктатуру капитала — в соответствии со своей фактической (а не декларируемой) программой¹⁾.

Поэтому такая «диктатура» правительства ни в какой мере не могла удовлетворить плутократию. На фоне этой «диктатуры» плутократия мечтала и заботилась о другой. Но тут уж никакие советские резолюции нисколько не могли помочь. Тут надо было возложить надежды на перемену объективных условий, на после-июльскую реакцию в народных массах, на изменение нашей «неписанной конституции».

* * *

Обстановка для этого, казалось, была вполне благоприятна. Почва для действительной буржуазной диктатуры основательно подготавливалась. Ибо

¹⁾ Командующий войсками Половцев, в приказе, потребовал, чтобы солдаты надели погоны, — но и этого «диктатуре» достигнуть не удалось. Не надели — и все тут.

реакция, депрессия, упадок духа в народных массах были огромны после июльских дней.

Уже самое голосование резолюций о «диктатуре» было в этом отношении очень показательно. Конечно, в объединенном Ц. И. К. за резолюцию голосовало подавляющее большинство; но любопытно, что вся оппозиция при голосовании воздержалась (это были меньшевики-интернационалисты, «междурайонцы», левые эсеры и большевики). В петербургском же совете, где рабочая секция была чуть ли не вся большевистской, против резолюции голосовало 8—10 человек. «Диктатура» ненавистных Керенского и Церетели уже казалась лучше многого другого, что могло бы случиться...

Вполне естественно, что инициативные буржуазные группы набросились на петербургский гарнизон, чтобы закрепить его за «полномочным» правительством, служащим плутократии. Пользуясь растерянностью масс, кто-то из офицерско-кадетских сфер созвал собрание представителей гарнизона 10-го июля в Преображенском полку. Все собрание, в котором участвовал командующий округом Половцев, было сплошной травлей большевиков и закончилось провалом резолюции о доверии Ц. И. К., предложенной Войтинским! Премидиум солдатской секции тогда потребовал, чтобы такие самочинные собрания гарнизона впредь не созывались, и созвал свое — официальное. По настроению оно отличалось немногим, но приняло резолюцию звездной палаты; в ней Совет уже оставался в тени, и выражалась преданность Вр. Правительству в таких ярких выражениях, которые напоминали антисоветские резолюции второй половины марта. Подобные резолюции, иногда

прямо заостренные против Совета, стали в огромном количестве фабриковаться и в воинских частях. Офицерство же, на своих собраниях, громило Совет наряду с большевиками, в самых разнузданных выражениях.

Положение звездной палаты было не из легких. Она настояла на устранении Половцева, который, со своим главным штабом, был источником и покровителем всей этой кампании. Но такие меры ничего не меняли в общей ситуации... Борьба за армию развернулась во всю ширь, вернувшись к мартовскому периоду революции. Но сейчас не было единого советского фронта. Сейчас Совет, хотя и видел опасность, хотя и стремился сидеть сразу на двух стульях, — но все же определенно прикрывал собой контр-революцию.

Особенно показательна депрессия, наступившая среди матросов красного флота. Флотские организации и общие собрания кораблей, вслед за частями гарнизона, стали обращаться с повинными, — с просьбами «снять позорные обвинения» и с полным доверием новой коалиции... Газеты запестрили заголовками об «успокоении». Ультиматум Керенского о подчинении и выдаче зачинщиков июльского мятежа был принят с полной покорностью. Матросы выражали полную готовность беспрекословно подчиняться правительству и только просили назначить следственные комиссии, чтобы те сами нашли зачинщиков.

Так поступил и красный Кронштадт. Он сообщил об этом через особую делегацию, направленную известному нам Дудерову, автору телеграммы о потоплении судов. Воспользовавшись таким настроением, от кронштадтцев потребовали выпуска офи-

церов из кронштадтских тюрем; и на этот раз требование было немедленно исполнено.

Тогда главный военно-морской прокурор предъявил кронштадтцам, казалось бы, совершенно нестерпимое требование: выдать своих вождей — Раскольников, Рошалья и некоего Ремнева. Требование было подкреплено наглой (и невыполнимой) угрозой — блокировать Кронштадт в случае отказа. Дело обсуждал кронштадтский Исп. Комитет и решил удовлетворить требование. Дело перешло затем в пленум местного совета, и он постановил то же самое... Действительно — это было «успокоение».

Ультиматум прокурора имел смысл только в качестве нарочитой и жестокой экзекуции. Ясно, что при данной конъюнктуре кронштадтских вождей можно было арестовать попросту и без затей, — как Каменева, Колонтай и других. Сейчас Раскольников и Ремнев были арестованы волею своей собственной армии... Рошаль же сначала было последовал примеру Ленина и Зиновьева. Но раздумал и вскоре сам отдался в руки властей.

Реакция и депрессия глубоко проникли и в самый авангард, в самую надежную опору революции — в толщу петербургских рабочих. В самые июльские дни мы уже видели заводские резолюции против большевиков. Это был шок и Katzenjammer. Теперь было хуже. Целый ряд заводов, отмежевываясь от большевиков, вслед за воинскими частями, горячо поддерживал новую коалицию.

Мы были отброшены далеко назад. Огромный запас сил революции был выпущен на ветер. Массы были принижены и расслаблены. Буржуазия воспрянула и рвалась в бой. Атмосфера прочной,

глубокой реакции хорошо ощущалась всеми. Почва для действительной диктатуры была благоприятной.

Но еще оставались надежды! Надежды — не только на неиссякающие развязанные силы и пробужденное сознание народных масс. Были еще надежды и на самую коалицию. Не ее ли предшественница за два месяца так воспитала массы, как было не под силу легионам Лениных? Не беспомощность ли буржуазно-советского блока, не его ли государственная мудрость, не его ли эксцессы — бросили массы в объятия большевиков? И не та же ли звездная палата ныне осталась у власти?

Ныне она получила новые полномочия, «неограниченные» права. На что она употребит их, как не на доказательства своей «лояльности» перед плутократией, как не на развязывание рук «законной» буржуазной власти в «буржуазной» революции? Или ослабла ее государственная мудрость? Или сейчас, в упоении победой, коалиция откажется от контр-революционных эксцессов?... Нет, верить в это не было никаких оснований. Несравненные наглядные уроки массам были обеспечены. Они должны вернуть массам сознание, веру, волю к действию и снова сплотить их под знаменами революции.

* * *

Каковы же были дела новой коалиции?... Уже не мало дел ее мы знаем. Теперь Россия уже не была «самой свободной в мире страной» и уподобилась «великим демократиям запада» (а также варварской Германии), где революционные элементы

— противники войны — прочно сидели по тюрьмам. Но — дальше в лес, больше дров.

11-го июля три доблестных воина — известный нам авантюрист, эсер Борис Савинков, состоящий (при Корнилове) комиссаром юго-зап. фронта, с двумя не столь известными товарищами, со своим помощником Гобечиа и комиссаром 8-й армии Филоненко, — послали на имя Керенского очень содержательную и торжественную телеграмму. Ее нанечатали жирным шрифтом и должным образом комментировали во всей «большой» прессе. Телеграмма в патетических выражениях требовала смертной казни на фронте — «тем, кто отказывается рисковать своей жизнью для родины, за землю и волю». «Смертная казнь изменникам, — только тогда будет дан залог того, что не даром за землю и волю пролилась священная кровь»!.. Одновременно и сам ген. Корнилов, в совершенно своеобразной для «солдата» форме опубликовал в печати свое требование: «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя даже назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам... Необходимо немедленно, в качестве временной меры, введение смертной казни и полевых судов на театре военных действий»...

В общем, дело совершенно ясно. Сказано — сделано. Через двое суток, 13-го июля, в газетах было опубликовано восстановление смертной казни на фронте. «В полном сознании тяжести лежащей на нем ответственности, Вр. Правительство учредило «военно-революционные суды» и устанавли-

вало смертную казнь через расстреляние — за нижеследующие преступления: за измену, за побег к неприятелю, за бегство с поля сражения, за уклонение от участия в бою, за подстрекательство или возбуждение к сдаче, к бегству или уклонению от сопротивления» и т. д.

Это была, конечно, логика положения. Но это было совсем не блестящее положение. А эта логика совсем на устраивала массы, которые видели, к чему она ведет... Буржуазная пресса должна была ликовать. Но вместо того она завывала от гнева по случаю допущенной несправедливости. Как?! На полях сражений, перед лицом смерти, малодушие карается расстрелом, — а здесь в тылу лодыри, предатели и немецкие агенты будут по-прежнему растлевать армию, государство, народное тело и душу! Не заслуживают ли они смертной казни во сто крат?..

Но потерпите же немного, — всему есть свой черед.

Вечером того-же 11-го числа на улицах столицы обыватели и рабочие читали расклеенное об'явление министра внутренних дел, меньшевистского и советского лидера Церетели. Об'явление, между прочим, гласило: «Вр. Правительство приняло решительные меры к предотвращению событий 3 го — 5-го июля... 1) Министерству юстиции поручено произвести строжайшее расследование событий. 2) Все лица, прямо или косвенно (?) виновные в этих событиях, арестуются следственной властью и предаются суду. 3) Всякие шествия и уличные сборища в Петрограде, впредь до нового распоряжения, воспрещаются. 4) Призывы к насилию и попытки к мятежным выступлениям, откуда бы

они ни исходили, будут подавляться всеми мерами, вплоть до применения вооруженной силы»...

Очень хорошо! Согласно этому приказу, мы, советская оппозиция, и мы, сотрудники «Новой Жизни», должны были быть арестованы, вместе с тысячами «безответственных» партийных деятелей, агитаторов, рабочих и солдат. Этого, несомненно, и хотела «диктаторская» коалиция. Но одного хотенья было мало...

Пожалуй, еще любопытнее был пункт третий объявления. Припомним апрельское восстание два с половиной месяца назад. После него была принята чрезвычайная мера: были воспрещены уличные манифестации и митинги, — при чем советские лидеры хорошо понимали всю исключительность этой меры, принятой сроком на три дня. Но кто тогда решился на нее? Мы знаем: ее вотировал тысячный пленум рабочего и солдатского Совета. Сейчас ее объявляет, без срока, грозя оружием и тюрьмами, министр внутренних дел, никого об этом не спрашивая, в силу своих «неограниченных полномочий»... Даже кадетская «Речь», отмечая это, удивлялась, как далеко ушла революция... Куда? Конечно, возможность для министра Церетели осуществить свои меры, даже расстрелами и арестами, внушала сильные сомнения. Но «добрая» воля тут была налицо — безо всяких сомнений.

Однако, разрозненные действия, как известно, не ведут к цели; надо действовать систематически. Надо вести осаду со всех сторон. И Вр. Правительство 12-го июля постановило: «Во изменение и дополнение постановления Вр. Правительства от 27 апреля 1917... (NB!) — предоставить в виде временной меры военному министру и управляю-

щему мин. вн. дел закрывать повременные издания, призывающие к неповиновению военным властям... и содержащие призывы к насилию и к гражданской войне»... На этом основании Керенский закрыл 14-го числа всю большевистскую прессу («Правду», кронштадтский «Голос Правды», «Окопную Правду»). В царские времена в таких случаях указывали непосредственные причины: за призыв к тому-то в статье такой-то и т. п. Керенский ничего подобного не сделал. Его действия были чистейшим произволом: в большевистских газетах велась боевая политическая агитация, из которой можно было делать в иных случаях определенные выводы. Но никаких призывов к насилию и «неповиновению» в них не заключалось. Юридически — демократ и юрист Керенский допустил полнейшее безобразие. Но и фактически — он не имел оправдания.

Разгром рабочей печати без суда и следствия мог бы быть произведен «законно» — только среди острого кризиса, в огне восстания и гражданской войны. Но ведь теперь же было «успокоение»! Большевики теперь были раздавлены и пока безопасны. Нельзя же было утверждать всерьез, что армия бежит из-за большевистских призывов к неповиновению.

Да и бегство к 14-му числу было уже в общем приостановлено. Газеты констатировали улучшение на фронте. «Речь» писала, что «немцам придется призадуматься». Во всяком случае, немцы прекращали наступление, и русский фронт как будто снова стал впадать в состояние анабиоза.

Но как бы то ни было, устремления новой власти и тут не совпадали с ее возможностями. Распоря-

даться о закрытии газет и совершить тем самым контр-революционный акт было совсем не трудно. Но оградить страну от злокозненной агитации «диктаторская» власть была не в состоянии. Несмотря на разгром большевистских организаций — их издания безотлагательно возобновились и продолжали выходить под другими названиями.

Тогда же правительство распорядилось о восстановлении военной цензуры. Правящие сферы по этому поводу заявляли, что формально военная цензура собственно и не была отменена; а существование ее необходимо и принято во всех демократиях... Охранные отделения, кажется, тоже формально не были отменены; а в существовании военной цензуры не было никакой необходимости, так как ни одна газета не имела ни малейших поводов писать о всяких «дислокациях», и никогда за пять месяцев революции, конечно, не выдала ни одной военной тайны. Но ведь всякому известно, что военная цензура во всех демократиях совсем не есть военная, а есть политическая цензура, и для этой именно цели она существует под предлогом войны. И сейчас, в обстановке послеиюльской реакции, это должно было явиться средством обуздания печати в руках демократа Керенского...

Но одно дело об'явить военную цензуру и продемонстрировать этим свою преданность свободе, а другое дело осуществить это благое начинание. Конечно, из него не вышло ровно ничего. Печать не пожелала подвергаться цензуре и не подвергалась ей.

Для через три снова подал голос министр внутренних дел. 17-го июля он обратился по двум

адресам с тремя циркулярами, очень пространными, — в виде газетных статей, богатых пустопорожней риторикой, но бедных деловым содержанием. Один циркуляр был адресован областным, губернским и городским комиссарам (генерал-губернаторам, просто губернаторам и полицмейстерам). Он призывал местных агентов министра преследовать анархию и контр-революцию, опираясь на демократическую общественность и работая в контакте с советами. Второй циркуляр, направленный тоже по адресу комиссаров, подробно размазывал прежние такие же циркуляры Львова о борьбе с земельными захватами и всякого рода аграрными самочинствами. Но в устах Львова все это звучало совсем не столь односторонне, сколь в устах советского лидера в атмосфере контр-революции. Третий же циркуляр был адресован всяким местным общественным организациям и в том числе советам. Предпосылки о недопущении «призывов», «насилий», «попыток» и т. д. — кончались требованиями полного содействия новой «сильной» власти, «наделенной чрезвычайными полномочиями во имя обороны революции и спасения страны»...

Все вышеописанные мероприятия новой коалиции кричали одновременно об ее реакционной сущности и об ее слабости. Все это были громкие покушения на завоевания народа, но все неудачные... Атмосфера депрессии, реакции масс, их усталости и разочарования — казалось бы, должна была способствовать успеху всей этой правительственной «системы». Но «полномочные» министры, очевидно, слишком спешили, слишком кричали. С одной стороны, победительница-буржуазия все выше поднимала голову, все больше предъявляла требо-

ваний, все более подчиняла себе коалицию и звездную палату. Но с другой стороны — «писаная» реакция, очевидно, далеко обгоняла «неписаную». Массы, даже в своей депрессии, чувствовали, что опасность грозит из Марининского дворца. Это отрезвляло массы, сдерживало их реакцию, вновь пробуждало их волю и заставляло спланировать ряды. А отсюда — снова бессилие реакционной власти и неуспех ее покушений на народные права.

* * *

Казалось бы, Керенским и Церетели, для начала, могли быть довольны даже дезертировавшие из правительства кадеты. Они и были довольны. Но мы помним, что они дезертировали именно на почве пренебрежения их коллег к принципу российской великодержавности, на почве потворства украинскому сепаратизму... После-июльское правительство, правительство демократа Керенского, должно было дать кадетам реванш. Ведь эта надклассовая, общенародная партия была самой могущественной базой плутократии. Нельзя же было революционной власти не расшибить себе лба в поисках доверия и милости этих «общественных кругов». И реванш кадетской великодержавности, кажется, был дан в полной мере.

В самый разгар июльских событий (но, разумеется, независимо от них) финляндский сейм сделал постановление о независимости Финляндии от России в ее внутренних делах. Редакция этого постановления не только соответствовала духу, но почти совпадала буквально с резолюцией по финляндским делам, принятой на всерос. советском съезде. Ре-

волюция же эта была, конечно, предварительно санкционирована звездной палатой... Я уже писал о том, что Финляндия была при этом юридически неуязвима и совершенно лойяльна. В военном и дипломатическом отношении все оставалось по-прежнему; а с точки зрения права — революция уничтожила зависимость Финляндии, прогнав царя, который был великим князем финляндским и представлял собой «личную унию».

Но, разумеется, патриотическая пресса подняла гвалт. Дневной грабеж и нарушение «жизненных интересов» обожаемой родины!.. «Государственные» элементы требовали репрессалий и аннулирования предательского акта... 12-го июля финляндский сейм, в раз'яснение и оправдание своего шага, обратился с «адресом» к Вр. Правительству. Ссылками на законы, на историю, на здравый смысл, на демократические принципы, — в самых лойяльных и предупредительных выражениях, финляндский сейм об'яснялся с российским правительством и обществом, «уповая», что Россия признает неотъемлемые права Финляндии.

Но не тут то было. Руководящие буржуазные сферы заняли совершенно непримиримую и боевую позицию. Снискать их расположение без реванша в этом пункте — звездной палате было невозможно. Зато здесь единение душ могло бы быть особенно красочным. Это было бы своего рода гарантией покорности советских сфер. И эти гарантии были даны...

Для через два-три после «адреса» финны прислали делегацию в Ц. И. К. — нащупать почву, попросить поддержки. Делегация указала, что постановление сейма не расходится с резолюцией совет-

ского с'езда. Им ответили, что действительно не расходится, но вопрос в том, как на дело посмотрит Вр. Правительство. Финны возразили, что правительство, согласно постановлению Ц. И. К., должно ведь руководствоваться постановлениями с'езда; а основное ядро коалиции, министры-социалисты, находятся ведь и в формальной зависимости от полномочного органа революционной демократии. Им ответили, что все это совершенно верно, но весь вопрос в том, как посмотрит на дело Вр. Правительство... О, мы были дипломатами, не лыком шитыми! И чего другого — а уже достоинство свое мы поддержать умели...

А 18-го июля, торжественным «манифестом», выдержанным в стиле царских «рескриптов», Вр. Правительство «сочло за благо» сейм распустить и созвать новый не позднее 1-го ноября. Оно сочло за благо мотивировать это тем «соображением», что «с отречением (?) последнего императора вся полнота власти и в том числе права великого князя финляндского могли перейти только к облеченному народом российским высшей властью Вр. Правительству»...

Ну, хорошо, — допустим, что господа июльские министры стали в совокупности великим князем; допустим, к ним перешли эти права Николая, как его права на цивильный лист, на разгон Думы, на распоряжение секретным фондом и т. д. Разве дело в этих правах? Ведь вопрос идет об их применении. Цивильного листа министры не имели и Гос. Думы не распустили. А требования элементарнейшего демократизма они нарушили самым настоящим николаевским кулаком... «Манифест» еще ссылался на невозможность для него

«предвосхищать самочинно волю будущего Учр. Собрания». Но разве «облеченный» великий князь, если бы он не пожелал пользоваться варварскими правами, должен был бы ждать Учр. Собрания?... Очень неумно и весьма отвратительно.

В Гельсингфорсе генерал-губернатор (да, еще был и такой: это был не самый умный из либерально-монархистских помещиков, М. Стахович) заявил финляндскому сенату, что все средства соглашения исчерпаны и правительство, не желая прибегать к силе, апеллирует к самому финскому народу! Сенат и сейм, после тяжелых размышлений, решили подчиниться. Но было бы любопытно посмотреть, что было бы в противном случае?

В Гельсингфорсе весь гарнизон и флот был на стороне финнов. Попытка «прибегнуть к силе» была бы конфузом на всю Европу. Но июльские министры были готовы на все, чтобы после июльской провинности угодить биржевикам, их кадетским идеологам и контр-революционному мещанству... Надо, впрочем, отметить, что «Манифест» подписали только восемь министров. Подписей Чернова и Скобелева — не знаю, почему — под ним нет. Но, конечно, красуются на своих местах блестящие имена Керенского, Пешехонова, Церетели.

2. СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

Погоня за новими буржуазними міністрами. — Керенський усовершенствуєт кабинет. — Чекарда кандидатів. — Кадегески биржевіки и просто биржевіки. — Новий кабинет готов. — Церетелі сконфужен. — «Приемлемые» условия контр-революціонеров. — Совет путается в ногах неограниченного премьера. — Керенський «взрывает» бедную Россію. — В Таврическом. — Экзекуція над большевиками. — В ком бьется русское сердце. — Глубокомысленное начинание Керенского. — «Государственное совещание». — Похороны казаков. — Позор Ц. Н. К. — Пленум верховного органа. — Армейские організації. — Троцкий об июльских событиях. — Подозрительные настроения в Ц. Н. К. — Неприятности звездной палаты. — Отчеты министров-соціалістов. — Земельные дела. — На продовольственном фронте. — Экономич. Совет. — «Железный день» вместо регулирования промышленности. — Дело мира при второй коалиции. — Патриоты или хамы? — Мартов о кон'юнктуре. — «Выбор» Керенского.

Я написал выше, что все эти кричащие, контр-революционные акты проделывались, главным образом, для одной «высоко-политической» цели — для умиловливания плутократии. Ее доверие надо было заслужить, чтобы она сменила гнев на милость и вновь, в лице кадетов и биржевых тузов, согласилась вернуться в правительство — володеть народом и Советом. Это была контр-революция, но она была «законна», ибо ведь революция у нас

была буржуазная!... Правда, Керенский, как вполне буржуазный министр, как российский расхлябанно-крикливый и мало-смыслящий Бриан или Мильеран, — проделывал все это «по убеждению», считая это своим государственным или «революционным» долгом, не видя во всем этом никакого компромисса. Но советские лидеры, Церетели, Чхендзе, Дан, Чернов — не могли не видеть во всем систематических уступок буржуазии, которые проделывались именно ради указанной цели.

Где доказательства, что дело обстояло именно так?... Доказательства в том, что весь период второй коалиции был периодом непрерывной, бешеной, самозабвенной погоней Керенского и Церетели за новыми буржуазными министрами.

Вторая коалиция организовалась «самочинно». Но она была недоделана: нескольких министров в ней, как мы знаем, не хватало. После июльского удара, Керенский, став главой кабинета, с чисто ребяческим увлечением принялся формировать «свое собственное» министерство. Быстро потеряв всякую меру, он, как бы нарочито, стал демонстрировать свой произвол в этих операциях. Не дожидаясь от Ц. И. К. никаких «полномочий», он сейчас же после 7-го июля принялся разыскивать себе «дополнительных» подручных и коллег. А когда Ц. И. К. развязал ему руки формально, он уж прямо поставил себе целью сформировать совершенно новый кабинет — третью коалицию — по своему вкусу.

При этом, ради прочности и солидности, он устремил свое главное внимание, конечно, на кадетов.

Но надо было привлечь их так, чтобы они состояли при Керенском. Понятно, что со вчерашними беглецами из министров тут хлопот было не мало. Но Керенский не щадил энергии, доходя до полного извращения всех идей власти и ее «верховных носителей». Керенский бросался портфелями и назначениями, как мячиками. Министры на пять минут — стали сменяться одни другими. Этим неудержимо расшатывалась «диктаторская» власть, ибо принимать «диктаторов» всерьез не было никакой возможности. Очень скоро все стало походить на скверную оперетку. Но Керенский не замечал этого и продолжал свою потеху.

Сказка про белого бычка была такова. Сформировав вторую коалицию и выступив с декларацией 8-го июля, Керенский начал формирование третьей — с обращения к некой «радикально-демократической» партии. Это была фиктивная величина, о которой у меня доселе, кажется, не было случая упомянуть, — да и впредь, вероятно, не будет такого случая. Эту «партию» составляли несколько человек катедер-социалистов и радикальных буржуа, ради персональной кружковщины отошедших от прогрессистов и не вошедших к кадетам... Собственно говоря, переговоры с этой партией начались с того, что Керенский пригласил к себе своего близкого друга, выше упомянувшегося Ефремова и предложил ему занять любой пост в его кабинете. В ответ на это красноречивое предложение Ефремов, математик по образованию, выбрал портфель юстиции; но предложил захватить и еще одного члена «рад.-дем. партии», московского торгово-промышленного туза, Барышникова. Отчего же нет? — для старого

друга Керенский охотно согласился и дал Барышникову портфель «призрения».

Затем пошла чехарда кандидатов, министров и «управляющих». Промелькнули «финансисты» — Бернацкий, Титов; путейцы — Ливеровский, Тахтамышев. Из этих почтенных людей (неопределенной партийности) прочно сидел на месте фактического министра торговли и промышленности один только знаменитый Пальчинский... Но все эти люди, никого в кабинете не представлявшие, не придавали ему ни малейшей солидности.

Его глава, видя это, стал не на шутку сердиться и искать способов вновь связаться с кадетами. Для этого надо было, конечно, преодолеть сопротивление советской части кабинета. Ведь советские министры только что заткнули массам рот декларацией 8-го июля. Бумаженка была дрянная и лживая, но все же для кадетов одиозная, — по крайней мере, в данной, после-июльской кон'юнктуре. Сейчас кадеты, конечно, держали курс на уничтожение и этой бумаженки вместе со всем Советом. Звездная палата должна была сопротивляться.

Но все же 13-го числа, при помощи истерики, Керенский изнасиловал советских министров. И — «весь кабинет предоставил свои портфели в распоряжение Керенского». То есть, попросту согласился на то, чтобы Керенский заново составил министерство, как ему заблагорассудится.

Зарвавшийся «премьер» понял это *en toutes lettres* и немедленно приступил к делу. В тот же день и в первую голову он обратился к кадетам; но так как кадеты были партией надклассовой, общенациональной, то Керенский, знающий толк в общественных отношениях, обратился еще к объеди-

цепной к л а с с о в о й организации крупнейшего отечественного капитала — к «совету с'ездов» и к «совету всерос. союза» промышленности и торговли. Однако, он обратился не в официальные органы, а персонально к лидерам кадетов и биржевиков. Тонкий политик поступил так потому, что он желал создать вполне независимое правительство, свободное решительно от всяких влияний, — чтобы ни одна организация не могла навязывать ему свою волю. Превосходно! И кадеты и биржевики стремились совершенно к тому же. И они «в принципе» согласились с полной готовностью, едва сдерживая свой бурный восторг по поводу такого оборота дела.

Конечно, они не только согласились. Они, можно сказать, вцепились в открывшиеся перспективы власти — в обстановке после-июльских реакций. Воскресли все их былые надежды. Тут надо не упускать своего, но — держать ухо востро и смотреть в оба!... Кадеты немедленно потребовали гарантий независимости, формального разрыва с «циммервальдом» (?) и... удаления Чернова, против которого шла бешеная травля все эти дни, бешеная, но никого не убеждавшая, так как наемные перья, не знавшие, что собственно сказать, говорили самые несуразные вещи.

Требования кадетов, кроме ликвидации Совета, как фактора политики, означали и перемену правительственной программы. Керенский замылся. Тогда кадеты уступили. Их центр. комитет больше не требовал удаления Чернова. Но вот горе какое: сами кадетские кандидаты в министры, Кокешкин, Астров и Набоков, ни за что не соглашались делить власть с эсеровским лидером...

В ночь на 15-ое июля Керенский, по сообщению газет, вел переговоры о портфелях со следующими лицами: с Кишкиным (внутр. дел), с Новгородцевым (просвещ.), Набоковым (юстиции), Астровым (гос. контроля), Кокошкиным (исповеданий), Третьяковым (торг. и промышл.), Авксентьевым (земледелия) и Плехановым (труда)... Первые пятеро были кадеты, шестой — кандидат биржи, как таковой, — в дополнение к Терещенке... Советским представительством в этом проекте новой коалиции, как видим, и не пахнет. Вся революционная демократия представлена такими странными кандидатами, как Авксентьев и Плеханов. Что же касается советского лидера, бывшего столь необходимым в правительстве два месяца назад, то ныне, в тот самый момент, когда он сочинял свои циркуляры, преподающие всей России лояльный образ действий, — в этот самый момент его жалкие ризы были с него уже содраны, и их примерял на себя махровый кадет Кишкин. Общая картина положения была совершенно ясна...

При виде этой картины Церетели почувствовал себя неловко. Этому не могла помешать даже вся его беззаветная преданность идее буржуазной революции. И Церетели рискнул выступить с такого рода публичным заявлением (через комитет журналистов): «муссируемые в последние дни печатью слухи о кризисе Вр. Правительства и о возможности пересмотра его программы совершенно не соответствуют действительности. Плодом фантазии являются и сообщения о предстоящих будто бы перетасовках в правительстве. В виду исключительной серьезности положения Вр. Правительство действительно желало бы привлечь в свой

состав новых лиц из тех кругов, которые готовы стать на почву общенародной платформы 6 мая или 8 июля. Переговоры велись не с партиями, а с деятелями, которые могли бы полностью и без урезок принять программу правительства. Если бы таких лиц не оказалось, правительство будет в нынешнем составе продолжать бороться за спасение страны... Это есть мнение всего правительства», — категорически подчеркнул в заключение советский лидер.

Что и говорить — положение было неприятное. Однако, подобные заявления не были достойным выходом из него. Газеты сообщали не «слухи», подлежащие опровержению, а факты, которые опровергать было нельзя. В № «Речи» от 16-го июля (как и в других газетах) непосредственно под заявлением Церетели красуется ответ Керенскому вышеназванных организаций торг. - промышленного класса. Ответ содержал минимальные условия, при которых наш трестированный капитал соглашался осчастливить страну и революцию своим участием в кабинете: 1) «вся власть Вр. Правительству, — оно не делит ее ни с какой общественной, классовой или политической организацией в стране». 2) Боевая мощь и железная дисциплина — до конца. 3) «Не место в правительстве лицам, представляющим лишь самих себя, за которыми нет опоры в общественном мнении и доверия страны». 4) Вр. Правительство не в праве предпринимать коренную ломку существующих социальных отношений до Учр. Собрания; те лица, которые... «не в силах поступиться своими партийными требованиями, не входят в состав правительства». 5) «Промышленность и торговля имеют государственное значе-

ние, — недопустимо разрушение этих устоев хозяйственной жизни»... и т. д. Здесь очень хорошо выражены позиции буржуазии в период контр-революционной весны.

Тогда же опубликовали свой ответ и кадетские кандидаты в министры. Но надклассовая партия тут, конечно, ничего прибавить не могла — разве только красок. Так, г. г. Астров, Кишкин и Набоков требовали ответственности «исключительно перед своей совестью». Во внутренней политике общенациональные интеллигенты требовали, чтобы все основные социальные реформы и разрешение вопросов о форме государственного строя (позвольте, но ведь они недавно высказывались за республику!) были безусловно отложены до Учр. Собрании; а во внешней политике дело укладывается в очень простую формулу — «полного единения с союзниками».

Еще кадеты настаивали в особом пункте, чтобы «выборы в Учр. Собрание были произведены с соблюдением всех гарантий, необходимых для выражения подлинной народной воли». Это означало, что кадеты предполагали отложить Учр. Собрание *ad calendas graecas*: спекулируя на дальнейшее углубление реакции и лелея перспективы буржуазного большинства (не в пример органам самоуправления), кадеты в последнее время взялись кричать на всех перекрестках, что это немыслимое дело — созвать со всеми «гарантиями» Учр. Собрание к 30 сентября...

Керенский, с своей стороны, признал условия кадетов и биржевиков для себя приемлемыми. Они, правда, исключали только что подписанную им программу. Но ведь не могло же, в самом деле, это

быть серьезным препятствием!.. Хуже было заявление Церетели, которое очень дурно подействовало на настроение кандидатов. Правда, и его можно было игнорировать. Ведь Керенский же получил полномочия отвечать только перед своей совестью и кроить, и шить дюжину всероссийских самодержцев, как ему взбредет в голову. Но так-то так, а все же тут, пожалуй, будут хлопоты с Советом: хоть он и покорен, но еще не умер, а заявления его лидера, да еще такие обязывающие, что-нибудь да значат...

Было необходимо выяснить дело до конца и получить формальные гарантии. Кадеты, уже присо-савшиеся к призраку власти, приостановили переговоры и набросились на Церетели и Совет — под аккомпанимент всей буржуазной прессы. А затем они потребовали, чтобы Керенский письменно ответил им о приемлемости для него условий, «не упоминая о предыдущих декларациях прежних составов правительств».

Казалось бы, исполнить это требование для Керенского легче легкого. Но опять-таки гут путалось в ногах заявление Церетели: в дело вмешалась звездная палата. Хотя 13-го числа Керенский получил «в свое распоряжение» все портфели, а в ночь на 10-ое — «неограниченные полномочия», но все же советские лидеры стали делать ему «представления»: с коалицией-де не все в порядке. До вечера 19-го Церетели и Гоц решительно не имели успеха, — Керенский был готов удовлетворить кадетов по всей линии. Но ночью на 20-е он вдруг «перешел на точку зрения Церетели» — насчет программы 8-го июля «полностью и без урезок».

И 20-го числа Керенский послал кадетским кандидатам письмо со ссылками на декларации 2-го марта, 6-го мая, 8-го июля. Кадеты ответили, что в таком случае говорить не о чем. Переговоры были прерваны...

Стало быть, Совет одержал верх? Пустяки!.. Не мог же Керенский, на самом деле, внять убеждениям. Не мог же он верить угрозам. Не мог же он изменить тому, чему предавался с такой страстью чуть ли не две недели своего премьерства... Когда кадеты отказали, Керенский выдумал еще одну, последнюю комбинацию: он предложил кадетам такую взятку, что все вокруг, и враги, и друзья, только ахнули. А когда и она не помогла, то Керенский, не будучи в состоянии спасти Россию созданием правильно сконструированного кабинета, — 21-го числа «вышел в отставку» и даже немедленно уехал в Финляндию! А за премьером вышли в отставку и прочие министры — не советские, однако, а буржуазные: Некрасов, Терещенко, Годнев, святейший Львов, Ефремов... Россия была обезглавлена. Отечество в опасности!

Пустяки! На кого, в самом деле, Керенский мог оставить Россию? Ну, как он мог всерьез так вдруг и покинуть возделенную верховную власть?..

К тому же, только накануне Керенский «уволил» Брусилова, назначив главнокомандующим знаменитого Корнилова, при нем комиссаром проходимца Филоненко, а своим помощником подозрительного авантюриста Савинкова. И в ожидании уничтожения чинов и орденов, согласно программе 8-го июля, Керенский только что произвел несколько своих подручных в полковники и генералы. Только

что — неизвестно почему — он перенес резиденцию правительства из Марининского в Зимний дворец. Только что раззудилось плечо, размахнулась рука — и вдруг...

Пустяки!.. Все это было не больше, как новым вымогательством свободы рук разгулявшегося бонапартенка. Что же, в самом деле? — «Предоставили портфели», обещали полную свободу действий, а не дают принять «приемлемые условия». Ну, так вот же вам, господа звездная палата: вместо истерики — Финляндия! Теперь, небось, дадите.

А насчет последней взятки кадетам речь будет впереди.

* * *

Но что же делал в это время Ц. И. К.? О чем думал «полномочный орган» демократии, глядя эту свистопляску? Как реагировал он на это разграбление революции?

В Таврическом дворце, после «июля», не наблюдалось больших перемен. За двухнедельный период второй коалиции процесс умирания отнюдь не был приостановлен; но он был затушеван частыми, бурными и многолюдными «объединенными» заседаниями в «белом зале», посвященными «высокой политике». Эти заседания не были проявлением жизни; напротив, они — содержанием своим — ярко подчеркивали одряхление и упадок. Но внешнее оживление, многолюдство и кутерьма — могли ввести в заблуждение постороннего наблюдателя, вроде знаменитого Отто Бауэра, посетившего в эти дни Ц. И. К., проездом из сибирского плена на родину.

Деятельность высокого учреждения протекала под руководством и присмотром все тех же лиц. По-прежнему бессменно царствовал, не управляя, Чхендзе. При нем же, как и раньше, неотлучно состоял фактический управитель, «правительственный комиссар» Церетели. Не в пример его советским коллегам, многосложные обязанности министра внутренних дел не оторвали Церетели от Совета. Во время длинных и бесплодных заседаний, с начала до конца, Церетели можно было видеть на председательской эстраде, — часто жующим корку черного хлеба или в лучшем случае яблоко: этот спартанец по привычкам явно не успевал поест, как следует, в надлежащих местах, — и в таком виде я живо представляю его себе на фоне огромной безобразной задернутой холстом дыры, пробитой в стене белого зала (по случаю ремонта)... Скобелев, Чернов и даже Гоц были видны гораздо реже.

13-го числа в заседание Ц. И. К. явился, неожиданно-негаданно, сам новый министр-президент — для приветствия «демократии» и произнесения тронной речи. Что это значит? Откуда эта невиданная высочайшая милость?... Самая речь Керенского, произнесенная среди оваций, этого еще не объяснила. Напротив, она заключала в себе не совсем ясные места. Но к концу заседания все объяснилось.

— От имени Вр. Правительства я заявляю, — говорил премьер, — что оно верит в разум и совесть русского народа (очень, очень хорошо!)... Эту веру дают мне последние дни, — продолжал Керенский, — когда Ц. И. К. нашел в себе достаточно мужества, чтобы решительно, раз навсегда устранить ту опасность, которая гнездилась в органах

самой демократии... Ц. И. К. должен оказать полную поддержку власти. Только решительным уничтожением элементов, преследующих свои групповые интересы и ставящих их выше блага всей России, может быть укреплено Российское Государство. Я прошу отмежеваться от тех, кто своей деятельностью поддерживает контр-революцию...

На эту министерскую декларацию торжественно отвечал Чхендзе; потом переполненный зал встает и долго рукоплещет среди возгласов в честь Керенского; потом, растроганный министр-президент целуется с Чхендзе; потом, окончательно потрясенный он снова вскакивает на трибуну и провозглашает:

— От имени Вр. Правительства я даю торжественное обещание, что всякая попытка восстановления монархического строя будет подавлена самым решительным и беспощадным образом...

Боже, как жалко было этого главу государства, не понимавшего, как это смешно!.. Но все это не существенно. К деловому порядку дня собрание направил Дан, предложивший на обсуждение резолюцию от имени фракций меньшевиков и эсеров. Резолюция очень любопытна, хотя и не стоит передавать ее потомству целиком. Она была направлена, с начала до конца, против большевиков и была не чем иным, как политической экзекуцией. Впрочем, она заключала в себе и святые истины, при всей своей юридической несостоятельности.

Резолюция прежде всего напоминает о прежних постановлениях насчет обязательного подчинения меньшинства советскому большинству и требует впредь от всех фракций выполнения всех решений Ц. И. К. Между тем, большевики «вели среди

рабочих и солдат безответственную демагогическую агитацию», содействуя этим гражданской войне и военному поражению. Дальше Ц. И. К. признает себя заинтересованным в суде над большевиками, обвиняемыми в мятеже и в получении немецких денег; а потому, осуждая поведение Ленина и Зиновьева, Ц. И. К. требует того же от своей большевистской фракции. Все привлеченные к суду члены Ц. И. К. — устраняются до приговора. А в заключение, петербургскому совету «рекомендуется», как можно скорее, произвести перевыборы всего своего состава...

Экзекуция, учиненная Ц. И. К. над Лениным и Зиновьевым, была по существу вполне справедлива. Но это совсем не значит, чтобы она была политически допустима. И, собственно, было бы даже непонятно, чем вызвана эта запоздалая расправа, если бы не наличие Керенского, предвосхитившего резолюцию в своей тронной речи. Конечно, этот мудрый акт был совершен по его настоянию. А он за это оказал невиданную милость и согласился своим личным присутствием ознаменовать единение власти и демократии...

Надо, впрочем, прибавить, что от слова Ц. И. К. — уже «не станется»: большевистская фракция и не подумала выразить осуждение своим вождям, а петербургский совет — объявить всеобщие пере-выборы. Соответственно этому, и экзекуция над большевиками не имела иных последствий, кроме удовольствия Керенскому.

Между прочим, через два дня в кронштадтском «Пролетарском Деле» (вместо закрытого «Голоса Правды») появилось новое письмо Ленина и Зиновьева, где они объясняют, почему они скрылись

от суда. Письмо продолжает уже начатую ими полемику по существу дела; а «объяснения» заключаются только в том, что «отдать себя в руки Переверзевых и Милюковых значило бы отдать себя в руки разъяренных контр-революционеров», которые не желают знать «даже таких конституционных гарантий, какие существуют в буржуазных упорядоченных странах» (?). «Учр. Собрание одно только будет правомочно сказать свое слово по поводу приказа о нашем аресте» (1).

Выступления фракционных ораторов были бурны, но не давали ничего нового. Рязанов, Ногин и Мартов добросовестно, но безуспешно громили коалицию и звездную палату. Церетели, Авксентьев и новая звезда трудовиков, довольно пошлый обыватель, бывший думский депутат, Булат, — защищались, наступая на большевиков первого и второго сорта. Церетели говорил между прочим:

— Все те, кто понимает, что сейчас не время для проведения узких, эгонистических, партийных платформ, все те, в ком сильно чувство любви к родине, должны откликнуться на призыв правительства. А правительство должно дать гарантии, что тот удар, который был нанесен в спину революции, не повторится. Разве не характерно, что здесь говорили (оппозиция) обо всем, но ни словом не обмолвились о восстановлении смертной казни...

Но это было неверно. Мартов от имени нашей группы требовал слова для оглашения специального протеста, но слова ему не дали... «Трудовик» же Булат оперировал на трибуне с письмом Троцкого к Вр. Правительству. В этом письме, напечатанном утром того же дня в газетах, Троцкий в ярких выражениях заявляет о своей солидарности

с партией Ленина и требует распространения и на него приказа об аресте. Свое невхождение в большевистскую партию Троцкий объясняет «историческим прошлым, ныне утратившим всякое значение». Кроме того, в письме содержится описание того, как большевики относились к событиям 3-го июля: глубокой ночью на 4-е выступление решили отменить, но утром возобновили призывы... Однако, Троцкий, требуя своего ареста, с 6-го числа не появлялся в советских сферах и пребывал «неизвестно где». И Булат к восторгу собрания изливал свое презрение к Троцкому по поводу того, что в своем письме он, требуя своего ареста, не указывает своего адреса (впрочем, эта полемическая «вольность» была подсказана Даном)...

Резолюция принималась в атмосфере разыгравшихся страстей, ненависти и улюлюканья по адресу кучки левых, прикрывающих германских агентов и шпионов. Кто-то из патристических мужичков, в избытке благородных чувств, потребовал с кафедры поименного голосования:

— Пусть, — сказал он, — все знают, в ком бьется русское сердце!...

Мартов, не дав мужичку окончить, вне себя от гнева, бросился на трибуну. Протестуя против черносотенного выступления эсера, он заявил, что оппозиция опубликует свои имена. Увы! Этих имен в Ц. И. К. было сейчас всего 11 или 12... А мужички из крестьянского Ц. И. К. вскоре, по перемене обстоятельств, массовым способом перекочевали из правых эсеров в левые, а потом и в «коммунисты»...

Так действовал полномочный орган революционной демократии в то время, как коршуны буржуаз-

ной «общественности», чуя добычу, вились вокруг «хвастунишки» Керенского и вцеплялись в призрак власти над российскими народами... Ц. И. К., если бы он был органом революции, конечно, еще мог бы, еще имел силу одним духом разогнать и развеять весь этот сброд из Марининского дворца. Но он не был органом революции и только расстилал красное сукно перед бонапартистами... Именно в день этого заседания, министр-президент, не удовлетворившись «радикально-демократической партией», пошел от имени революции на поклон к сильнейшей партии контр-революции — добывать министров из кадетов.

* * *

В своей выше цитированной речи Керенский официально поведал миру об одной замечательной затее новой коалиции. Об этой затее говорили уже несколько дней, и здравомыслящие люди были полны недоумения. Что такое, почему, зачем, скажите толком? Во всем, что предпринимается, как-ни-как, должен быть какой-нибудь смысл, хороший или дурной. А тут не видно никакого смысла... Но вот Керенский сказал толком и обнаружил всю неизреченную мудрость лидеров коалиции.

— В ближайшем будущем, — сказал он, — в Москве будет созвано совещание всех общественных групп и слоев. На этом всероссийском совещании Вр. Правительство обратится с призывом и требованием спасения государства и революции. На это совещание будут приглашены общественные организации, представляющие всю Россию. Я обращаюсь к Ц. И. К. с просьбой, чтобы он в полном

составе прибыл на это совещание, где будут представлены также Гос. Дума, петроградская и московская городские думы, университеты, представители торгово-промышленного класса, всерос. кооперативные и профессиональные союзы и еще другие общественные организации. С полной откровенностью Вр. Правительство сообщит всероссийскому совещанию о действительном положении государства. Мы категорически укажем, что управление государством должно быть построено на коалиционном принципе. Мы полагаем, что в настоящий момент все живые силы государства, враждебные реакции, должны объединиться вокруг Вр. Правительства, послав в его состав своих представителей.

Поистине, и смех, и грех!... Что касается места этого милого «Совещания», то Москва была выбрана, конечно, из боязни петербургских масс: ведь Церетели требовал, чтобы в Москве собрался даже и пленум Ц. И. К. Что касается состава, то, судя по приглашению 300 советских делегатов, состав предполагался тысячным: буржуазия, кадеты, биржевики должны были получить и удесятерить свое представительство под всевозможными соусами. Но цели? Каковы же цели этого предприятия? «Сообщить то, что, разумеется, всем наизусть известно, и «призвать» к тому, к чему ежедневно призывает тысячами глоток буржуазная печать? Но ведь это же нестерпимо глупо!.. Может быть, голос всей России был необходим для того, чтобы указать, как надо составить власть? Так могло бы казаться. Но дело то в том, что создание власти не откладывалось до «Совещания»; наоборот, совещание несколько раз откладывалось — пока Керенский, ответственный перед разумом и совестью, не со-

ставит окончательно власть. Единственный микроскопический смысл этого необычайно громоздкого предприятия мог заключаться в том, чтобы симулировать перед демократическими группами желательное «общественное мнение» страны путем удешевленного представительства буржуазии. Это должно было способствовать окончательному освобождению от Совета. Так некогда Львов и Милюков, во время препирательств с «рабочими депутатами» в контактной комиссии, — приглашали туда Родзянко и думский комитет, чтобы опереться на это «общественное мнение» в борьбе с Советом. Но все это было ребяческой наивностью, — притом совершенно ненужной теперь, когда Совет определенно вышел на стезю прямого прикрытия контр-революции...

Однако, пресса трубила изо всех сил, рекламируя «Совещание». Обывателя заставляли чего-то ждать от него. Через несколько дней его стали называть уже «государственным совещанием». В канцелярии Керенского стряпали представительство, высасывая изо всех пальцев все новые и новые «общественные группы» живых сил плутократии. Было очень противно.

И все это, между прочим, совершалось под аккомпанимент совершенно разнузданных, еще неслыханных в революции речей в «частных совещаниях» все еще существующей в наличной «конституции» Гос. Думы. Там уже ставили все точки над «i», говоря на темы о буржуазной диктатуре, о разгоне советов, о *coup d'état*. Милюков там был из левых, а героем был Пуришкевич. Ц. И. К., обязанный настаивать (на основании постановлений с'езда), чтобы эту свору, по крайней мере, лишили казен-

ного жалованья, разумеется, молчал и требовал покорности от масс.

* * *

Но поддерживать так поддерживать по всей линии. А если поддержка состоит в капитуляции, доходящей до неприличия, так надо капитулировать и совершать неприличия по всем статьям... В те же дни Ц. И. К. (или, вернее, его бюро) избрал комиссию во главе с Чхеидзе «для руководства предстоящими 15-го июля похоронами воинов, павших при исполнении революционного долга в дни 3—5 июля». Эти воины были не кто иные, как казаки, числом семеро. О других жертвах июльских дней речи не было, — их похоронили особо, безо всякой помпы. Но казаки заведомо стреляли в отряды «большевиков». «Совет с'езда казаков» (нам известный) и думский комитет (известный еще лучше) видели в павших казаках героев, погибших от руки германских агентов, и настаивали на особо торжественных похоронах. Керенский был на поводе у думского комитета, который открыто требовал разгона Совета; Церетели был на поводе у Керенского, который втихомолку мечтал о том же. А потому церемониал похорон был утвержден, был разработан «Советом с'езда казаков» и комиссией Ц. И. К. И церемониал этот... начинался с божественной литургии в Исаакиевском соборе, продолжался певчими, духовенством, венками...

Часов в 12 дня, в понедельник 15-го июля, я ехал куда-то в автомобиле из Таврического дворца. Попытка пересечь Невский около Литейного не

удалась: Невский был оцеплен и запружен народом. Я поехал в обезд, но все же был остановлен на Екатерининском канале саженьях в ста от Невского. Отсюда, из автомобиля я и наблюдал огромную, еще невиданную контр-революционную манифестацию — под видом похорон казаков. Торжественный крестный ход, погребальный звон, два хора певчих, «Коль Славен», ничего красного — только черный цвет. В собор стеклись — Родзянко с товарищами, дипломатический корпус, иностранные послы, министр-президент со всеми высшими военными и гражданскими властями. Делегации и венки — от всевозможных общественных организаций, от кадетской партии, от черносотенного союза георгиевских кавалеров и... от обоих (рабоче-солдатского и крестьянского) Ц. И. К. Гробы выносили на руках Керенский, Львов, Милуков, Родзянко. Министр-президент не преминул на паперти произнести «замечательную» речь, в которой «во имя крови невинно погибших» клялся впредь «беспощадно пресекать анархию и беспорядки»... Невский был запружен несметной толпой обывателей, чувствовавших немалое удовлетворение от всего этого зрелища и мотавших его себе на ус.

* * *

Но все это было предварительно, начерно. Вспомним, что мы ведь ждали пленума Ц. И. К., созванного в июльские дни для окончательного решения вопроса о власти. Правда, после июльских дней вопрос о власти был уже решен. Мало того: это решение состояло в том, что Ц. И. К., в «неправо-

мочном составе» отказался от участия в высокой политике, передав все свои права кружку Керенского-Церетели. Но так или иначе депутаты, вызванные телеграммами, с'езжались, и пленум должен был состояться. Его задачей — с точки зрения мудрости и добросовестности звездной палаты — ныне являлось не окончательное решение политических проблем, а окончательное утверждение того факта, что отныне Совету не пристало вмешиваться в высшую политику. Собственно говоря, с точки зрения звездной палаты, при данных условиях, пленум Ц. И. К. был совершенно излишен: делать ему было нечего, и приходилось думать о том, чем бы занять его — более или менее безобидным.

Сессия пленума открылась в воскресенье 16-го. «Белый зал» был почти заполнен депутатами объединенных Ц. И. К.-тов. В порядок же дня звездная палата, для начала, поставила действительно безобидную тему: доклады с мест. Очень интересен, об'ективен и корректен был доклад меньшевика Венгерова, специалиста по военным делам, прибывшего из армии. Как и другие представители фронта, он утверждал, что армия не может ни наступать, ни воевать — совсем не по причине злонамеренной большевистской агитации; а прокламированные ныне репрессии — расстреливания, аресты, смертные казни и преследования армейских организаций — не поведут к добру... Интересны были и многие доклады из провинции. Они вскрыли картины полнейшего безвластия, разрухи и начавшегося разочарования масс; способность коалиции отвечать на требования народа одними репрессиями — совсем не «спасает страну и революцию». Провинциальные

члены Ц. И. К. принадлежали исключительно к правящему блоку; но они вкусили подлинной жизни и принуждены были силой вещей делать выводы. Они призывали Совет к твердости, а массы к сплочению вокруг него... Звездной палате слышать все это было не особенно по вкусу. Такой пленум был решительно ни к чему.

Но доклады с мест были не более, как интермедией. Центральным пунктом был все-таки вопрос о власти, который снять было нельзя. Вопрос этот был поставлен на следующий день, при столь же торжественной обстановке и переполненных хорах... Подходя к Таврическому дворцу, у самых ступеней портика, в том самом месте, где ровно две недели назад сидел в автомобиле арестованный Чернов, — я встретил Троцкого, также идущего в заседание. Я от души обрадовался этой встрече и не преминул тут же высказать мое удовольствие: исчезновение Троцкого в течение после-июльских дней, особенно после его письма (от 10-го июля), меня шокировало и удивляло... Троцкий, в ответ на мои приветствия, сделал вид, что появлению его нечего придавать значения, так как оно в порядке вещей.

Заседание, однако, не представляло ни малейшего интереса. Характерны были разве только отдельные штришки... Несмотря на то, что все ожидали обсуждения вопроса о власти, Чхендзе предоставил слово Дану — «для доклада о событиях 3—5 июля». Я потребовал сначала дать мне слово «к порядку». В запальчивом и раздраженном стиле я настаивал, чтобы вместо доклада об июльских днях г.г. министры в первую голову дали пленуму отчеты и, в частности, поведали бы нам о том, какие экспе-

рименты проделываются в Мариинском дворце над созданием революционного правительства...

На крайней правой зала стоял взволнованный Троцкий, который потребовал слова против моего предложения. Было очевидно, что ему надо просто занять трибуну — для своих целей. Чхеидзе, не дав Троцкому слова, заявил в ответ мне ледяным тоном, что т. т. министры выступят в общем порядке, когда они того пожелают; а собрание подняло руки.

Затем экономический отдел Ц. И. К. усиленно хлопотал перед президиумом о том, чтобы его представителю, правому меньшевику Череванину, было предоставлено в пленуме слово для доклада об угрожающем экономическом положении страны. Доклад лояльнейшего сторонника Церетели должен был заключать в себе некоторые разоблачения действий клики Керенского; кроме того, экономический отдел, как мы знаем, вообще «не понимал линии Совета», будучи подозрителен по своему критическому направлению. И Череванину слова не дали.

Наконец, Мартов, от имени фракции меньшевиков-интернационалистов, после немногих, но ярких вступительных слов, внес резолюцию об отмене смертной казни. Резолюцию сняли, как неуместную в данном заседании. Предложили обсудить этот вопрос сначала по фракциям.

В докладе Дана и в последующих речах июльские события перепутались с проблемой власти, а травля большевиков — с акафистами коалиции. Был блестящ Мартов и совершенно неистов Либер. Но останавливаться на всем этом решительно не стоит. Возвращение Церетели к защите смертной

казни и прочих «суровых мер борьбы с анархией» — уже не вносило ныне ничего нового. Не любопытна и резолюция, об'единившая в себе все предыдущие после-июльские резолюции Ц. И. К. — о «спасении революции», о большевиках и анархии, о неограниченных полномочиях и коалиции живых сил. Следует упомянуть разве только о добавлении к этой резолюции, которое был вынужден принять пленум после докладов армейских делегатов: констатируя, что под предлогом восстановления военной дисциплины делаются попытки разрушить армейские организации, Ц. И. К. предлагает не допускать таких попыток и призывает спланироваться вокруг Советов всех рабочих, солдат и крестьян...

Любопытно было также эпизодическое выступление Троцкого. Взяв слово по существу обсуждаемого вопроса (точно неизвестно — какого), Троцкий вернулся к делам июльских дней. Читатель помнит мою личную версию, в 4-й книге, — а потому я приведу его слова без всяких комментариев:

— Неправда, — говорил Троцкий, — что большевики организовали выступление 3-го и 4-го июля. Накануне, 2-го числа, я на митинге удерживал пулеметчиков от выступления и на других митингах я говорил то же. Единственным нашим лозунгом была «вся власть советам». Это говорили мы тогда, это я говорю и теперь. Но к вооруженным выступлениям, к авантюрам мы не звали... Когда кадеты вышли из министерства, чья-то преступная рука инсценировала попытку ареста Керенского и Чернова (крики с мест: это сделали кронштадтцы, краса и гордость революции!)... Кто присутствовал при этой попытке, тот знает, что ни рабочие,

ни матросы не видели и не слышали того, что происходило у колонн Таврического дворца. А именно — у колонн находилась кучка негодяев и черносотенцев, которые пытались арестовать Чернова. И еще раньше, чем они пытались это сделать, я говорил Луначарскому, указывая на них: вот это — провокаторы (Луначарский, с места: верно!). И на этой клевете строится $\frac{3}{4}$ всей конструкции этого якобы вооруженного восстания... Ведь не было ни попытки со стороны демонстрантов захватить какой-либо стратегический пункт или политический центр. О восстании тут говорить не приходится... Создается невыносимая атмосфера, в которой вы так же задохнетесь, как и мы. Я говорю об атмосфере клеветнических обвинений (голоса: правильные обвинения!). Здесь, в зале, есть люди, бросающие обвинения Ленину и Зиновьеву в том, что они — наемники Вильгельма. Ленину, революционеру, всей жизнью своей доказавшему свою преданность пролетарскому делу! Дело революционной диктатуры расправиться с большевистскими вождями, если они совершили преступление против революции. Но не позволяйте в этом учреждении говорить об их подкупности. Ибо это голос подлости...

Троцкого так или иначе дослушали до конца. И то хорошо. Но в общем центральный день пленума, конечно, ничего не внес в наличную конъюнктуру. В общем он подтвердил Керенскому и звездной палате: чего изволите... Это было в тот самый день, когда Керенский — где-то там, в неведомых сферах — признал «приемлемыми» условия контр-революционных кадетов, коих он призывал владеть революцией.

В общем пленум Ц. И. К. тут ничего нового не дал. Но, в частности, кое-что дал. В речах провинциальных людей слышны были весьма «вольные» и протестующие ноты. Они, как мы видели, даже склонили большинство к довольно дерзкой — специальной резолюции, защищающей армейские комитеты... Но и в основной резолюции имеется место, где определенно подчеркивается, что соглашение с буржуазией возможно только на почве последовательно проводимой программы 8-го июля... О, правда, это не много! Это значит только то, что полномочный орган демократии еще имеет какое-то свое мнение насчет «комбинаций» премьер-министра. Из этого ровно ничего не следует, и «полномочного» Керенского это ровно ни к чему не обязывает. Но нельзя сказать все же, что это мнение Ц. И. К., выработанное на фракционных заседаниях, силами партийной оппозиции прямо скачущему министру Церетели, — ни к чему не обязывало самого Церетели. Его это партийно-советское постановление все же обязывало. И, очевидно, этим-то и объясняется его выступление перед журналистами — с выше цитированным заявлением: заявление это, как мы знаем, всунуло палку в колесницу премьерских «комбинаций» и произвело смуту в рядах почтенных контрагентов Керенского. Но пленум Ц. И. К. продолжал и дальше чуть-чуть портить обедню премьера и его камарилы.

* * *

Со следующего дня, с 18-го числа, Вр. Правительство обосновалось, как мы знаем, в Зимнем дворце, а первый министр там и поселился. С этого же

дня и Ц. И. К. начал понемногу перебираться из Таврического в Смольный...

После долгих поисков резиденции для будущего Учред. Собрания, пришлось остановиться на том же Таврическом дворце. Но он нуждался в большом ремонте; а в частности белый зал не мог вместить всего предполагаемого состава «конституанты», исчисляемого примерно в 1000 человек. Дворец, поэтому, нуждался в перестройке, которая была поручена архитектору Щуко. Родзянко же, доселе мнивший себя здесь хозяином и льстивший себя надеждами на фактическое восстановление в правах, уже давно и не без ехидства заявлял в печати, что Таврический дворец «необходимо нуждается в ремонте и дезинфекции»...

Хозяйственные люди Ц. И. К. уже давно подыскивали подходящее помещение для центрального советского органа. Это было не легко. И, в конце концов, Н. Д. Соколов, который взялся за это дело, остановился на Смольном институте, ныне эвакуированном от благородных девиц. Туда предстояло перенести центр русской и мировой революции. И с 18-го числа туда уже начали переезжать некоторые отделы... Мне было очень жаль расставаться с Таврическим дворцом.

В этот день, на 6 час. вечера, было назначено следующее заседание пленума. Но оно не состоялось. Оппозиционные настроения внутри правящих фракций дали себя знать; провинциалы и фронтовики «мутили» заскорузлую столичную публику, терроризированную июльскими днями; а в частности и в особенности — фракциям задала работу резолюция нашей группы, внесенная накануне Мартовым, резолюция об отмене смертной казни. Во всяком

случае, фракционные заседания к 6 часам не окончились и продолжались до глубокой ночи.

Я, конечно, не участвовал в работе «лабораторий» меньшевистско-эсеровского блока. Но целый день в Таврическом дворце передавали сенсации о заседаниях фракций. Речи говорились и о власти, и об общей политике, и о частных вопросах, особенно задевших сознание партийных масс. Много времени занял опять вопрос о Гос. Думе: я уже упоминал, что в эти дни происходили ее «частные совещания», с откровенно контр-революционными, неслыханно развуданными речами. Пуришкевич именовал «полномочный орган демократии» шайкой проходимцев, фанатиков и немецких агентов, называвших себя «Исп. Комитетом»; а остальные восклицали зычным хором: разогнать все советы и комитеты!..

Этого решительно не мог вынести слух даже лояльных элементов блока. И говорили, будто бы фракции на этом пункте раскололись: одни требовали немедленных решительных мер против своры Родзянки (против этого источника вдохновения Керенского!), а другие, во главе с Гоцом и Церетели, требовали умеренности, воздержания, выжидательной позиции. Эти — ничего, выносили.

Но желание — отец мысли, а оппозиционное раздражение — отец политических разногласий. К вечеру в кулуарах говорили, что обе руководящие фракции раскололись и по вопросу о смертной казни. Это было серьезнее. Во-первых, казалось бы, что это средство спасения от Вильгельма должно было объединить в восторженных чувствах всех «патриотов», то-есть межеумков и обывателей советского блока: это была линия очень большого сопротивления для советской крамолы. Во-вторых

же, это дело, в случае капитуляции Ц. И. К. перед Мартовым, ставило в невыносимое положение звездную палату и всю коалицию: ведь Церетели, с похвальной храбростью, так громогласно афишировал себя защитником смертной казни и, надо сказать, уже взял все это дело на себя... При таких условиях хлопот было много.

Звездная палата делала, что могла: она затягивала дело, разлагая боевое настроение в атмосфере бездействия и нудной толчеи. В Таврическом дворце было возбуждение и даже летучие митинги, как в большие дни. Но заседание все не началось; оно так и не состоялось — не только 18-го, но и 19-го, до позднего вечера.

А тем временем, испытывая неожиданное давление (и от кого же? — от ею же вызванного духа! от ею же созванного пленума!), звездная палата видела себя вынужденной оказать, с своей стороны, давление на министра-президента... Конечно, ни с отменой смертной казни, ни с разгоном Гос. Думы нечего было соваться к Керенскому. Но приходилось почтительнейше доложить, что, если не сделать каких ни на есть уступок, если, скажем, продолжать самодержавную вакханалию с портфелями, если полностью удовлетворить кадетскую контр-революцию и формально отказаться от только что подписанной программы 8-го июля, — то, кто знает, что может случиться в результате. Вон, ведь, что говорят провинциалы и фронтовики! Вон северный областной с'езд советов, два-три дня назад, вынес прямое порицание Ц. И. К. за капитуляцию перед буржуазией! Ведь если так пойдет дальше, то советский блок может расшататься. А ведь за советским блоком, в руках которого —

ния Совета, попрежнему стоит и вся реальная сила, и армия, и крестьянство, и рабочие массы. Ведь все они шли в сторону большевиков именно в силу ненависти к политике коалиции. Теперь большевики притаились. Но кто знает?... Кто знает, не придется ли и впрямь... отменить смертную казнь и распустить Думу, если будет продолжаться так, как теперь.

Эти мысли, собственно, не были новы для звездной палаты и до пленума. Мы знаем, что в ее собственной среде завелась некая «левая» — в образе, главным образом, Дана. Начав свою линию с 6-го июля, Дан продолжал ее до сих пор. Это видно хотя бы и по передовицам советских «Известий» того времени. В моменты самого дикого разгула репрессий, их редактор обращал свои стрелы направо и протестовал против дальнейшей капитуляции... Но Дан был в меньшинстве (если не в единственном числе) в звездной палате. После эфемерного успеха, достигнутого при помощи Керенского в тот момент, когда тому надо было устранить Львова, — Дан был уже бессилен в своей крохоборской борьбе. И только сейчас, после давления пленума, звездная палата была вынуждена заговорить с Керенским языком Дана.

Разговоры эти начались после того, как Керенский обещал удовлетворить кадетов, отказавшихся от программы 8 июля; и продолжались они в течение суток — до вечера 19-го числа. Но, как мы знаем, в течение этого срока разговоры ни к каким результатам не привели. Не таков был Керенский. О, этот человек был тверд, как камень! Раз он сказал, что будет отвечать только перед своим разумом и совестью, то с этого его уж не сдвинешь!

Раз он так сказал, то уж он никого не станет слушать — кроме Милюкова и Родзянки.

* * *

Заседание пленума возобновилось только в среду 19-го, в 10 часов вечера. Звездной палаты налицо не было. Гоц, Церетели, Дан — были, очевидно, заняты в Зимнем... Но какой же порядок дня? Вероятно — смертная казнь?..

О нет, это дело было замазано, затерто и снято с очереди. Но зато пленуму было дано «удовлетворение»: в порядок дня были поставлены отчеты министров-социалистов. Правда, это не были политические отчеты. Если бы было так, то сюда бы включался и вопрос о смертной казни и о репрессиях, и о финляндском сейме, и обо всем том, что составляло сущность контр-революционной политики второй коалиции. Обо всем этом должен был бы докладывать если не министр-президент, то по крайней мере министр внутренних дел. Однако, доклада Церетели, которого не было налицо, совсем не предполагалось. Налицо были «экономист» Скобелев, продовольственник Пешехонов и селянский Чернов. Ясно, что «отчеты» должны быть не политические, а «органические»... Но все же это были «отчеты», которые пригодились, чтобы заткнуть рот расходившейся оппозиции. В тонкостях разбираться не к чему.

По поводу этих отчетов в заседании 19 июля будет бесполезно отметить в двух словах, как обстоит дело с творческой революционной работой второй коалиции, далеко ли подвинула она осуществление программы революции на трех ее

основных фронтах: земли, хлеба и мира: А priori это, конечно, вполне ясно. Но зачем же произносить приговор на основании априорных умозаключений?

Чернов был встречен бурной овацией большинства. И говорил он в весьма свободном, оппозиционном тоне, косвенно направляя стрелы против правительства, а прямо и решительно — против кадетов. Чернову на этот раз было чем похвастаться. На фронте земли, при второй коалиции, за демократией числилась победа: 14-го числа, как-то совершенно внезапно, был, наконец, принят правительством декрет о запрещении земельных сделок без разрешения земельных комитетов и без утверждения министра земледелия. Это была действительно победа; это был акт, который был предметом вожделений, борьбы и волнений огромных крестьянских масс; это было ближайшее требование Совета. И коалиция, наконец, пошла на эту уступку ужасному Чернову...

Как и почему это случилось, мне неизвестно. Правда, не только советские министры, но и эсер Керенский уже давно и публично обещал этот акт. Быть может, взамен покорности и прижима большевиков, он согласился выбросить эту подачку. Но это было тем более неожиданно, что друг Керенского, новый министр юстиции Ефремов, только что успокоил помещичьи сферы, заявив себя решительным противником проекта о земельных сделках. После-июльская пресса встретила это с полным «удовлетворением».

Но тем более негодовала, рвала и метала она теперь... Разве это не дневной грабеж? Необходимо немедленная и полная сатисфакция!... Разу-

меется, надо сейчас же устранить Чернова. Да ведь он же участвовал и в циммервальдских конференциях! Он же пораженец! И трудно, очень трудно, даже совсем немыслимо здравому рассудку поверить, что Чернов... ну, если не за деньги, как Ленин, то будто бы не на службе, или если и не на службе, то будто бы не агент... ну, а если и не агент, то не пособник или не сторонник, — ну, словом, не верный слуга Вильгельма... Особенно тщательные исследования на этот счет, в самых великосветских выражениях, производились на «сочесаниях Гос. Думы». А так как создание министерства полномочным Керенским было кровным делом Родзянки, то ясно, что как бы там ни говорили официальные кадетские органы, но общественное мнение России решительно не может претерпеть Чернова в министерстве.

Победителю-Чернову ничего не оставалось, как пускать в эти сферы парфянские стрелы из плена Ц. И. К.... Как-ни-как, но ему на этот раз было чем похвастаться. Вопрос только вот в чем: какова будет судьба возжеленного декрета? Это определялось весом земельных комитетов на местах. И вот именно сейчас поступили сведения о том, что в провинции, после июльских дней, начались аресты земельных комитетов агентами коалиции... В «органической работе» первого кабинета Керенского, видимо, надо строго различать теорию и практику.

Чернов же на трибуне Ц. И. К. имел большой успех. Его и проводили, как встретили, большой овацией.

На фронте хлеба, как мы знаем, должна была производиться двоякая работа: во-первых, соб-

ственно продовольственная — по проведению хлебной монополии, по усовершенствованию продовольственного аппарата — и, во-вторых, общехозяйственная — на основе известной нам программы Иск. Комитета 16-го мая... О чисто продовольственных делах докладывал министр Пешехонов, который, с первого же слова, объявил положение угрожающим. Об этом писали и говорили очень много. Армия уже давно перебивалась кое-как, и огромное дезертирство было в огромной степени связано именно с голодом. На местах начинались голодные беспорядки. Снабжение крупных центров падало день ото дня. Рынки быстро пустели и требовали бешеных средств, которые имелись только у буржуазии. Карточный же паек уже был вполне голодным. В Петербурге он равнялся тогда — для лиц, занятых физическим трудом: хлеба $1\frac{1}{2}$ фун. в день, крупы 3 фун. в месяц, мяса 1 фун. в неделю, масла $\frac{3}{8}$ фун. в неделю и 5 яиц в неделю. Но опять-таки это была только теория, которая далеко не совпадала с практикой.

Что же надо было делать? Как думал помочь, что проектировал, над чем работал советский министр Пешехонов?... Он требовал «не только твердой, но и единой власти», которая справилась бы с анархией и прекратила бы законодательство на местах. Иных проектов Ц. И. К. не услышал.

— Вы знаете, — говорил Пешехонов, — какая опасность кроется в расстройстве хозяйственной жизни страны. При крайне неуравновешенном состоянии народной психики, при склонности масс поддаваться демагогическим призывам, нам угрожает серьезнейшая опасность: не давая хлеба, крестьяне во многих местах начинают упрекать Вр.

Правительство в неумении организовать народное хозяйство. При таких условиях мы можем прийти к катастрофе.

Я привел эти слова не для полемики, а для характеристики «советской делегации» в министерстве. Комментировать тут нечего... На самом деле ясно, что делу могло помочь только решительное вмешательство государства; но осуществить его не только не умела, но и не хотела вторая коалиция. В этом направлении не было сделано попрежнему ровно ничего реального. Поговаривали о разных монополиях и взятиях под контроль. Но эти разговоры с избытком компенсировались жесточайшей травлей против самой идеи «регулирования». Вбивая основной кол в программу 16-го мая, вся буржуазия хором вопила о «свободе». А ведь теперь в министры снова протискивались биржевые тузы, — тут было действительно не до «регулирования».

Правда, на этих днях предполагалось открытие Экономич. Совета... Не знаю, какими судьбами в состав советского представительства были включены Рязанов и я (всего было четверо или пятеро, но кто были остальные — не помню). 21-го июля мы отправились на открытие в Мариинский дворец. В довольно торжественной обстановке премьер Керенский произнес довольно невразумительную, но очень «благожелательную» речь, в которой — без надлежащего повода — подчеркивал, что государственное управление отныне будет все более сосредоточиваться в одних (конечно, его собственных) руках, каковым фактом не следует смущаться... Но Керенский не пояснил, не следует ли этому смеяться.

Почтив рукопожатием каждого из присутствующих.

щих, министр-президент оставил председательствовать Прокоповича, а сам удалился к себе в Зимний дворец. Первое заседание Экономич. Совета было, конечно, посвящено организационным мелочам и привычным, пугающим докладам о критическом положении страны — особенно транспорта. Дальше началась академическая говорильня, которая демонстрировала практическую беспомощность. Никаких сомнений быть не могло: в наличной общей кон'юнктуре это учреждение было ни к чему. Ни о каком «регулировании» не могло быть и речи. Теперь шел уже не саботаж, а прямое искоренение революции.

Как далеко ушло у нас дело с «организацией народного хозяйства и труда», недурно иллюстрирует и такой факт. Разговоры на эти темы в правительственных учреждениях направлялись, главным образом, в сторону организации снабжения деревни, которая без этого перестает давать хлеб. Но так как это дело было безнадежно, а деревня вопила, то селянский министр Чернов напал на плодотворную мысль: устроить «железный день» для деревни. Чернов объявил, чтобы все, кому дороги интересы отечества, несли в такой-то день, в указанное место — гвозди, подковы, дверные скобки и всякий железный хлам. Все это для нужд деревни!.. Вот это и было «регулирование промышленности».

В заседании пленума Ц. И. К. 19-го июля было, наконец, предоставлено слово на эту тему докладчику экономического отдела, меньшевику Череванину. Докладчик, при всей своей лояльности коалиции, был вынужден придать своему выступлению форму «запроса», обращенного к правительству.

И, действительно, он раскрыл перед Ц. И. К. удручающую картину. Он рассказал, как в виду явного саботажа коалиционной власти неизбежный в революции процесс регулирования хозяйственной жизни, силою вещей, переходит к самочинным демократическим органам. Это — организации снабжения, которые создаются на местах приблизительно по одному типу, слагаясь мало-по-малу в довольно стройную систему. Однако, эта творческая деятельность демократии встречает активное противодействие со стороны правительства, главным образом, в лице члена министерства г. Пальчинского.

Этот господин, один из преданнейших и способнейших наемников российского организованного капитала, являлся в те времена главным воротилой коалиционной экономической политики. Занимая одновременно несколько важнейших должностей, он продолжал политику царского режима и расхищения народных производительных сил. Под его давлением Экономический Комитет (исполнительный орган Экономич. Совета) в первом же своем заседании отказался утвердить московский районный комитет снабжения, который уже успел предотвратить развал металлургической и текстильной промышленности московского района... Между прочим, в качестве руководителя важнейшего учреждения по топливу (Осотоп), Пальчинский держался с таким цинизмом по отношению к демократическим организациям, что из этого учреждения принуждены были уйти не только представители Совета, но и делегаты старых земств и городов (Земгор); по зато в нем остались представители Гос. Думы и Гос. Совета...

Докладчик экономического отдела предлагал пле-

нуму Ц. И. К. обратиться с запросом к министрам-социалистам: намерены ли они терпеть дальше такое положение дел и принимают ли они меры к решительному пресечению деятельности г. Пальчинского?

Правому меньшевику Череванину отвечал его товарищ по партии, большой экономист и притом «циммервальдец», министр труда Скобелев. Не в пример интерпеллянту, он утверждал, что Вр. Правительство относится к демократии вполне благожелательно; но, конечно, самочинных действий оно признать не может; надо подождать, пока Экономич. Совет выработает общие положения и общегосударственные законы. Надо подождать... Спасение же в сильной власти. Да, — не в чем ином. И демократия это поймет и коалицию поддержит...

Так обстояло дело на втором главнейшем внутреннем фронте. Прибавлять тут нечего. Разве только присовокупить случайно попавшуюся сейчас на глаза газетную заметку: того же 19-го числа Гоц, на Невском судостроительном заводе, призывал рабочих подписываться на «Заем Свободы». Вот это реальное дело для государства!

* * *

В пленуме Ц. И. К. не было доклада о нашей внешней политике, о революционной политике мира: дипломатия не была уделом «подотчетного» министра-социалиста и находилась в руках Терещенки. Но все же посмотрим кстати, что происходило при второй коалиции на этом самом важном из всех фронтов.

Можно не сомневаться в том, что для мира теперь ни правительством, ни Советом не делалось ровно ничего. Теперь о мире даже не говорили — хотя бы в тех лживых словах, которых так много произносили раньше. За более важными делами теперь забыли о мире. Вся после-июльская обстановка способствовала тому, что говорили теперь не о мире, а о войне «в согласии с доблестными союзниками»...

Вся советская работа для мира выражалась ныне разве только в деятельности советских делегатов за границей. В то время они находились в прекрасной Франции, где газеты травили их, как спора собак. На родине революций им приходилось более туго, чем где-либо. Правда, их принимали, с ними заседали на банкетах разные высокопоставленные лица. Но, разумеется, ни о каких дипломатических успехах тут не могло быть речи. В вялых трафаретных репликах, в набивших оскомину формулах о борьбе за право и справедливость — французские правители «отводили» все «представления» русских пацифистов. Все их предварительные дипломатические отречения от сепаратного мира решительно не помогали делу...

Конечно, делегаты собственно не для того и приехали, чтобы, кривя душой, поставить международных пиратов «на точку зрения русской революции». Конечно, настоящей сферой их воздействия были социалисты. Но и здесь, при всем своем щедро проявленном оппортунизме, наши делегаты добились не многого. Все их усилия были направлены собственно в одну точку: на стокгольмскую конференцию. Французская социалистическая партия, как мы знаем, согласилась участвовать в

ней. Но из этого ровно ничего не последовало. Ведь правители ее не желали, а действительной борьбы не велось... На этих днях стокгольмская конференция была снова «окончательно» назначена на 27 августа.

Борьба же не велась в Европе прежде всего потому, что русская революция, этот самый могучий фактор мира, уже была в качестве такового ликвидирована до конца. Перед лицом мирового империализма дело обстояло теперь так, как будто в России неизбежно стоит до сих пор царское самодержавие. Русское наступление, смертельно ранив развернувшееся европейское движение в пользу мира, подвело неизбежный фундамент под будущие «брест» и «версаль»...

Именно в половине июля состоялась союзная «конференция по балканским делам», давно рекламированная Церетели. Разумеется, к миру она не имела ни малейшего отношения, и о мире там не было сказано ни одного слова. Порок уже открыто отказался платить дань добродетели. Но, если угодно, я продемонстрирую, как на «балканской» конференции говорили о войне: «Перед закрытием конференции, — сообщало агентство Гаваса, — члены ее сочли нужным сделать следующее единодушное заявление: союзные державы ныне объединены теснее, чем когда-либо для защиты прав народов, в особенности на Балканском полуострове, и решили сложить оружие лишь тогда, когда будет достигнута цель, по их мнению, господствующая над всеми другими целями, то-есть сделать невозможным повторение преступных нападений, вроде того, ответственность за которое падает на империализм центральных империй»... Когда международные раз-

бойники и убийцы так говорили в 1914 году, это было еще пол-горя. Но сейчас, после русской революции, это была катастрофа.

Новый германский канцлер, г. Михаэлис, ссылаясь на русское наступление, бесконечно его укрепившее, теперь нагло размахивал «бронированным кулаком». Вильгельм, забыв обо всех дипломатических уроках, делал снова публичные каннибальские заявления. А опираясь, в свою очередь, на них, этим немецким крокодилам вторили из-за Рейна французские и английские. Бонар-Лоу и Рибо излагали «право и справедливость» примерно в тех же выражениях.

Между прочим, в эти дни, при помощи немецких шпионов из наилучшего и патриотичнейшего французского общества, германский канцлер разведal и обнарудовал довольно сенсационный факт: президент Пуанкаре заключил с царем Николаем совершенно тайное и почти приватное единоличное соглашение, — что война должна отдать Франции весь левый берег Рейна с его немецким населением... В газетах сообщалось, что эти разоблачения Михаэлиса подействовали даже на нашего Терещенко, который выразил по этому поводу неудовольствие французской дипломатии. Однако, Терещенко опроверг это в печати. То-есть опроверг не разоблачения, а будто бы он выражал неудовольствие... Все в порядке.

В тот же самый день заседания пленума Ц. И. К., 19-го июля, было опубликовано торжественное обращение Вр. Правительства к союзным державам по случаю третьей годовщины войны. Трудно вообразить себе более гнусный документ! Мы помним, какие результаты имела предательская «нота» Ми-

люкова (18 апреля) для него самого. Но эта «нота» совершенно меркнет в свете документа 19 июля, подписанного «циммервальдцами» Церетели, Скобелевым и Черновым. Тут не было не только ни намека на мир, на обещанные конференции и на что-либо подобное. Тут были, вместо этого, не только одни клятвы «в непреклонной решимости продолжать войну, не отступая ни перед какими трудностями», и «с новым мужеством делать все нужные приготовления для дальнейшей кампании»... Тут было кроме того совершенно холопское оправдание за неудачу наступления — путем шельмования русской армии, «забывшей свой долг, под влиянием агитации безответственных элементов, использованных неприятельскими агентами и вызвавших восстание в Петрограде»... Таким языком говорила ныне русская революция!

Комментировать это неприлично я не стану. Но результатов — не в пример мялюковской ноте — это не имело никаких. Теперь, после «июля», на это никак не реагировали ни Ц. И. К., ни массы... Так обстояло дело на третьем, на самом важном внутреннем фронте во время второй коалиции.

* * *

Министерские «отчеты» кончились в пленуме поздно ночью. Ни прений, ни резолюций не было. Предполагалось, что эти «отчеты» имеют «информационный характер»: ведь собственно нужно было только «занять» пленум и отвлечь его от скольких вопросов, вроде смертной казни.

Предполагалось, что перед пленумом — для снятия сердец — появится и Керенский. Но до

поздней ночи этого не случилось. Председатель Чхеидзе, утешив собрание тем, что премьер придет завтра, предложил разойтись. Решили собраться завтра опять, в 6 часов вечера.

Министру-президенту в эти часы, конечно, было не до пленума. В эти часы на него делала последний натиск звездная палата. Она защищала свою ничего не стоящую бумаженку 8-го июля, под давлением партийных настроений в Таврическом дворце. Но Керенский все не уступал. А Церетели не мог справиться с Даном, за которым стояли компактные группы меньшевистского «офицерства»... Что же в конце концов перетянет, — бумаженка Церетели или страсть к кадетской контр-революции?

Во всех выше описанных конкретных фактах отлично отражалась наличная общая кон'юнктура; на их фоне отлично вырисовывались и перспективы революции. Я не могу отказать себе в удовольствии охарактеризовать эту кон'юнктуру, наметить эти перспективы — словами Мартова. В этот период лидер нашей группы, склонившись на мои просьбы, написал ряд статей в «Новой Жизни». Писание впопыхах не мешало им отличаться свойственным Мартову блеском и бить в самый центр «текущего момента». Одну из них я и процитирую.

Если верно, — писал Мартов в эти дни, — что в беседе с буржуазными претендентами на портфели Керенский заявил, что при новом, облеченном «полнотой власти» министерстве Советы «будут играть не ту роль, какую играли прежде», — то это заявление демократия может принять и санкционировать только в одном смысле: что Советы будут играть гораздо более активную и заметную, чем прежде, роль в деле государственного управления, превращенного в дело революционного творчества и революционной организации.

Так жизнью поставлен вопрос. Или контр-революционная ликвидация революции, или ее продолжение и развитие путем диктатуры, осуществляемой силами организованной демократии и осуществляющей задачи революционного творчества.

Нынешний кризис власти весь целиком сводится к обналичению этого основного вопроса. От его решения не отвертеться ни декларациями, ни хитроумными комбинациями распределения, дележа, накопления и перемещения портфелей.

В переговорах, которые ныне повел девятичленный нынешний кабинет с различными «министериабельными» особами, этот вопрос стал на первый план. С большей или меньшей последовательностью, различные группы профессионалов политики, как и влиятельные плутократические и милитаристские группы, ставят условием своей кооперации с членами нынешнего правительства «полноту власти» над демократией и приостановку всякого революционного творчества (это называется «национальная, а не классовая или партийная платформа»).

При содействии определенной части демократической и социал-патриотической прессы на революционную демократию производится энергичный нажим, дабы заставить ее самоубийственно согласиться на министерскую комбинацию, в основу которой была бы положена подобная платформа.

Надо быть ослепленным безумцем или безнадежным доктринером политического компромисса, чтобы не видеть, к чему неминуемо привело бы при современных условиях осуществление программы, навязываемой революции октябристами и кадетами, Потресовым и Плехановым.

Правительство «гражданского мира» и «национального единения» было бы на деле правительством гражданской войны и национального разложения. Правительство продолжения войны до полной победы осуществилось бы как правительство военного разгрома.

Все было именно так, как писал Мартов. Но этого не хотели понимать «ослепленные безумцы» и «безнадежные доктринеры компромисса». К удовольствию кадетской «Речи», в лице «Рабочей Газеты», органа Церетели, они урезонивали «монополистов демократии и революционного творчества»...

«Быть может, — писали там против Мартова, — пролетариат совместно с крестьянством сделает буржуазную революцию без буржуазии?.. Или, быть может, Мартов, как старый марксист, открыл более высокую степень развития производительных сил наших в эту вторую революцию!»... Против такой учености, конечно, уж ничего не поделаешь!

Церетели разделял ее в полной мере. Дан колебался. Настроение пленума Ц. И. К. угрожало и давило. И в конце концов бумаженка 8-го июля перетянула. Звездная палата, в руках которой была сила, не уступала. Пришлось уступить Керенскому; за которым числились только хотения бонапартенка. Поздно ночью Керенский дал обещание составлять кабинет только на платформе, подписанной им 8-го числа. А на другой день, 20-го, он написал кадетам известное нам письмо, и «комбинация» с ними была объявлена несостоявшейся.

Но ведь знаменитые «разум и совесть» говорили министру-президенту, что эта внеклассовая партия необходима в его кабинете. Ведь таково было убеждение этого спасителя революции... Так как же быть? Как же привлечь к себе Милюкова на «платформе 8-го июля», приемлемой для его партии в мае и в июне и одиозной теперь? Как же убедить Милюкова и его друзей, что ведь бумаженка-то на деле ровно ничего не стоит, и кадеты канители зря? Какие дать им доказательства, гарантии, залоги, — что «полноту власти над демократией» они вместе будут реализовать и на платформе 8-го июля?

О, не такой был человек Керенский, чтобы этого не придумать! К вечеру 20-го план был готов.

3. СИНЯЯ ПТИЦА В РУКАХ

Пленум занимают, чтобы не скучал. — Официальный доклад о советской внешней политике. — Что привезет из Зимнего звездная палата. — Выдача Чернова. — Чернов в роли взятки. — Дающие и берущие. — Еще одно «историческое заседание». — Ночь на 22-е июля. — Повторение капитуляции 20-го апреля. — В ожидании *coup d'état*. — Сопровождение советской оппозиции. — Канцелярия в Зимнем. — Некрасов и Милуков поддерживают Церетели. — Керенский восстановлен в роли спасителя. — Смольный «присоединяется». — Новый главковерх также «перед Богом и совестью». — Синяя птица поймана: третья коалиция составлена. — Ее представляют совету в Ц. И. К. — Дело идет не столь гладко. — Диктатура буржуазии подтверждена и закреплена. — Другая сторона медали. — Массы оправляются.

К вечеру 20-го стал снова собираться пленум Ц. И. К. В порядке дня снова был доклад о создании новой революционной власти. Но в Зимнем дворце советским начальством, по заданию премьера, решалась слишком трудная задача. А потому собранию было объявлено, что товарищи министры-социалисты не придут раньше 11 часов. В Зимнем дворце была занята и вся звездная палата. А без нее какое же заседание!

Такие отсрочки заседаний волею начальства были делом довольно обычным. Они вызывали досаду и возмущение, но не удивление. Однако, с иногородними элементами, можно сказать, с гостями так

поступать было все же неловко. Гостей надо было обязательно чем-нибудь занять. И вот, от имени президиума, оставленный для присмотра Либер предложил выслушать доклад известного В. Н. Розанова, только что вернувшегося из Стокгольма. Этот бывший интернационалист, один из старейших русских социалдемократов, начинал в то время катастрофически праветь, отойдя от «Новой Жизни» и начав вполне «понимать линию Совета». В Стокгольме он отправился вместе с нашей заграничной делегацией и остался там для переговоров с международными органами (голландско-скандинавским комитетом и бернской комиссией) о созыве стокгольмской конференции.

Розанов сделал очень длинный и монотонный доклад — более или менее умозрительного характера — насчет политической кон'юнктуры в Европе и шансов германской революции. Разумеется, шансы были невелики, а потому надо поднимать престиж русской революции, остерегаясь повторения июльских дней и укрепляя боевую мощь армии... Затем докладчик рассказывал о том, как он легко вошел в полнейший контакт с германским социалдемократическим меньшинством (интернационалистами). Что же касается шейдемановцев, то с ними было очень много возни: их (как и французское большинство) пришлось тащить за волосы...

Но дело то было в том, что ни шейдемановцев, ни французских социал-патриотов тащить на конференцию совсем не следовало. Конференция с ними, то-есть с классовыми врагами пролетариата, была бы только срывом задачи, а не фактором мира. Циммервальдская бернская комиссия поступила совершенно правильно, отказавшись от уча-

ствия в такой конференции. За это Розанов отчитал ее, как подобало.

Совершенно неожиданно, безо всякого обсуждения, от «фракции меньшевиков» вносится резолюция по поводу этого информационного доклада Розанова. Я приведу содержание этой резолюции для тех, кому угодно иметь официальный документ, характеризующий отношение звездной палаты к борьбе за мир в данный момент. Ц. И. К. «констатирует, что единственным серьезным средством ликвидировать войну в кратчайший срок и при наиболее выгодных для демократии условиях является расширение и усиление согласованной борьбы за мир «без аннексий» и т. д., которую ведет авангард пролетариата и трудовой демократии во всех воюющих и нейтральных странах». В виду этого Ц. И. К. поручает своему бюро принять меры: 1) к созыву стокгольмской конференции, 2) обратиться с новым воззванием к народам мира; в этом воззвании надлежит отметить то трагическое положение, в какое ставит русскую революцию продолжение войны, а также в нем «должно быть определено указано на необходимость для народов всех воюющих стран добиться от своих правительств провозглашенной Вр. Правительством формулы мира и готовности вступить в переговоры о всеобщем мире»... Понятно, что все это ныне звучало самой отвратительной насмешкой меньшевистско-эсеровских лидеров — и над русской революцией, и над западными товарищами, и над самими собой. Мы можем, не останавливаясь на этом, пойти дальше.

С докладом Розанова и с нашей героической борьбой за мир было покончено часам к 11. Но о начальстве не было ни слуху, ни духу. Ждали —

вот-вот приедут: сейчас в Зимнем дворце самый критический момент переговоров... Депутаты, уже не столь многочисленные, как в начале пленума, уныло бродили по зале и кулуарам. Всем было смертельно скучно. Но явно просачивалось и в депутатские массы сознание бесплодности всей этой толчеи, а также и — неприглядности своего собственного «полномочного» положения.

Мужички, разогретые во фракциях оппозиционными речами благонадежных людей, даже пытались фрондировать перед лицом советской левой. Иные из наших интернационалистов, на досуге, увлеклись даже персональной агитацией, говоря, что тут можно добиться многого, недоступного левому оратору с трибуны... Проходя мимо одной такой интимной группки, я услышал слова какого-то мужичка:

— Конечно, и ваши, бывает, правильно говорят. Вот Мартов — насчет разума неотразим, а Спиридонова — та берет сердцем...

От скуки читали ходившие по рукам клочки бумаги. Это были списки будущего министерства: уже не в первый раз тут, в качестве главы, фигурировал Ленин, а с ним Зиновьев, Радек, Ганецкий, г-жа Суменсон, анархист Влейхман и я, Суханов. Все это должно было служить сатирой на оппозицию. Кажется, это генерал Либер шутить изволил.

Уже около часа стали созывать в заседание. Но тревога оказалась ложной... В коридоре, у белого зала, мы затеяли длинный спор-causerie с Троцким, а потом держали пари: Троцкий утверждал, что звездная палата привезет нам кадетов-министров, а я — по молодости, неопытности и благодушию —

держал за то, что комбинация с буржуазией лопнет...

Наконец, уже около двух часов ночи раздались взволнованные возгласы: едут, едут!.. Все направились в залу. На горизонте, действительно, появились Чхеидзе, Дан, Церетели, Гоц... Но среди них обращал на себя внимание какой-то странный, удрученно-торжественный Чернов. О нем что-то уже говорят в зале... Настроение депутатов и на переполненных хорах мгновенно повышается. Оно достигает очень больших градусов, когда Чхеидзе, безо всяких предисловий, предоставляет слово селянскому министру... Мужички, еще не зная, в чем дело, стоят твердо на своих позициях: Чернова опять встречают бурной и долгой овацией, демонстрируя ему свое доверие.

С первых же слов Чернов об'являет, что он подал просьбу об отставке, которая уже принята Вр. Правительством... Сенсация была настолько велика, что зал молчал, как мертвый, в ожидании об'яснений. Но едва ли в зале была хоть одна душа, которая не чувствовала бы, что дело не чисто, что за всем этим кроется какая-то грязь. Все ждали.

Дело, оказывается, в том, что против Чернова уже давно ведется неистовая и безобразная травля. Предлоги для нее избираются самые разнообразные. Но за последние дни «слухи приняли более определенный характер»; при этом передают о наличии в руках определенных лиц неких «изобличающих» Чернова документов. Чернов уже обращался к этим определенным лицам с соответствующими запросами. Но получил от них ответ, что эти лица сами документов не видели, но слышали об их существовании от третьих лиц.

— В виду того, — говорил Чернов, — что речь шла об определенных лицах, я решил публично потребовать к ответу клеветников... Я прошу вас не удивляться тому, что прежде чем призвать к ответственности клеветников, я счел нужным сложить с себя свое официальное звание... Я еще потому считал необходимым сделать это, что не хотел вредить Вр. Правительству, тем более, что до меня дошли слухи, что меня не хотят разоблачить лишь потому, что опасаются поколебать престиж Вр. Правительства...

Но что же, наконец, за обвинения тяготеют над злополучной главой Чернова? О, обвинения чрезвычайно тяжелые! Обвиняли Чернова в том, что он пораженец. Помилуйте, департамент полиции это твердо установил и изготовил на этот счет неопровержимые «документы». В них был перечислен целый ряд пораженческих брошюр, написанных Черновым за границей. А ныне даже всем известно, что брошюры эти Чернов недавно переиздал в Петербурге. Кроме того «получили огласку документы, из коих видно», что издававшийся Черновым заграничный журнал «На чужбине» распространялся среди русских военнопленных в Германии и Австрии, при содействии немецких властей.

— Я обратился, — говорил в заключение Чернов, — к Вр. Правительству с требованием обследовать все обстоятельства этого дела и вынести решение. Я считаю это тем более необходимым, что тенденциозный поход против меня начался не со вчерашнего дня — теми кругами, которым я стал поперек дороги при образовании нового Вр. Правительства в этот исключительно тяжелый момент. И я прошу вас одобрить это мое решение,

Чернов кончил. Но что же было делать депутатам? Нелепость и гнусность всего происходящего была для всех очевидна. Объяснения Чернова были явно нечленораздельны; его решение — дезертировать с боевого поста революции, чтобы «обладать свободой действий частного лица при преследовании своих клеветников» — одобрить было невозможно. Что Чернов был просто жертвой политиканства Керенского, звездной палаты и своего партийного Ц. К., — в этом сомнений, пожалуй, не было ни у кого в собрании. Что было делать депутатам?

Уже во время речи взволнованного Чернова со скамей оппозиции щедро сыпались возгласы возмущения и презрения. Большинство же могло сделать только одно: когда Чернов кончил, депутаты встали всей массой и устроили Чернову большое чествование, какое не часто видел «белый зал»... Мамелюки, по совести, не могли сделать большего. Пбо положение было странно и необычно. Ведь Чернов был не только жертвой кадетов, биржевиков, помещиков и премьер-министра, — он был жертвой собственных партийных лидеров, советских эсеров и меньшевиков. Увы! он был своей собственной жертвой; он сам пришел защищать их дело и свою отставку.

Морально Чернов мог чувствовать себя удовлетворенным, наивно рядясь в тогу благородства и встречая сочувствие мужичков. Но политически он был банкротом, бежав с поля сражения, от правого дела — в угоду зарвавшимся политикам из Таврического дворца и контр-революционерам — из Зимнего. Ведь если бы даже обвинения были членораздельны и серьезные, если бы обвини-

тели были налицо, если бы привлечение их к суду действительно было необходимо и реально, — то все же не могло быть оснований уходить для этого в отставку. Но Чернов капитулировал и пришел сам защищать это скверное дело.

Мы ждали, что будет дальше. А дальше вышел на трибуну мужественный и благородный Церетели. Министр внутренних дел оглашает прежде всего заявление правительства в ответ на просьбу Чернова об отставке. Эти рыцари неприглядного образа, Керенский, Ефремов, Терещенко, Церетели, Скобелев и прочие, разумеется, выдали Чернова грязной улице головой. Зная о «пораженчестве» Чернова уже три года, не веря ни на йоту никаким «позобличениям», эти господа, вместо окрика клеветникам, вместо солидарной защиты «чести» и «престижа» — выразили Чернову «полную уверенность», что он защитится своими средствами, и признали вместе с тем «законность его желания иметь полную свободу действий»; в виду этого рыцари «не нашли возможным отказать Чернову в освобождении от обязанностей члена Вр. Правительства»... Другими словами — авторы «махиации» не сочли нужным в официальном документе, как следует, прикрыть от «публики» и народных масс свое собственное лицемерие и всю грязную подоплеку этой грязной истории: официальный документ, оглашенный Церетели, распиывается в том, что Чернова надо было просто выдать кадетам в виде взятки.

Но зато в своей речи перед пленумом Ц. И. К. Церетели тщательно занялся замазыванием всей этой лжи, хотя, конечно, и не достиг цели.

— Безответственные элементы буржуазии и по-

мещики, — говорил министр внутренних дел и советский лидер, — не дерзают выступить против правительства и потому выбирают для нападения отдельных лиц. Вначале Чернов, а затем последует удар на Керенского и вообще на всех тех, кто любит и спасает Россию (казалось бы все это отлично свидетельствует против оратора!)... Мы понимаем, что они хотят сделать из дела т. Чернова исходный пункт для дальнейших ударов; и для того, чтобы это пресечь, есть один способ — побольше света (?!)... В настоящее время революционная власть должна быть укрепляема и политически, и морально. Нет такой жертвы, которая не должна бы быть принесена всеми гражданами во имя укрепления революционной власти и спасения России. И в лице Чернова враги революции увидели грозный облик борца, который укрепляет революционную Россию и революционную власть (?!)... Клеветнические слухи против него проникли в печать и получили широкое распространение. Но люди, распространяющие эти слухи, заявляют, что они не могут говорить полным голосом, так как щадят Вр. Правительство. Чернов своим решением заставит их дать ответ, заставит ударить его, не щадя. Вот что сделал т. Чернов...

Все это так странно и невразумительно, что я укажу даже источник, откуда я цитирую эту речь: кадетский центр. орган, № 169, пятница 21-го июля 1917. Но я и сам эту речь слышал и в других, менее заинтересованных органах она воспроизведена почти также. Сказать благородному вождю Совета было явно нечего.

А затем, без прений, была принята резолюция: «заслушав об'яснения т. т. Чернова и Церетели о

выходе т. Чернова из состава Вр. Правительства, Ц. И. К. . . . выражает ему свое полное доверие и желает скорейшего возвращения его на пост, где он отстаивал и будет отстаивать интересы трудового крестьянства и всей демократии во имя спасения и укрепления революционной России».

Собрание подняло руки, а затем — уже под утро — разошлось по домам, с головами, полными сумбура, и с сердцами, преисполненными печали и конфуза.

Итак, Чернов был выдан кадетам в виде взятки. Это случилось после того, как звездная палата изнасиловала министра-президента, заставив его настаивать на бумаженке 8 июля и отвергнуть «приемлемые» кадетские условия. Сделка тогда была объявлена несостоявшейся. И в выдаче Чернова Керенский видел путь к возобновлению переговоров с Милюковым и с московской биржей . . . Никаких подробностей этой скверной истории я не знаю. Кто убедил Керенского, что кадеты променяют программу 8-го июля на устранение Чернова? Какими способами он заставил звездную палату променять Чернова на декларацию 8 июля? Как именно происходил торг? Ничего этого я не знаю.

Но я уже писал, что позорная сделка была напрасной: кадеты не удовлетворились, Керенский оказался не в состоянии создать на рациональных основах революционную власть. И вот тут-то, на другой день, 21-го числа, он вышел в отставку, отбыв немедленно в Финляндию.

Как могли кадеты не удовлетвориться этой взяткой, я также не знаю и недоумеваю. Ведь должны же были они, вцепившись во власть, понимать то,

чего не дано было понять звездной палате: что реальная выдача ненавистного Чернова означает фактический отказ и от эфемерного 8-го июля и от чего угодно, гораздо более серьезного. Звездная палата, конечно, не умела понять, что отдавая журавля из рук, неумно хвататься за синицу в небе. Но, вероятно, дело было так, что кадеты, отлично поняв это, решили, что теперь, если быть твердыми, можно получить и журавля, и синицу, и все, что угодно.

В самом деле, любопытно вспомнить, чего стоила революции, за двухнедельный период премьерства Керенского, эта погоня за властью кадетов.

После июльских дней все завопило «о порядке»; и «советские» министры учинили такой разгул репрессий, что о недавней свободе остались одни воспоминания. В результате июльской авантюры создалось трудное положение на фронте; и советские патриоты дали удовлетворение в виде санкции массовых расстрелов и смертной казни в действующей армии. Союзное «общественное мнение» было недовольно неизбежным поражением русских войск; и революционная власть в холопских выражениях дала невыполнимое обещание загладить вину и воевать без конца вместо разговоров о мире. Кадеты, недовольные санкционированной «автономией» Украины, стали ворчать о великодержавности в атмосфере после-июльских дней; и социалистическое правительство разогнало сейм законно-независимой Финляндии. Помещичьи круги, в целях срыва аграрной реформы, в виде реванша за декрет о сделках, стали травить Чернова; и Чернов был им выдан головой. Чего же еще надо для выяснения ситуации?

Керенский вышел в отставку и уехал в Финляндию. Он знал, что делал. Этим своим актом, при данной кон'юнктуре, он имел все шансы устранить последнюю тень своей зависимости от советских сфер. Неужели теперь, когда созданся роковой «всеобщий кризис», гибельный для революции, Церетели, снявший голову, не уступит плутократии этого последнего волоска? Ведь это же только клочок бумаги, это его собственная программа, не больше!..

* * *

Бесплодность взятки и ее злокачественность выяснились перед очами Керенского днем 21-го... Кадеты взяткой не удовлетворились, а весь Ц. И. К. был глубоко шокирован. Кажется, ц. к. эсеров, тогда же днем, счел себя вынужденным заявить Керенскому, чтобы «дело Чернова» выяснялось в самом экстренном порядке, дабы немедленно открыть Чернову путь к возврату в министерство...

Министру-президенту, можно сказать, ничего не оставалось делать, как только «взорвать власть» и вынудить, наконец, своих неговорчивых контрагентов действительно предоставить ему полную свободу рук. Свое письмо об отставке Керенский вручил заместителю своему Некрасову, часов около 6 вечера.

«Тревожные слухи о всеобщем кризисе» немедленно дошли до Таврического дворца. Депутатская масса, бродившая по кулуарам в ожидании нового заседания, казалась довольно равнодушной. Но зато верхи очень суетились и делали вид, что они встревожены «обострением кризиса» и «катастрофи-

ческим положением страны». Керенского нет, и никакого правительства нет. Как же теперь быть и что делать?

После долгих шушуканий и торжественных приготовлений, часу в девятом, было открыто закрытое заседание. Но оно было не продолжительно. Министр внутренних дел и комиссар Зимнего дворца при Таврическом — сделал сообщение о новом печальном положении дел. И он прибавил, что министры наметили такой выход: отставки Керенского не принимать, а созвать сегодня же вечером в Зимнем дворце, в целях очной ставки течений и выяснения конъюнктуры, совещание из представителей крупнейших партий. Этими крупнейшими партиями являются: кадеты, радикально-демократическая партия, меньшевики, эсеры, энесы. Кроме того, на совещании должны присутствовать председатель Гос. Думы, председатель рабоче-солдатского Ц. И. К. Чхеидзе и председатель крестьянского Ц. И. К. Авксентьев.

После Церетели на трибуну вышел Дан — с предложением не устраивать по этому поводу прений, прервать заседание и не покидать Таврического дворца до возвращения с этого совещания представителей демократии. При этом Дан успокоил, что совещание в Зимнем дворце не примет никаких окончательных решений, обязательных для Совета. Ознакомившись с результатами, Ц. И. К. потом окончательно решит дело.

Это говорила устами Дана левая звездной палаты! Картина была нестерпимая... Может быть, читатель помнит кризис апрельских дней и историю 20-го апреля. Тогда также предлагали отложить решение до совещания с Милюковым и Родзянкой в

«историческом заседании» ночью на 21-е. Этим рассказали тогда остроту положения и сорвали, распылили накопленную активность масс. Но тогда дело было внове. Тогда была еще возможна плодотворная борьба с неокрепшим большинством мамелюков и с их слепыми предводителями. И я шаг за шагом описывал (в третьей книге) весь ход борьбы оппозиции и капитуляции большинства.

Теперь — дело было уже привычное, капитуляция неизбежной, борьба безнадежной... Я живо помню чувства возмущения и презрения, охватившие нашу группу, случайно расположившуюся в первом ряду. Но никакой активности не было, хотелось просто махнуть рукой... Все же с резкими протестами вышли Троцкий и Мартов.

Да, это был тот самый всемогущий Совет, который некогда мог в пять минут «рассчитать» революционное правительство, за которым и сейчас стояла вся наличная реальная сила государства. Он еще продолжал принимать резолюции о власти и об ее программе. Но он не только на деле, а даже и на словах отстранился от высокой политики. Ведь этого требовала от частного учреждения господа плутократия, которая — согласно всем умным теориям — должна была вершить судьбы буржуазной революции. И всемогущий Совет не мог не подчиниться. Все его участие в создании новой революционной власти должно было теперь выразиться в посылке своего представителя — по выбору господина Некрасова — на совещание в Зимний дворец. Такое же участие в этом деле должна была принять и столыпинская Гос. Дума, которую даже мамелюки считали источником контр-революции...

И что же это совещание должно было создать

власть и определить судьбу революции? Это должно было сделать — совещание партий. Каких партий? «Крупнейших»... К таковым относились радикалдемократы и энесы, которые вместе взятые могли поместиться в одном трамвае. Представительство же рабочего класса было, с одобрения звездной палаты, устранено совсем. Пролетариат целиком, а петербургский в особенности, шел с большевиками и интернационалистами. Июльские дни, смешав его ряды и приведя их в расстройство, не изменили этого положения дел: меньшевики и эсеры, кроме старых партийных людей, включали в свой состав одно мещанство... Но партий советской оппозиции на совещание не приглашали так же, как не приглашали туда Ц. И. К. Докладчики звездной палаты, Церетели и Дан, сделали вид, что все это само собой разумеется и что все это в порядке... Правда, Дан, чуявший правду, невинно промямлил о том, что совещание будет совещанием, а решение не примем мы. Но никто из разумных людей не мог поверить этому.

Итак, делегаты советских партий отбыли в Зимний дворец. Там делались торжественные приготовления. Буржуазно-бульварные репортеры бесновались по случаю «большого дня». И, разумеется, как по уговору, мгновенно провозгласили его «историческим»...

Но в Таврическом дворце настроение было довольно мрачное. Мало того: некоторые члены Ц. И. К., старые партийные люди, даже из правых, собираясь в группы, заговорили о своем беспокойстве. Обстановка была такая, что напрашивалась мысль о возможном покушении на государственный переворот со стороны Гучковых и Родзянок. Никаких

прямых указаний, кажется, на это не было. Но атмосфера была так густа, что это казалось вполне вероятным. Инициативная комбинация из элементов главного штаба и думского комитета, собрав сводный отряд тысячи в две-три человек, быть может, не без успеха могла бы попытаться разрешить по своему создавшийся «всеобщий кризис». Ведь дело шло тут только о ликвидации центрального советского органа: правительственные учреждения по-прежнему находились в руках буржуазных сфер, которые — в худшем случае — поддерживали бы, а в лучшем — претерпели бы переворот, вплоть до самых радикальных, то-есть плехановско-энесовских. А обезглавленный гарнизон, распыленный и подавленный июльской катастрофой, можно было надеяться одолеть небольшими сплоченными силами...

Об этом говорили в частных совещаниях в «белом зале», в кулуарах, а главным образом в комнатах Ц. И. К., где собрались советские старожилы. В результате этих частных совещаний были приняты меры обороны. Были вызваны некоторые надежные части, с пулеметами и броневиками для охраны Таврического дворца. Распоряжался опять главным образом Б. О. Богданов. И через час или два, около полуночи, снова превратился Таврический дворец в вооруженный лагерь. У всех дверей стояли караулы; там и сям виднелись пулеметы; вдоль Екатерининского зала тянулся бивуак; какая-то рота, в полной боевой готовности, расположилась в «полуциркульном» зале, в который смотрела из «белого» огромная пробитая в стене (по случаю ремонта) брешь. Перед дворцом, в сквере, и позади его, в саду стояли броневые машины, гру-

зовики с пулеметами и несколько маленьких пушек. Вокруг расположились лагерем какие-то части. По ближайшим улицам шныряла конная разведка.

Конечно, начальства из Зимнего дворца скоро не ждали. Депутаты в большом количестве разошлись пока по домам. Я также сбегал на минутку к Манухину, чтобы перекусить в ожидании нового всенощного бдения.

Когда, около часа, я вернулся, меня позвали в комнату № 7 (или 8), расположенную в мало знакомых мне сферах, в правом коридоре напротив выхода из «белого зала», как и № 10, но по другую сторону его. Туда собирались фракции оппозиции, чтобы обсудить положение дел. Нашего лидера, Мартова, не нашли и вообще меньшевиков-интернационалистов было два-три человека. Но большевики всех названий были налицо, во главе с Троцким, Луначарским и, кажется, вновь появившимся Преображенским. Несколько ораторов, в том числе и лидеры, довольно вяло говорили на тему об опасности *суп д'этат* и о способах обороны. Но не чувствовалось в их речах ни действительного сознания опасности, ни воли к действию. Взвешивали шансы Родзянки, оценивали настроение советских сфер, — но в общем это совещание левых ни к каким результатам не пришло. Говоря уже в конце, я, пожалуй, резюмировал его итоги: без Совета, если его лидеры не надежны, нам не справиться со штабом, с его юнкерами и со всей контр-революцией, нацелившейся на нас; если же Совет проявит твердость и боеспособность, то покушения не опасны, переворот неизбежно сорвется, единый демократический фронт без труда раздавит

объединенную плутократию... Заседание кончилось, и мы разобрались, кто куда, по дворцу.

Но, видно, еще не пришло время. От нестерпимой атмосферы до боевых действий, видимо, было еще не так близко... Но во всяком случае ночь прошла безо всякой тревоги... Разошедшиеся рабочие и крестьянские депутаты начали подходить снова. Все слонялись, как сонные мухи, решительно не зная, что делать. В комнатах Ц. И. К. шли негромкие приватные разговоры — по вольно разбившимся группам. Иные спали на диванах, креслах и стульях — склонившись на столы и подоконники.

Из полуциркульного зала, через пробитую стену, по доскам, служившим плотникам и штукатурам — я вышел в сад. Мимо броневигов, пулеметов и подозрительно смотревших солдат я спустился к пруду. Он блестел от яркой полной луны. В роскошной рамке старых деревьев, кустов и лужаек, начавший зацветать — этот старый потемкинский пруд, среди полной тишины предрассветного часа, представлял собой чарующее зрелище. Ни души не было близ меня. Улегшись у самого берега, я наслаждался минут двадцать, чувствуя себя за тридевять земель от оглушительных событий революции, и от ее цитадели, и от самого Петербурга.

Вдруг позади меня послышался шум и тревожные солдатские голоса. Кого-то изловили в саду, непричастного к советским сферам и без документов... Мимо подозрительных солдат, по тем же доскам, положенным плотниками и штукатурами, через ту же брешь — я вернулся в залы.

* * *

Между тем в Зимнем дворце происходило следующее. Часам к 10 начали съезжаться приглашенные. Их было не мало. Представительство «крупнейших партий» было не ограничено. Кроме ораторов было по несколько любопытных. Затем были налицо неизбежные журналисты и всякая публика... В половине 11-го заместитель премьера, Некрасов, открыл «историческое заседание» в Малахитовом зале. Сотрудник меньшевистской «Рабочей Газеты» так описывал его бытовую обстановку. «Амфилада тяжелых пустых комнат знаменитого Зимнего дворца. Покровительственно-презрительное отношение лажеев. Простота и демократизм так не гармонируют с обстановкой и воспоминаниями Зимнего дворца. Министры и гости сами носят себе стулья, сами ходят за чаем. И характерное знамение времени: к чаю нет сахара»...

Некрасов огласил прошение Керенского об отставке, сообщил, что отставку министры пока не приняли, и просил «крупнейшие партии» высказаться о том, что делать... Ораторов было без конца, — Годнев, Терещенко, святейший Львов, Милюков, Церетели, Ефремов, Пешехонов, Либер, Авксентьев, Савинков, Чхеидзе, Некрасов, Чернов, Дан, Брамсон, Аджемов, Винавер; и снова Терещенко, Церетели, Милюков, Чхеидзе и Некрасов... Интересного, оригинального, содержательного было немного. Но были любопытные штришки.

Прежде всего, Талейран-Терещенко дал своему языку оригинальное употребление. Он счел конъюнктуру благоприятной для того, чтобы заставить свой язык не скрывать, а выражать мысли. Без видимого повода обнаглевший протеже Церетели заявил, что «сейчас уже никто не думает о мире, ибо

все понимают, что ныне он невозможен»... А затем обрушился на неумеренные требования рабочих, на «приказ № 1» и на советы, породившие позор родины. Все это было столь же симптоматично, сколь красноречиво.

И все «крупнейшие» партии буржуазии, как бы сговорившись, повторяли то же самое — даже, пожалуй, не на разные, а на один и тот же лад. И все, единым фронтом, кончали единым практическим выводом:

— Надо предоставить Керенскому, — говорил, напр., Милюков, — который обладает всем необходимым авторитетом и всеми качествами для этой задачи, составить кабинет из лиц, которых он сочтет нужным пригласить. Могут сказать, что Керенский уже пытался это сделать, но задача не удалась. Но теперь он будет чувствовать себя уполномоченным на это дело. Раньше он одним концом натолкнулся на к. д., а другим на «советы». А теперь он будет иметь возможность решить, на какую сторону падет его выбор.

Предлагая Керенскому полномочия, Милюков — как и его соратники из «крупнейших партий» плутократии — очевидно, не мог сомневаться в том, что Керенский предпочтет кадетов... Такие «социалисты» как Савинков и Пешехонов, остерегаясь резких форм и ударяя на патриотический пафос, по существу всецело поддерживали Милюкова. Вся эта «кон'юнктура» заставила и кадетского бывшего «турка», а ныне отщепенца Некрасова бросить свои эживоки и говорить напрямик. После отеческого вразумления советских людей насчет страшной ответственности за гибель отечества, Некрасов говорил так:

— Я должен вам, наконец, сказать всю правду, товарищи из Совета Р. и С. Дем. В том, что сейчас происходит, повинны и вы. Разве вы не держали под вечным страхом возможного недоверия министров-социалистов? Разве вы не заставляли их являться к вам два раза в неделю и давать вам отчеты о каждом своем малейшем шаге?... Разве это могло содействовать спокойствию работы Вр. Правительства? Ведь уход одного поскользнувшегося министра неизбежно создавал правительственный кризис. И вы ничего не делали для того, чтобы облегчить нашу работу. Так возьмите же лучше эту власть в свои собственные руки и несите ответственность за судьбы России. Если же у вас нет решимости это сделать, то предоставьте власть коалиционному кабинету, и тогда уже не вмешивайтесь в его работу. В сегодняшнюю ночь не должно быть половинчатых решений. Или вы доверяете всецело Керенскому и тем, кого он призовет к власти, или вы не доверяете им. Тогда составьте чисто социалистический кабинет, и мы уступим вам власть...

Во всем этом было столько напвной лжи и цинизма, сколько, пожалуй, было даже нельзя ожидать от ех-кадетского «государственного человека». Пользуясь своей левой репутацией, Некрасов взял быка за рога и поставил вопрос ребром, пред'явив ультиматум той самой звездной палате, за счет которой он жил и дышал. Понстине, тут вспоминалась крыловская свинья под дубом. Но Некрасов, конечно, знал, что делал. И его враг Милюков немедленно доказал это, «всецело присоединившись» к Некрасову в специальном внеочередном заявлении.

Все это наступление единым плутократическим фронтом заставило наших советских делегатов не-

сколько насторожиться, сбиться в кучу и оказать некоторый отпор, забыв на время о большевиках.

С большим достоинством и правильно по существу говорили Чхеидзе и Дан, левая звездной палаты. Оба они протестовали против требований дальнейшего самоограничения и показали действительное место советов, без которых не было бы никакой власти вообще, а коалиции в особенности. Дан заявил даже, что ультиматум Некрасова не испугает Совет, и он возьмет всю власть, когда сочтет это нужным. А Чернов, говоря с меньшим достоинством, грозил «народным возмущением».

Даже Либер бойко оборонялся и либерально увещевал буржуазию признать не вредной работу демократии. Но увы! и тут не нашел приличных слов и был поистине жалок Церетели. Среди трафаретной, свойственной ему и надоевшей всем реторики, он только тужился «доказать», что программа 8-го июля есть общенациональная программа, необходимая для самой буржуазии.

— Мы понимаем, что для проведения программы, которая должна сделаться общенациональной и объединить все живые силы страны, необходима твердая власть, облеченная самыми широкими полномочиями... Вр. Правительство не проводило и не проводит партийной программы, оно считает, что программа его всенародная... Я думаю, что под влиянием этой страшной опасности, которую мы все ощущаем, все партии придут к сознанию необходимости создать национальную власть, которая наиболее отвечает коренным интересам народа, и эта власть ни перед чем не остановится, чтобы восстановить государственный порядок в стране и провести в жизнь все то, что намечено трудовой

демократией... В области внешней политики мы сознаем, что не может быть иного решения вопроса, как продолжать войну до тех пор, пока народ с честью выйдет из нее и обеспечит себе те революционные завоевания, которым угрожает военное порабощение...

Я думаю, что стоило потратить десять строк на этот классический социал-предательский набор слов советского лидера. Во-первых, все это — элементы для его характеристики (от которой я в своем месте уклонился), а во-вторых — ведь в конце концов он остался победителем в своей жалкой игре... Милюков заявил, что под программой Церетели «можно подписаться обеими руками»; но все же ведь он — «циммервальдец» (о, дьявольская прония!), а Советы с их «приказом № 1» — все же корень зла.

В шестом часу утра, при свете дня, кончились речи. Общей резолюции принято не было. Но каждая из «крупнейших партий» огласила свое собственное заявление. Эсеры и меньшевики заявили слово в слово, что они «вполне доверяют А. Ф. Керенскому составление коалиционного кабинета, с привлечением в него представителей всех партий, готовых работать на почве программы, возвещенной правительством под председательством Керенского 8-го июля». Энесы заявили, что Керенскому необходимо предоставить составление кабинета, не стесняя его никакими условиями. Кадеты заявили, что Керенскому должна быть дана «власть образовать правительство, стоящее на общенациональной почве и состоящее из лиц, не ответственных ни перед какими организациями и комитетами». А радикально-демократическая партия предлагала Керенскому

определить и состав министерства, и его программу...

Но какие же выводы? Выводы, повидимому, те, что надо призвать Керенского и просить его поступать, как хочет. Правда, кадеты и советский блок «доверяют» ему на разных условиях. Но тем больше оснований поступить так, как подсказывают «радикал-демократы», — то-есть не считать обязательными ни тех, ни других условий. Кадеты и советы друг с другом явно не споятся — из-за формы. Но по существу дело ясно. Керенскому, не желавшему знать ни «ответственности», ни «программы», надо отбросить и то, и другое... По существу это будет то, чего хотят кадеты. Совет, конечно, может снова начать канитель. Но неужели он решится на это после всего происшедшего?...

Стакими результатами «исторической ночи» советские делегаты, около 6 часов утра, отбыли в Таврический дворец.

* * *

А в Таврическом дворце нетерпение тех, кто бодрствовал, уже давно достигло крайних пределов. На рассвете в Зимний дворец послали гонца — поторопить и разузнать, что там делается. Гонец вернулся с пучком стенограмм, посмотрев на Малахитовый зал и поговорив с начальством...

Приехал, приехал! Бодрствующие стали будить спящих. Все бросились навстречу и, даже не дав гонцу войти в залу, остановили его в буфете. Ему пришлось взобраться на стол и сбивчиво рассказывать вышеописанные мало интересные вещи о ходе

«исторического» заседания. Депутаты были разочарованы; они ждали чего-то большего, настоящего. Стали читать стенограммы. Но понемногу, один за другим, махнув рукой, депутаты стали расходиться из буфета.

Уже было светло. Комнаты Ц. И. К. попрежнему являли картину сна, томления, беспорядка и досужих вялых разговоров... Но наступил таки конец и «исторической ночи». К шести часам явилось начальство. Встряхнувшись, все отправились в «белый зал». Заседание предполагалось открытое, но хоры были совершенно пусты в этот неурочный час. Да и депутаты далеко не заполняли скамей.

С официальным сообщением выступил опять-таки Дан. Он вкратце рассказал о том, что более или менее было уже известно. И кончил тем, что кадеты явно не хотят работать на платформе 8-го июля. Но выводов никаких Дан не сделал, он дал только информацию. Однако, с выяснением сути дела выступили Мартов и Троцкий.

— Заседание в Зимнем дворце, — говорит Мартов, — вопреки обещанию Дана, носило далеко не информационный характер. Скорее дело обстояло так: нас призвали для того, чтобы осведомить о том, что происходило без нас и без нашего ведома. Формула, принятая меньшевиками и эсерами, есть отказ от ответственности министров-социалистов перед Ц. И. К... Совет создал самодержавную олигархию, передав Керенскому все права. Керенского необходимо вызвать сюда для объяснений.

— Удивительную растерянность проявили советские вожди во время кризиса власти, — продолжал Троцкий. — Кризис тянется три недели, а вожди

качаются, как челн без руля. Они компрометируют перед народом органы демократии. Достойный удивления факт: могущественная партия эсеров, опирающаяся на огромное большинство, боится взять власть в свои руки и отдает себя в рабство монархистам-кадетам, готовым ликвидировать революцию. Вручение неограниченных прав Керенскому — это классическое начало бонапартизма...

Протестует против позиции советского блока и «сенатор» Соколов — в своей черной шапочке, ныне сменившей «чалму» на его разбитой голове. Но в защиту ликвидации Совета выступает Либер... Однако, при этом обнаруживается, что половина высокого собрания, изнуренная «кризисом власти», крепко спит, склонившись на пюпитры. Возникает вопрос, не закрыть ли собрание? Бодрствующие снова будят спящих, чтобы те подняли руки. Но большинство голосует за продолжение заседания: собраться еще раз и говорить все о том же — представляется большинству нестерпимым. Лучше кончить сейчас.

И снова говорят фракционные ораторы. Умный Саакян, защищая кадетов, указывает, что эта партия очень богата культурными силами. Несколько оживил собрание очередной скандал с Рязановым, которого жестоко и грубо преследовал Чхеидзе. Левая шумит и учиняет род обструкции, — полная уныния, презрения и злобы.

В заключение принимается формула меньшевиков и эсеров, оглашенная в Зимнем дворце. Но все же характерно: за нее подано 146 голосов против 47 при 42 воздержавшихся. Отрицательные и колебательные настроения, как видим, вышли далеко за пределы официальной оппозиции... Часов около

10 заседание было закрыто. На улицах уже давно продавали газеты с описаниями «исторической ночи».

* * *

Ну, и что же теперь?... Ц. И. К. снова упомянул о «непринемлемой» программе 8-го июля. Официальный докладчик Дан ворчал с трибуны по адресу кадетов и громко рычал на них в «Известиях». Но всем было очевидно, что отсюда ничего не следует и не последует. Прежде всего это было очевидно для Керенского, который был с кадетами душой и телом.

С утра 22-го «полномочный глава страны и правительства» (как он отныне называл себя) был уже в Петербурге. И в тот же день он выпустил прокламацию, где возвещается, что Керенский приемлет на себя тяжкий долг, возложенный на него совещанием партий. Он предполагает при этом «исходить из тех начал, которые были преемственно выработаны и изложены в декларациях». А затем еще прибавляет нечто — непредусмотренное ни «историческим», ни каким-либо другим совещанием. «Вместе с тем, — объявляет он, — я, как глава правительства, нахожу неизбежным ввести изменение в порядок и распределение работ правительства, не считая себя в праве останавливаться перед тем, что изменения эти увеличат мою ответственность в делах верховного управления»... Это не совсем понятно по существу, но не вызывает никаких сомнений по тенденциям зазнавшегося бонапартика. Впрочем, это несколько не страшно, а только немножко смешно.

Керенский безотлагательно возобновил свое лю-

безное занятие — перекройку «полномочного» кабинета и жонглирование портфелями. Передавали, что дело движется чрезвычайно успешно... Еще передавали, что «реабилитация» Чернова движется еще успешнее и уже приближается к концу. Будто бы даже для него открывается возможность снова вступить в министерство... Но этому здравый смысл не позволял верить. Выдать такого рода всенародную расписку в своем самодурстве, в недостойной, почти уголовной игре чужой честью, в мелких обывательских плутнях — это можно было только в оперетке, но не в революции... Но подождем — увидим.

А пока небезынтересно отметить, что в тот же день новый верховный главнокомандующий, ген. Корнилов, выступил с своей собственной декларацией. Тон его телеграммы на имя Керенского мало соответствовал обычному тону доклада, адресуемого «с о л д а т о м» верховной власти. Командование Корнилов принял, но он *post factum* пред'являет ультиматум. Он требует полного невмешательства в его оперативные распоряжения и в назначение командного состава. Затем — распространения на тыл смертной казни и проч. по отношению к воинским чинам. Главное же и этот «диктатор» об'являет свою «ответственность только перед собственной совестью и всем народом»!.. Ну что ж! Хорошие примеры заразительны. Буржуазные газеты приветствовали этот твердый язык. «Верховная власть» приняла декларацию к сведению. Поживем — увидим, что из этого вышло.

А пока, в самый разгар чехарды портфелей, в ночь на 23-ье июля, на своих квартирах были арестованы Троцкий и Луначарский. Их обвиняли в июль-

ском восстании... Может быть, этот акт справедливости помог, с своей стороны, образованию кабинета. Но во всяком случае дело шло настолько гладко, что на следующий день, 23-го, кабинет был уже вполне готов.

Выглядел он таким образом. Керенский оставил себе портфели военного и морского министров; а заместителями своими по морским и военным делам назначил известных нам Савинкова и Лебедева (оба эсера, но фигуры, нарочито однозвучные для демократии). Некрасов, заместитель по председательству в совете министров, получил портфель финансов. Терещенко, Скобелев и Пешехонов остались на своих местах. Ефремов получил госуд. признание, Прокопович — промышленность и торговлю, а Авксентьев — внутренние дела. Министром юстиции ныне оказался Зарудный, также личный друг Керенского, беспартийный радикал. Для почт и телеграфов вызвали из Москвы адвоката Никитина, считавшегося социалдемократом, но на деле бывшего к социалдемократии не ближе, чем Прокопович. Затем шли четыре вождеденных кадета: Кокошкин — гос. контролер, Карташев — обер-прокурор Синода, Юренев — мин. сообщений и Ольденбург — просвещения. И все это увенчивалось... циммервальдцем и пораженцем Черновым. — Такова была третья коалиция. Ни малейшей программы или декларации от нее не последовало.

Но, собственно, можно ли было назвать это коалицией? Какими путями, какой игрой стихий в голове Керенского попал сюда Чернов, — мне неизвестно. Очевидно, это должно было служить доказательством неограниченных возможностей премьера. И

Чернов не посовестился снова поспешить на зов, чтобы стать в прежнее нестерпимое положение... Но во всяком случае Чернов и Скобелев были единственными советскими людьми и социалистами в этом кабинете. И постольку этот кабинет, пожалуй, не был коалицией, а просто имел двух заложников-социалистов в стане буржуазии. Ибо остальные «социалисты» — Керенский, Авксентьев, Прокопович, Никитин, Савинков, Лебедев, Пешехонов — были такими элементами, на которых (в лице Брианов и Мильеранов) искони держалась буржуазная диктатура в прекрасной Франции. Остальные были уже официальные и откровенные орудия биржи — отечественной и союзной.

При первом взгляде на состав нового кабинета обращает на себя внимание таинственное исчезновение из него советского лидера, Церетели. Об этом было пересудов без конца. Но факт тот, что Церетели, несомненно, был не особенно пригоден для пассивной роли заложника. Влачимый своей идейкой, он был безропотно покорен «живым силам страны». Но его идейка все же не мешала ему оставаться некой личностью, да еще опасной тем, что за ним стоял Совет, армейские организации и все то, чему совсем не следовало бы существовать на свете. Поэтому полномочный Керенский постарался вытеснить, выдавить советского лидера из своего кабинета. Об этом Церетели прямо говорил в частных беседах. Но молчал об этом публично — в интересах престижа коалиции живых сил...

Так стряпала кучка политиканов полномочную и безответственную революционную власть в эпоху упадка...

* * *

При создании первой коалиции требовалась еще одна маленькая формальность: благословение Совета, — которое было дано 6 мая. Теперь не требовалось и этой формальности. Частная организация была ныне совершенно не при чем в делах высокой политики...

Но ведь советское начальство в лице того же Церетели делало вид, что все в порядке; с другой стороны — ведь новую «коалицию» нужно было «поддерживать», то-есть тащить ее попрежнему на советских плечах. Стало быть, новый кабинет, не желавший знать Совета, надо было ему представить, прося его любить и жаловать новых спасителей отечества.

В понедельник 24-го, для этой цели, было созвано в Александринском театре заседание петербургского совета. Чтобы позолотить пилюлю расштанной, растерянной и присмирившей оппозиции, звездной палатой был командирован словоохотливый Скобелев. Пугая, с одной стороны, делами на фронте, он с другой стороны — уверял, что «советы явятся оплотом нового правительства», что министры-социалисты «будут черпать свои силы только в руководстве демократии», и что ее «вотумы недоверия будут сигналами для ухода министров с постов»...

Скобелева прерывали криками: «почему в министерстве нет Церетели?» Но Чхеидзе очень сердился и резко пресекал эти беспорядки.

Церетели счел за благо выступить с объяснениями сам. Я приглашаю снова немного послушать его. Приглашаю оценить, как далеко ушел этот человек по пути предательства революции (бессознательно, — о, конечно, бессознательно! — только в силу своих социалистических убеждений). Пригла-

шаю понять то, что непонятно мне: почему же этот человек, уже превратившийся из Шейдемана в Мильерана и как будто бы вполне способный заменить Керенского на его посту, все еще считался главой Совета и не был признан плутократией необходимым элементом нового буржуазного правительства.

— Сознание опасности, грозящей с фронта и принявшей в последние дни особенно острую форму, определили действия демократии, — так говорил Церетели. — Единая власть, спасающая страну, власть над созданием которой билась демократия, наконец, создана... Керенский предложил мне вступить в состав нового кабинета. Но в результате переговоров стал на мою точку зрения и согласился, что теперь, когда необходимо объединение всех сил демократии, мне лучше всего посвятить себя деятельности в рядах Совета... Прежняя организация власти должна быть перестроена. Внешняя опасность готовит гибель самому существованию страны. Для восстановления армии нужно дать армейским организациям возможность возродить в армии дисциплину... Что может сейчас вызвать воодушевление и энтузиазм в стране и в армии? Только та власть, которая направит все силы страны на ее защиту. Великая Россия, свободная Россия не погибнет. Мы глубоко верим в это... Не в программе сущность власти, а в соотношении сил, дабы власть имела на что опираться. И для власти этой силой может быть только революционная демократия. Настоящее правительство есть правительство соглашения всех живых сил страны. Это правительство взаимных уступок. Однако, уступкам мы положили предел. Это программа 8-го июля. Правительство

должно обладать диктаторскими полномочиями для спасения страны. Но власть не должна переходить за указанную нами черту... Рабочие — это огромная часть населения. Но это не вся страна, а мы должны идти под знаменем общенациональной платформы. Полномочия революционных организаций должны быть ограничены...

Репортер кадетской «Речи», записавший все эти слова, не мог удержаться от лирической ремарки: «речь Церетели, ни разу не упоминавшего слова социализм и говорившего о великой России и ее мощи, произвела сильное впечатление на собрание»... Да, все это были слова из другого лагеря, из вражьего стана.

Надо, однако, отметить вот что. Еще в начале пленума Ц. И. К., как мы знаем, обнаружились и дали знать себя левые, оппозиционные настроения внутри правящих советских фракций. Пропустив перед своими глазами всю панораму «создания власти», старые партийные меньшевистско-эсеровские элементы укрепились в своей оппозиционности по отношению к курсу неистово-слепого Церетели. А у иных вся совокупность событий последних недель породила убеждение в том, что ныне все группы буржуазии отброшены в стан контр-революции, что никакая «честная коалиция» с ними уже невозможна, что надо ныне держать курс на создание чисто демократического правительства из советских партий.

Это течение было, правда, не смело и не сильно. Оно едва-едва решалось формулировать свои выводы и не выступало с ними публично. Но оно давало себя знать внутри советских лабораторий,

внутри фракций эсеров и меньшевиков... Самым ярким и настойчивым выразителем этого течения, из старых советских деятелей, был меньшевик-оборонец Богданов.

Не знаю, почему это случилось, но на заседании Совета 24 июля Богданов выступил от имени бюро Ц. И. К. И выступил он с такой примерно речью.

— Для торжества революции необходимы социальные реформы. Новое правительство, наряду с самой активной борьбой на фронте, не смеет забывать принципов демократии... Это не то правительство, которого многие ожидали здесь, — это правительство коалиционное, означающее лишь один из этапов революции. Но как бы оно ни называлось, оно может существовать лишь при живой поддержке демократии. Формальная власть находится у Вр. Правительства. Мы же сохраняем ту власть, которой мы фактически обладали и будем обладать...

На радостях мамелюков, при растерянности разбитых левых — на эти «тона» не обратили тогда должного внимания. Кадетам, дорвавшимся до вожаденной власти, в эти дни было не до каких-нибудь речей в каком-то Совете. Но речь довольно характерна — по своей несвоевременности и неуместности, дерзости и бестактности. Ведь если бы все случилось по слову Богданова, то это был бы возврат чуть ли не к апрельской эпохе «двоевластия». Что тут общего с заявлениями Церетели, забивающего в мертвые советы осиновый кол?... Тут было отчего забить тревогу, завывать всем хором — от Пуришкевича до Пешехонова... Но это была случайная речь — не больше. И на нее не обратили внимания так же, как на резолюцию, предложенную Богдановым от имени бюро и принятую Советом. Резолюция

в общем соответствовала цитированной речи. И еще прибавляла: «1) никаких посягательств на органы революционной демократии... 2) никаких отступлений от демократических принципов в международной политике, 3) недопущение борьбы с целыми политическими течениями, 4) решительная борьба с контр-революцией, 5) скорейшее проведение ряда аграрных, социально-политических и финансовых реформ на основе декларации 8-го июля»...

Как хотите, тут что-то не ладно! Либо Совет превратился в «частное учреждение», резолюции которого, заведомо для всех (и в том числе для звездной палаты), не имеют большего значения, чем любая «безответственная» речь на уличном митинге. Либо все эти заявления, требования, представления — а более всего их тон — совершенно возмутительны и ни на йоту не соответствуют всему, что произошло на «линии Совета»...

На этом заседании не было ни одного присяжного большевистского оратора. Ныне все они сидели в тюрьмах Керенского, хотя Пуришкевич гулял на свободе... На этом заседании от объединенных интернационалистов выступал Юренев, а от большевиков — совсем новый еще не виданный в советских сферах молодой человек, с неприятным акцентом, но со складной, не глупой и не бестактной речью. Это был Володарский. Этим знаменитым в близком будущем оратором, с полным основанием, посмешили большевики заткнуть образовавшуюся брешь... Володарского слушали, как слушали Богданова. Кто знает, — может быть послушают еще немного июльские жертвы и понемногу придут в себя?... Володарский, Юренев и десятки маленьких, безымянных, неизвестных, не пойманных Керенским и Церетели, —

с утра до вечера ходили с заводов в казармы, из казарм на заводы. Там тоже слушали.

* * *

Надо было представить новую коалицию и высшему советскому органу. Заседание Ц. И. К., состоявшееся в тот же день, было пышно и многолюдно, но ни мало не интересно. Выступали по очереди, вслед за докладчиком, тем же Скобелевым, некоторые министры-социалисты: Авксентьев, Пешехонов, Чернов, встреченный с восторгом. Но на этот раз начальство было предусмотрительнее. Резолюции Богданова тут не было. Тут Дан предложил другую. В самом деле, ведь петербургский совет, обращаясь с дерзкими требованиями, забыл о главном — о «поддержке»! Ц. И. К. «призывает демократию к самой активной поддержке»...

Но, Боже, — и тут тоже — как кисло и как шероховато! Поддержка (не «полная», и не «безусловная», а просто «поддержка») относится не к правительству, а к «мероприятиям, направленным к защите страны и закреплению завоеваний революции на основе программы 8-го июля»... Затем «неограниченные полномочия», данные второй коалиции, ныне, для третьей, не были подтверждены ни единым словом. Но вместо того было подчеркнуто право Ц. И. К. отозвать из правительства министров-социалистов, «в случае уклонения их деятельности от демократических задач». Наконец, был обращен призыв к Советам, армейским и флотским организациям — спланировать вокруг себя демократические массы; и тут же дается обещание «противодейство-

вать со всей энергией всяким покушениям на права и свободу деятельности этих организаций»...

Да, и тут было не все в порядке. Слова были неуместные, бестактные, не соответствующие той общей конъюнктуре после-июльских дней, которая проявлялась в полном безудержном и безапелляционном произволе кучки буржуазных политиканов по отношению к судьбам революции. Слова, сказанные Советом при виде после-июльских итогов, не соответствовали той жалкой роли, какую играл Совет в эту эпоху.

Но — увы! — зато соответствовали дела. А положение дел было таково, что кроме этих слов Совет ни на какие дела был неспособен. Эти «дерзкие» слова не могли иметь никаких результатов. И на них, по праву, никто не обратил никакого внимания.

Итак, все было кончено. «Единая власть, спасающая Россию, власть, над созданием которой так долго билась демократия, наконец, создана». Был закончен бурный период родовых мук. Мы были у тихой пристани — у источника творческой революционной работы. Теперь должен был начаться «органический период». Так вытекало из слов советского лидера, — прости ему, Господи!

Однако, что же, на деле, представлял собой этот продукт усилий «демократии»? Сомнений тут быть не может: это была буржуазная диктатура. То, над созданием чего так долго билась звездная палата, было, наконец, создано. Судьбы революции и страны были вручены Керенскому и десятку его подручных, фактических клеветов биржи. Их полномочия были ничем не ограничены. По крайней мере, на основании существующей писаной и непи-

саной конституции, на основании соглашения или «легального» давления, — не было ни малейшей возможности ограничить произвол клики Зимнего дворца. Это была буржуазная диктатура.

* * *

К счастью, однако, дело обстояло не так страшно, как может казаться. Диктатура была формальной. Фактически ее быть не могло, так как реальной силы у правительства никакой не было. Все это мы знаем. Ни вотум «неограниченных полномочий», ни создание крепко спаянного кабинета, жаждущего спасти революцию ее удушением, — не могли придать Керенскому и его друзьям атрибутов действительной власти... Правительство, имевшее в своем распоряжении ничтожные полицейские силы из офицеров, юнкеров и «сводных» групп, — попрежнему было способно на всякого рода «эксцессы», вроде арестов, разгромов газет или смертной казни. Но оно попрежнему не было ни сильной властью в частности, ни властью вообще. Ни «водворить в стране порядок», ни создать боеспособную армию, ни выполнять настоящую государственную работу — кабинет Керенского заведомо не мог...

Правительство, как говорил Богданов, формально обладало властью. Мы же, т. е. Совет, по его словам, сохраняли фактическую власть, которой обладали раньше и будем обладать впредь. Первое было святой истиной. Увы! второе было заблуждением. Некогда Совет обладал огромной мощью. Но он не умел и не хотел пользоваться ею. И эта мощь атрофировалась к эпохе формальной диктатуры бур-

жуазии. Это значит, что государство разлагалось, а силы революции день ото дня беспощадно растрачивались, проматывались, — пока Совет тихо умирал среди вялых, сонных, бесплодных разговоров, а Керенский на своих подмостках криливо и бурно размахивал картонным мечом.

Но все это была одна сторона дела. Это была только половина впечатлений в момент создания формальной диктатуры буржуазии...

К этому моменту я приурочил свой отъезд из Петербурга — недели на две, на отдых, в деревню. И я уехал не только с этими впечатлениями упадка и гибели великой революции... Накануне отъезда, в воскресенье 23-го, в цирке «Модерн» на Петербургской Стороне, наша группа устроила митинг. Должны были выступить — Мартов, Мартынов, Семковский и я. Огромный цирк был набит битком, и уже при нашем появлении дал себя знать напор левых настроений среди рабочих низов. Наилучше впитывались и активно воспринимались те места наших речей, где содержались нападки на буржуазию, на коалицию, на социал-патриотов, на советское большинство. Мое сообщение об аресте Троцкого и Луначарского истекшей ночью — было встречено такой бурей негодования, что минут десять-пятнадцать нельзя было продолжать митинг. Раздавались возгласы, чтобы немедленно всей многотысячной толпой пойти демонстрировать свой протест перед властями. Мартову едва удалось свести дело к принятию наскоро изготовленной резолюции протеста...

Да, правительство демократа Керенского поработало не бесплодно две недели после июльской катастрофы. Передовой боец, петербургский пролета-

рий, немного оправившись от удара, отлично видел всю выше описанную картину. А темный мужик-солдат на высокий стиль Керенского и Церетели мог отвечать попрежнему только своей тоской по дому и деревне. Тот и другой не видели никакого просвета и чувствовали одну трясину под ногами... Пока Керенский, привычным языком, требовал всенародной поддержки своему кабинету «спасения», а Церетели щедро раздавал ее всем коалициям «от имени всей демократии», — в это время пролетарские низы уже понемногу оправлялись от разгрома. Ряды их, час от часа, сплывали вновь. Веря в те же лозунги, они собирались под теми же знаменами. И против опереточной диктатуры, против гнилого советского мелкобуржуазного большинства вновь создавались крепкие боевые легионы — для нового штурма.

Этого совсем не видели — ни плутократия, упоенная июльскими победами, ни коалиция, оглушающая себя «патриотическими» воплями своих газет, ни единоспасающий Керенский, ни слепец Церетели. За одними было «все общество», за другими — «вся демократия», — и из-за этих деревьев им леса было не видеть.

Но я — под впечатлением митинга — уехал 25-го числа не в плохих настроениях. Еще найдется порох в пороховницах.

4. ДЕЛА И ДНИ ТРЕТЬЕЙ КОАЛИЦИИ

В провинции. — Новый съезд кадетов. — «Костлявая рука голода». — Буржуазия высоко держит голову. — Снова закрыты газеты. — Съезд губернских комиссаров. — Александр всероссийский и Георг британский. — Дело о «Стокгольме». — Нота о «Новой Жизни». — Керенский борется с капиталом и охраняет труд. — Перевод Романовых в Тобольск. — Бесплодные брожения в Ц. И. К. — Подергивания влево и направо. — «Советование по обороне». — Народ и Совет «связали дело войны в свои руки». — Третья коалиция возрождает большевизм. — Объединительный съезд большевиков. — В рабочей секции Совета. — Опять большевики!

От центра, от пекла я оторвался впервые. Новой России я еще не видал. Но, собственно, не пришлось мне увидеть ее и во время «отпуска». Жил я в деревне под Ярославлем, предаваясь беллетристике, солнцу и лени. Впечатления мои от провинции были случайны и скудны. Я посетил — в губернаторском доме, на берегу Волги — местный совет, находившийся в руках меньшевиков. На заседании я не был, масс не видел. Но был в Исп. Комитете, в центре, в лаборатории. И наблюдал воочию картину провинциального безлюдья и невероятной концентрации партийно-политических функций в руках двух-трех человек. Было ясно: если бы изъять их из города, то замерла бы деятельность совета, прекратилась бы

агитация, закрылся бы советский орган, и исчезли бы кандидаты в городскую думу и в Учр. Собрание. Между тем в руках совета была вся местная власть, без которой был сущей марионеткой губернский комиссар и все прочие официальные власти. Местный представитель нового министра внутренних дел, высокоталантливый Авксентьев, сидя на плечах Исп. Комитета, обращался к его председателю поминутно и нуждался в нем по всяким пустякам... Но в общем, в губернии, равной по территории Бельгии или Голландии, население ныне «самоуправлялось».

В дни моего пребывания в Ярославле там были большие хлопоты: готовились выборы в городскую думу. В соседней Костроме они уже состоялись и дали абсолютное большинство большевикам. В Ярославле была несомненная победа правящего советского блока, с перевесом меньшевиков. Но и большевики были далеко не в упадке... Случайно попав на предвыборное собрание, я слышал корявого, третьестепенного (на столичный масштаб) оратора — местного лидера большевиков. При своих скудных данных, побеждаемый в словопрениях, он имел, однако, довольно победоносный вид, а также определенный успех у половины аудитории: вся солдатчина шла за большевиками.

Вообще говоря, июльская встряска очень немного коснулась провинции. Никакого перелома, никакого узла на линии развития революции июльские события здесь не образовали. Отклики «июля» были только в психологии верхов: кадеты, энесы и примыкающие играли на июльском разгроме перед лицом масс. Но массы, не видевшие воочию событий, реагировали слабо. Здесь продолжался

«нормальный» процесс завоевания низов большевиками.

В частности, я — столичный житель — был удивлен широкой уличной жизнью демократического люда: столица в этом отношении уже давно сжалась и стала походить на старый Петербург в своей «нюльской» атмосфере. В Ярославле мой глаз радовали свободные манифестации рабочих, у нас «воспрещенные» и вышедшие из употребления.

В те же дни в Ярославле собралась меньшевистская губернская конференция. Это было довольно жалкое зрелище. Сехавшийся десяток людей проявлял очень низкую степень политического и партийного сознания. Между прочим, отличить официальных меньшевиков от меньшевиков-интернационалистов местным деятелям было не под силу. Дана легко отличали от Ленина, но не от Мартова. Мне это казалось довольно странным: я полагал, что — если не теоретически, то исторически, практически им было легче смешать Мартова с Лениным, чем с Даном (как делала вся буржуазия). Но нет, — видно, слово «меньшевик», в отличие от большевика, здесь имело решающее значение. Слово знали довольно хорошо, а к углублению понятий были не подготовлены и не имели к этому интереса.

Это было для меня неожиданно. И я, можно сказать, стал в тупик, когда думал: как же быть при таких условиях с расколом меньшевиков, который представлялся мне неизбежным и необходимым в столице. Было ясно, что в данный момент раскол для этих провинциалов был бы непонятен, непереварим. И, стало быть, он неосуществим... Все это, по приезде в Петербург, я рассказывал Мартову — к его большому удовольствию.

Впрочем, ни малейшего активного участия в местных делах я не принимал. Единственно, что я сделал за эти недели на общественном поприще — это прочитал публичную лекцию в городском театре, лекцию очень скучную и неудачную, посвященную «путям революции». Я не предполагал, что местные официальные меньшевики, лояльные Дану и Церетели, окажут мне в этом содействие. Но они — согласно предыдущим строкам — проявили недостаточную степень «сознательности» и устроили эту лекцию в пользу нашей «Искры», которая все еще не выходила.

* * *

Я жил в деревне, впервые оторванный от кипучего котла революции. Личных воспоминаний за этот период я, стало быть, не имею. Но газеты все же доходили до меня. И издавека я смотрел на «дела и дни» революции, проходившие без меня.

В Ярославле я решил пробыть до московского «государственного совещания», назначенного на 12-е августа. Я хотел заехать туда и потом вернуться в Петербург вместе с делегатами Ц. И. К. И за это время я вычитал в газетах нижеследующие достопримечательные факты.

Из них новый кадетский с'езд был не столь достопримечателен. Победители, вернувшиеся к власти, были настроены, правда, очень торжественно. Но речи их в общем не отличались от того, что говорилось на совещаниях Гос. Думы или ежедневно писалось в правительственной прессе. По существу своему с'езд «народной свободы» большого интереса не представлял.

В прессе же попрежнему на все лады старались добывать советы. Снова обратились к травле отдельных персонажей, и в том числе коллеги по кабинету — Чернова. Снова занялись вплотную «приказом № 1». Снова стали есть поедом армейские организации... Затем обрадовались какому-то письму о растрате в финансовом отделе Ц. И. К. и пролили море слез по поводу трудовой копейки рабочего и солдата... Словом, буржуазная армия отнюдь не успокоилась на лаврах — в своем стремлении к настоящей, реальной диктатуре плутократии на место диктатуры бутафорской.

4-го августа освободили Каменева, не досидевшего нескольких дней до одного месяца. Оказалось, что его ни разу не допрашивали, что состава преступления нет и — во всяком случае он ведь не скроется, так как под арест явился добровольно. Новый министр юстиции Зарудный, добродушный обыватель, политическая мысль которого ограничивалась пределами его «патриотических» настроений, — оказал Каменеву милость, изменив «меру пресечения». Но этого не могли претерпеть на бирже. И приказали незамедлительно утопить Каменева, оставив большевиков с одним Володарским. Газетчики не больше как дня через два-три выполнили задание: Каменев, по самым достоверным сведениям, оказался агентом царской охранки (служил в Киеве)... Через несколько дней, 8-го августа, был по тем же причинам освобожден и Луначарский, просидевший две недели. Но его, по тем же причинам, постигла та же участь: оказалось, что он служил в Нижнем-Новгороде.

Но все же травля большевиков теперь, можно сказать, уже вышла из моды. Сейчас и пресса, и кадетские митинги, и партийные лидеры плутократии —

гораздо больше занимались советским руководящим блоком, звездной палатой, официальными «Известиями». Крыловская свинья под дубом, без отдыха и срока, поносила Церетели... В эти дни в Москве состоялся съезд промышленных организаций. Там Рябушинский, буквально задыхаясь от злобы, вбивал осиновый кол в разложившийся и безвредный «полномочный орган демократии». Забыв о всех правилах хорошего тона, он ругался площадными словами на вождей эсеров и меньшевиков, сваливая их в одну кучу с христопродавцами-ленинцами. А на революцию он призывал «костлявую руку голода», которая должна была задушить ее... Это было очень красноречивое знамение времени.

Буржуазия быстро поднимала голову. Ограничиться достигнутым она, конечно, не могла и подготавливала нечто более реальное. Всему этому соответствовало несколько своеобразное поведение «солдата» Корнилова, который ездил в Петербург объясняться с Керенским, фрондировал, давал интервью, — видимо, подготавливая ликвидацию армейских организаций. Ведь действительная диктатура буржуазии предполагала военную силу в ее руках. Фактический обладатель этой силы, Совет, умирал быстротечной смертью и, казалось, уже не в силах был ею распорядиться. Но армейские организации еще существовали. За них держалась солдатская масса на фронте: они служили ей опорой против генералов, к которым не могло быть ни тени доверия. Но поэтому-то армейские комитеты и являлись боевым вопросом для командиров, преданных телом и душой делу реставрации.

Общие тенденции этого периода были хорошо видны не только из проявлений политической

борьбы, но и из «органической работы» третьей коалиции. В условиях растущего голода и бестоварья вел, раза два в неделю, странные академические словопрения Экономич. Совет: тут не было не только практического подхода к делу, но не было и постановлений, резолюций, — одни доклады и возражения, как в добропорядочном ученом обществе. Между тем, потихоньку продолжали готовить пресловутую «разгрузку Петербурга», т. е. разгрузку его от красного, передового пролетариата и распыление последнего. Такою же никчемной говорильней являлся и Гл. Земельный Комитет, где воз тащили лебедь, рак и щука, — т. е. бесплодно препирались эсеровские фанатики социализации, с кадетскими фанатиками земельной собственности. Никакого движения аграрных дел, никакой реальной подготовки реформы не замечалось попрежнему.

Наряду с этим, возник затяжной конфликт между петербургской городской думой (и не ею одной) и Вр. Правительством — в лице, главным образом, министерства внутренних дел, руководимого высокоталантливым Авксентьевым. Новое городское положение (до Учр. Собрания) было проникнуто таким реакционным духом, что даже муниципалы из правительственных партий стали в тупик. «Революционная власть» связывала «коммуну» по рукам и ногам — не только в больших вопросах социального строительства, но и в нудных мелочах. Возникла острая тяжба — совсем как в доброе старое время. Но переговоры и «представления» кончались ничем.

Да это и понятно: ведь городской думой, как нам известно, руководил прочный кадетско-эсеровский

блок. Его агенты, «разоблачая» и интригуя, правда, умели открыть поход против продовольственной управы, возглавляемой «советским» Громаном: с целью развести новую мутную волну вокруг Совета — да еще на почве продовольственной неурядицы — руководители петербургского муниципалитета добились ревизии продовольственной управы и бросили тень на Громана. Это они сделали с успехом и охотой. Но бороться с контр-революционным правительством — у них не могло быть ни охоты, ни сноровки.

Числа 5-го или 6-го (августа) Вр. Правительство даровало министру внутренних дел право внесудебных арестов. Практически тут ничего нового не было, но дело заключалось в создании нового «революционного права». А 11-го числа снова был ликвидирован центральный орган большевиков «Рабочий и Солдат», несколько номеров которого вышло вместо «Правды». Это было безо всякого юридического повода: большевики ныне писали сдержанно и осторожно, соблюдая академический стиль. Ликвидация, в административном порядке, была произведена просто за резкое противоправительственное направление.

Я упоминал, что кадеты вели упорную кампанию в пользу отсрочки Учр. Собрания. В совете министров они, очевидно, без большого труда убедили Авксентьева, что его ведомству не справиться с организацией выборов к 30-му сентября. Авксентьев убедил в том же звездную палату. И созыв Учр. Собрания был отложен на 12-ое ноября...

В те же дни происходил с'езд губернаторов-губернских комиссаров, местных агентов того же Авксентьева. Это почтенное сословие представляли на

с'езде очень компактные кадетские группы. Они и провели с'езд под своим знаком... Известно, что единственной функцией губернских комиссаров было бессильное брюзжание на советы, при которых они играли роль молчаливых свидетелей, а без которых они были бы жалким игрищем стихий. Но это не меняло их классовых позиций. И они дружно были о независимости местной высшей власти, которой они не могли создать. А Керенский и Авксентьев, смягчая их сердца, в плоских фразах уверяли, что все образуется и кончится добром в дружной патриотической работе.

Но самое важное за этот период было сделано в области международной политики. — 1-го августа глава Британской Империи, король Георг, и глава Российской Республики, гражданин Александр Керенский, обменялись дружественными телеграммами, касающимися судьбы их народов: в телеграммах, кроме взаимных любезностей, они обещали друг другу посылать свои народы на войну «до конца»... Патриотам было приятно слушать, — а народам... полезно. О войне до конца «советский ставленник» Керенский, известный демократ и социалист, еще не говорил до сих пор публично. Очевидно, это и были ныне «идеалы русской революции» в области международной политики.

А затем началась интересная история о стокгольмской конференции. В это время к французским социалистам (меньшинству и большинству) присоединилась и британская рабочая партия, постановившая на конгрессе принять участие в «стокгольме». Это был существенный успех — за отсутствием чего-либо более реального во всей Европе после русского наступления. Вся социалистическая печать

трубила об этом успехе. Но тут правители союзных стран и вынуждены были принять решительные меры. Они начали с артиллерийской подготовки: печать выливала на предателей родины невероятное количество грязи и клеветы; официальные лица, вроде Асквита, заявляли, что они не допустят аннулирования всех принесенных жертв по воле неразумных элементов, подлежащих решительному обузданию во имя общественного блага; а служащие им «социалисты», вроде Тома, убеждали не говорить на конференции, если она состоится, ни о чем, кроме ответственности Германии за войну. Впрочем, и наш Плеханов в эти днишний раз запятнал свою память обращением к французскому социалистическому большинству, убеждая его совсем не ехать на конференцию, вопреки уже принятому решению.

Но после этой подготовки правительства всех союзных стран — Франции, Италии, Англии и Соед. Штатов — заявили уже официально, что своим социалистам они паспортов не дадут... Если бы дело происходило два месяца назад, то можно было бы спросить, что скажет на это революционная Россия? Теперь такого вопроса уже не было. Но все же любопытно, что сказала на это революционная Россия?

После вотума британской рабочей конференции в пользу «стокгольма», Ллойд-Джордж в грубой форме уволил в отставку своего верного Гендерсона, бывшего одновременно членом кабинета и секретарем рабочей партии. При этом Ллойд-Джордж, если не прямо объявил, то «дипломатически» намекнул на то, что именно развязало ему руки; отношение к стокгольмской конференции нового русского правительства. Впрочем, как заявил британский премьер

в палате общин, он не считает уместным распространяться на этот счет. Но коллеги его были более откровенны: у них имеются данные утверждать, что отношение новой русской власти к стокгольмской конференции совсем не таково, каким оно было у первого коалиционного кабинета. Но что же это за данные?

Данные заключались в телеграмме Керенского на имя неизвестных, но весьма высокопоставленных лиц — из числа правителей Англии и Франции. В этой телеграмме, доведенной до сведения Гендерсона, Керенский выражал свое отрицательное отношение к стокгольмской конференции. И Ллойд-Джордж, увольняя Гендерсона, ставил ему на вид, зачем он на конференции рабочей партии не огласил этой телеграммы и способствовал тем самым положительному решению вопроса о «стокгольме». Сам Ллойд-Джордж предпочел не бросать этого аргумента на чашу весов, чтобы не доставить затруднений Керенскому (кто знает, что у него там на этой почве может выйти с Советом?). Но от Гендерсона он этого все-таки требовал... Всю эту историю и разоблачил Гендерсон — в ответ на предъявленные ему обвинения: он уверял, что попрежнему стоит за войну до конца, и на конференции он добросовестно боролся против «стокгольма», но телеграмму все же огласить не мог, так как выступал не в качестве министра, а в качестве секретаря партии... Гендерсон, с своей точки зрения, тут был вполне прав. Ллойд-Джордж, увольняя его, просто продемонстрировал свое нежелание стесняться в своем отечестве и полную возможность ныне обойтись и без Гендерсона. Но дело совсем не в этом.

Дело в том, что революционная Россия, устами Керенского, не только выразила свое «отрицательное отношение» к «стокгольму», но, можно сказать, была виновницей дружного отказа в паспортах всем союзным социалистам. Это было, действительно, совершенно ново. Предыдущие кабинеты, до Керенского, и не мечтали об этом. Понятно, что у нас это вызвало сенсацию.

Кадеты были в полном восторге. Наконец-то правительство нашло в себе силу официально порвать с «циммервальдом»... Но в советских сферах это вызвало глубокое возмущение. Даже обыватели и «социалистические» межеумки были шокированы неожиданным проявлением «личного режима» новоявленного Вильгельма II. Звездная палата, видимо, была потрясена и делала внушительные «представления». И тогда историю с телеграммой стали заминать, — так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Посол Британии, г. Бьюкенен, в газетном интервью уверял, что о телеграмме ему ничего неизвестно. Но, разумеется, — прибавлял он, — союзные правительства поступили необычайно мудро, не дав социалистам паспортов. Впрочем, — изволил шутить обнаглевший сановник, — Макдональду следовало бы дать паспорт — с тем, чтобы не впускать его обратно в Англию...

Сочло себя вынужденным выступить с объяснениями и Вр. Правительство. Прямо не отрицая телеграммы, оно решительно отмежевалось от стокгольмской конференции: в паспортах-де мы не отказываем (!), но вся эта затея — совершенно частное дело; вопрос о мире будет решать исключительно оно, правительство, в согласии с доблестными союзниками, а мнения всяких конференций для

него значения не имеют... Хорошенькое «объяснение»! Понятно, что советских сфер оно нимало не успокоило.

Более убедителен был наш дипломат Терещенко, создавший журналистов для разъяснения истины. Истина Терещенки состояла в том, что Керенский в этом деле ничуть не замешан, а заявление русского правительства о «стокгольме», разоблаченное Гендерсоном, принадлежит нашему поверенному в делах, г. Набокову... Очень хорошо!

Однако, этим дело не кончилось. В «Новой Жизни» появилась статья — «Вопросы и ответы», — где путем сопоставления фактов была довольно убедительно доказана лживость объяснений Терещенки и подлинность выступления Керенского. Статья попала не в бровь, а прямо в глаз. Дипломаты Зимнего дворца рассвирепели и забыли дипломатию. Вот каким языком заговорил на другой день г. Терещенко в официальном сообщении министерства иностранных дел. «Все утверждения газеты «Новая Жизнь» являются сплошным и при том злостным извращением фактов... Можно быть уверенным, что русское общество оценит должным образом недостойную выходку и заклеймит презрением людей, которые стремятся поколебать международное положение России и тем ослабить ее оборону».

Мне было очень лестно прочитать эту ноту в моей ярославской деревне. Но еще больше удовольствия доставило специальное постановление Вр. Правительства, сделанное по этому поводу 9-го августа. Проглотив пилюлю «Новой Жизни», кабинет Керенского, чтобы впредь разоблачение дипломатов было не поводом, решил: «виновный в оскорблении дружественной державы, ее верховного главы, ее пра-

вительства, посла, посланника или иного дипломатического агента (и вола его, и осла его, и его дворника, и собаки его дворника) — словом, в печати, в письме или изображении наказывается заключением в крепости или в тюрьме на срок не свыше трех лет»...

Это было великолепно. Комментариями, пожалуй, можно испортить и этот прелестный «инцидент», и всю историю о «стокгольме» в эпоху третьей коалиции.

Из прочих подвигов нового кабинета, описания коих я читал в моем тихом далеке, стоит отметить «финансовый план», с которым носилась пресса. Это было нечто, не столь важное, как «стокгольм», но нечто столь же изумительное по наглости. Достаточно сказать, что у «Речи» этот «план» не вызвал «никаких возражений». Его суть состояла в открыто сформулированном ограждении промышленной прибыли, — то-есть военных сверх-прибылей...

Не только дела, но и слова революции ликвидировались быстро и дружно кабинетом Керенского. — Однако, было бы несправедливо умолчать и об его деятельности в пользу рабочего класса: 8-го августа было принято постановление об ограничении ночной работы женщин и детей — между 10 и 4 часами ночи. Вы слышите?... Это постановление должно было войти в силу с 1-го октября.

О, Керенский — это был известный демократ и социалист!... В непрерывных своих заботах о торжестве и преуспевании революции, он совершил в эти дни еще один сенсационный подвиг. В очень таинственной обстановке из Царского Села был вывезен лично премьером бывший царь Николай, с семьей, с приближенными и челядью, в числе 40 душ.

Керенский довез Романовых до поезда, помог бывшему самодержцу взобраться на ступеньку вагона и отправил — неизвестно куда. Через недельку было сообщено, что Романовых перевели в Тобольск. Говорили, что эта операция была предпринята в виду происков и спекуляций контр-революционных, т.е. монархических групп. Никаких подробностей не знаю. Совета эти дела ныне уже не касались.

* * *

Ныне даже сторонним наблюдателям, буржуазным газетчикам, пришлось отметить, что «жизнь Совета совершенно дезорганизована». Петербургский совет и его секции почти не собирались. Спихватились урегулировать это дело перед самым отъездом на московское совещание, но, естественно, — не успели ... Ц. И. К., со всеми своими отделами, в это время переехал из Таврического в Смольный. Покончив с созданием вожделенной власти, перейдя от «больших дней» к тихой пристани, — Ц. И. К. пробовал собираться в заседания для текущей работы. Но — увы! — из этого ничего не выходило: кворума не было. Разложение «полномочного органа» било в глаза.

Но все же — в каком направлении он действовал? Какова ныне была «линия Совета»?... О, в этой линии не замечалось прежней твердости, резкости, определенности. Правда, она шла все в том же направлении, слева направо. Но в этой «линии» стали видны зигзаги, из прямой она превратилась в ломаную. А под этой «линией» была очевидна растерянность, разброд и некоторая истерика советских руководящих групп.

В самом начале третьей коалиции Ц. И. К. принял резолюцию Мартова (что случилось? это неслыханно!) с протестом против арестов большевиков и против неприличных приемов ведения судебного следствия. Но через два-три дня Чхеидзе официально раз'яснил в печати — в ответ на поднятый гвалт, — что эта резолюция не имеет никакого значения, да и принята то она при ничтожном числе депутатов.

На десятый день жизни новой коалиции в Ц. И. К. явился Керенский. Очевидно, его пригласили для «серьезных объяснений». И опять произошло невиданное: премьера встретили гробовым молчанием. Новая тронная речь главы нового кабинета была набором фраз безо всякого содержания. Самым интересным было настойчивое заявление, что он, Керенский, «пока обладает властью, не допустит никаких попыток к возвращению самодержавия». А затем, констатируя «какое-то смущение, сомнение в рядах демократии», премьер просил бросить это и — «верить»...

Дальше выступал министр внутренних дел Авксентьев. Но не ему было прибавить содержания к речам премьера. После долгого перерыва, во время которого в тяжком раздумьи совещались фракции, — выступали советские люди. Церетели с большим удовольствием прослушал речь министра-президента, но (слышите, слышите? — но) он полон сомнений: удастся ли правительству преодолеть все трудности? ... И в огромной резолюции, написанной дрянным либеральным языком, Церетели, от имени руководящего блока, обнаруживает некоторые признаки понимания сложившейся кон'юнктуры. «Значительные слои буржуазии» явно наступают на революцию и стремятся ликвидировать организованную демо-

кратию. Власть же не обнаруживает твердости и даже делает ошибки. Поэтому, приветствуя заявления Керенского и Авксентьева и надеясь на последовательное выполнение программы 8-го июля, — Ц. И. К. призывает массы теснее сплотиться вокруг советов.

Сквозь все благоволение к «созданной, наконец» революционной власти, тут все же просвечивает нечто напоминающее оппозицию его величества... Недурную отповедь этому старческому шамканью Церетели дал только-что освобожденный Каменев. И, о ужас! Собрание, встретившее мрачным молчанием министра-президента, встретило «уголовного» большевика громом рукоплесканий. «Смущение и сомнение» в рядах депутатов было, несомненно, налицо.

Но все это было совершенно бесплодно. «Серьезные объяснения» с Керенским, конечно, кончились ничем. В частности, относительно «самой большой ошибки» — по делу о «стокгольме» — в Ц. И. К., 6-го августа, была отвергнута резолюция Мартова, требующая от правительства объяснений, в связи с историей Гендерсона-Керенского. Вместо того была принята резолюция официозного Розанова, где лишь подчеркивалась солидарность советов с европейскими рабочими, борющимися за конференцию. И только... Понятно, что при таких условиях Совет окончательно губил не только дело мира вообще, но и дело «стокгольма», в частности. Сейчас созыв стокгольмской конференции можно было уже признать безнадежным. И это хорошо понимал П. Б. Аксельрод, бывший официальным и ответственным советским организатором конференции. Ц. И. К. поручил ему это дело, несмотря на его интернацио-

нализм, в виду его огромного авторитета среди всех европейских партий. Но сейчас Аксельрод объявил, что он слагает с себя и свое звание, и свою ответственность... Собственно говоря, это могло означать только признанный крах «стокгольма». Так была обязана оценить звездная палата отставку Аксельрода. Но звездная палата приняла ее безропотно. И тем кончилось дело...

* * *

Я отметил некоторую «оппозиционность», фрондирование, искания и подергивания влево. Но среди этого разложения тогда же имели место искания и подергивания вправо... В эти дни моего отсутствия осуществилась, не знаю чья, никчемная и бесплодная, но характерная затея: при Ц. И. К. было организовано некое «совещание по обороне». Увы! душой этой затеи был тот самый Богданов, который из всех оборонцев проявлял, пожалуй, максимальный здравый смысл в после-июльскую эпоху.

Целью этого нового учреждения была не политическая, или не столько политическая, сколько органическая советская работа на оборону, — то-есть на войну: всестороннее содействие правильной работе заводов, борьба с дезертирством и всякие прекрасные «меры для организации активного общественного участия в деле обороны страны»... Сначала было создано небольшое организационное бюро (Богданов, Дан, Чхеидзе), а потом в эти дни собирались многочисленные совещания из представителей всяких правительственных органов и частных объединений. Буржуазия относилась ко всему этому

очень покровительственно, но большого значения этой затее не придавала. На открытии жаждали и ждали Керенского, но он не приехал, — прислав все того же Авксентьева.

7-го августа, в Смольном, Чхендзе открыл совещание и усиленно изложил его задачи. О, как это было красноречиво! Помнит ли читатель (из второй книги «Записок»), как Чхендзе диктовал мне фразы для воззвания «ко всем народам мира» 14-го марта: «наступило время народам взять дело мира в свои руки»? Теперь Чхендзе говорил так: «Народ взял дело войны в свои руки, и только те, кому стремления революции мешают, могут убеждать, что революционные организации ничего не сделали для обороны страны»...

Вообще тут все суждения шли под знаком оправдания советов перед буржуазией, обвинявшей их в дезорганизации обороны. Докладчик Богданов, говоривший после Чхендзе, так прямо и заявил, что «демократия» приступает к этой новой работе в ответ на обвинения... Вообще этот доклад Богданова был не особенно умен, но весьма возмутителен.

— Призыв русской демократии к миру, — говорил он, — нашел себе слабый отклик среди союзников. Наша революция не зажгла всемирного пожара, как мы мечтали пять месяцев назад. И теперь перед русской демократией резко ставится в порядок дня другая задача: укрепление боеспособности русской революции путем укрепления боеспособности русской армии. Вот почему органы русской демократии намерены взять на себя дело обороны страны.

Чорт знает, что такое! Мы некогда сказали хорошее слово о мире — с тем, чтобы стереть самую

память о нем своими скверными делами. А когда, при таких условиях, наше слово не подействовало, то перевернем фронт на 180° и вместо достижения мира будем укреплять империалистскую войну... Ну, что ж! Да здравствует союз логики и преданности революции!... Не мудрено, что в этом почтенном собрании имел редкий успех кадетообразный энес Чайковский, некогда вызывавший в Исп. Комитете только дружные взрывы смеха.

Большевики (на следующем заседании) объявили о своем уходе из этого милого учреждения. При этом они огласили декларацию, вполне правильно оценивавшую всю эту затею. Ну, и досталось же большевикам — от всех фракций, по очереди! Жаль только, что их налицо уже не было, и приходилось кричать филиппики в пространство...

* * *

Такова была картина революции в эпоху перед московским «государственным совещанием». Но это была, конечно, не вся революция, а только небольшая часть ее: это была только ее поверхность, только лицевая ее сторона... Газеты слишком мало отражали недр революции, самую ее толщу, а личных наблюдений и воспоминаний я не имею. Но сомнений тут быть не может: основные процессы совершались в массах. И этой, внутренней стороны дела надо коснуться в двух словах.

Перед глазами масс после «июля» разворачивалась вся описанная картина «деятельности» Совета и новой коалиции. Картина была совершенно удручающая. Как бы ни рассуждали массы, но они во всяком случае разочаровывались, озлоблялись, при-

ходили в полное отчаяние. И уже по одному этому процессы, происходившие в рабоче-солдатских недрах, были неразрывно связаны с судьбами большевизма, который подсовывал под настроение рабочих и солдат простую, яркую идеологию, бьющую в самую точку и отвечающую их пробудившемуся классовому самосознанию... Июльские события разгромили большевизм. Но прошел месяц, и дружная работа Керенского-Церетели пробудила его снова. Оправляясь сами от разгрома, массы вливали жизнь и силы в большевистскую партию. Они росли вместе с ней. Она росла вместе с ними.

Уже в конце июля состоялся новый съезд большевиков. Это был уже «объединительный» съезд, на котором формально слились партия Ленина, Зиновьева и Каменева с группой Троцкого, Луначарского и Урицкого... Вождям не пришлось быть на этом съезде, — они могли только издали вдохновлять его. Но справились кое-как и без главных лидеров.

На этом съезде большевики привели в порядок свою после-июльскую идеологию. В общих своих основах она, конечно, оставалась прежней. Но боевые большевистские лозунги претерпели характерные изменения. «Вся власть советам» — была снята с очереди. Этот лозунг, уже ставший до «июля» привычным и своим для масс, был заменен более расплывчатым, менее рафинированным: революционная диктатура рабочих и крестьян и т. п... Причина этого была двусторонняя. Во-первых, «вся власть советам» была как ни как сильно потрепана июльскими событиями; а, во-вторых, стало уже слишком очевидно и дало себя знать на практике противоречие между этим лозунгом и неизбежной

фактической борьбой против существующих советов. Ведь «советы», в лице Ц. И. К., определенно вступили на путь поддержки контр-революции. Совсем не стоило требовать власти для таких советов.

Характерный и чуть ли не единственный в своем роде факт: фракция Мартова обратилась к этому съезду большевиков с приветствием, где подчеркивала наши разногласия (большевистский анархо-бланкизм), но выражала свою солидарность в борьбе против коалиции и протест против преследования партии пролетариата.

Я уже упоминал, что поражение большевизма в июле коснулось, главным образом, столиц, но очень немного затронуло провинцию. Провинциальные делегаты съезда, своими докладами о продолжающихся успехах, влили в партию много энергии и бодрости. Партия вновь подсчитала силы и была опять готова во всю ширь развернуть борьбу. Ее семена должны были пасть на отличную почву. И работа в массах уже шла на всех парах.

Результаты этой работы быстро сказались и внутри петербургского Совета, где ныне подвигались только второстепенные большевистские лидеры — Володарский, Кураев, знакомый нам Федоров и другие. Рабочая секция совета в эти дни создала свой президиум, которого раньше не имела. И этот президиум оказался большевистским — с Федоровым во главе... Собственно, состав секции оставался прежним, — то-есть имел огромное большинство депутатов, избранных под большевистским флагом. Но мы видели, как велика была депрессия, и как неустойчиво было поведение рабочей секции после июльских дней. Можно было предполагать,

что большевистская фракция расшатана, дезорганизована, и ее члены изменили партии. Однако, этого в конечном счете не случилось. Избрание президиума отдало руководство секцией в твердые большевистские руки. Теперь надежда правых могла быть только на перевыборы. Но — надежда довольно слабая.

А рабочая секция, под предводительством большевиков, уже приступила к делу, уже перешла в наступление. В тот самый день, когда открывалось «совещание по обороне», 7-го августа, рабочая секция не больше, не меньше, как приняла резолюцию об отмене смертной казни на фронте... По газетам я не вижу, как именно было дело, кто именно боролся за и против. Но результаты были мало приятны (и, конечно, неожиданны) для звездной палаты.

Однако, этого было мало. Большевики на следующий день прислали своего докладчика по тому же вопросу в лагерь преторианцев, в солдатскую секцию (руководимую все еще тем же эсером Завадьё). Большинство этой секции охотно согласилось поставить вопрос о смертной казни и выслушало доклад большевика. Насилу уговорил председатель не принимать сейчас резолюции, — с тем, чтобы ультимативно предложить советским властям немедленно поставить этот вопрос в пленуме Совета... На это согласились. Но до отъезда властей в Москву пленум Совета не собрался.

Наконец, того же 7-го августа, в Смольном открылась вторая конференция фабрично-заводских комитетов. Она не была так грандиозна и шумна, как первая, майская. Весь ее размах был значительно уже. Постановка вопросов была более

скромная, более деловая, менее политико-демагогическая. Это была дань поражению, заставившему с'ежиться бунтарей и утопистов. Но состав конференции был опять большевистский. Руководство было опять целиком в руках партии Ленина.

А в общем ко времени московского совещания, через месяц с небольшим после июльских дней, уже было вполне ясно, что движение народных масс вышло на прежний путь. Третья коалиция, как и предыдущая, висела в воздухе. За меньшевистско-эсеровским Советом шли довольно компактные группы мещанства. Но за ним не было рабочих и солдатских масс. Народные низы попрежнему обращали свои взоры на одних только большевиков — пока Церетели и его друзья выступали перед буржуазно-помещичьей Россией и перед пролетарской Европой от имени «всей демократии».

5. МОСКОВСКОЕ ПОЗОРИЩЕ

Для чего оно? — Состав «государственного совещания». — Подготовка. — Крупная буржуазия, творящая контр-революцию. — Мелкая буржуазия, попустительствующая контр-революции. — Пролетариат, борющийся с контр-революцией. — В день открытия в Москве. — Большевики скандалят в хорошем обществе. — В Большом театре. — Керенский грозит, но никому не страшно. — Министерские речи. — Корнилов и Каледин. — От Иверской на трибуну. — Чхендае «от имени всей демократии». — Совет равен увечному воину. — Декларации 14-го августа. — Предательство «по мере возможности». — Профессор Милюков и другие. — Церетели на аркане у Бубанкова. — Плеханов спасает совещание. — Последний аккорд и несправности «органчика». — Итоги. — Дела в Финляндии.

С самого начала августа вся буржуазия и «вся демократия» готовились к сенсационному «государственному совещанию». Однако, не было людей, которые знали бы, для чего ныне предпринимается это странное и громоздкое дело. Газеты усиленно заставляли обывателя интересоваться этим предприятием — и не без успеха. Обыватель, как и все прочие, видел, что у нас, в революции, что-то решительно не ладится. Как ни садятся в Марининском и в Зимнем — все не выходит ничего. Ну, может быть, что-нибудь «даст» московское «совещание»...

Способствовать созданию власти это предприятие было не предназначено ни в какой мере: власть

ныне была создана, все были ею довольны, лучше не требуется. Служить суррогатом парламента «совещание» также было не должно: зачем? ведь Керенский и его коллеги ответственны только перед своей совестью. Вскрыть и сказать что-нибудь новое «о пользах и нуждах страны»? Помилуйте: ведь это было временем расцвета тысячеголосой прессы, превзойти которую было явно немислимо... Осталось одно: подавить мнение «всей демократии» мнением «всей страны» — ради окончательного и полного освобождения «общенациональной власти» от опеки всяких рабочих, крестьянских, циммервальдских, полу-немецких, полу-еврейских, хулиганских организаций. Заставить Советы окончательно стушеваться перед лицом подавляющего большинства остального населения, требующего «общенациональной» политики. А вместе с тем, пожалуй, — заставить замолчать некоторых выскочек справа, слишком неумеренно кричащих о генеральском кулаке, как об единственном средстве... Все это было до странности плоско и наивно. Но я решительно не могу отыскать в истории иных объяснений для этой глупости.

Состав «Совещания», рассчитанный тысячи на две души, своей нелепостью и искусственностью, соответствовал почтенному назначению всего предприятия. Тут было 100 делегатов от Ц. И. К., столько же от профессиональных союзов, затем сколько-то от кооперативов, сколько-то от крестьянских организаций — и все это считалось, повидимому, представительством демократии. Дальше шли «внеклассовые» учреждения: армия, земства и города, духовенство, учебные заведения и всякие другие. За ними следовали классовые организации имущих

классов: земельные собственники (крупные и мелкие), биржа, союзы всяких промышленников, торговцев, четыре Гос. Думы, разного вида казаки и прочие, им же имя легион. «Представительство» было, между прочим, смехотворно потому, что большинство представленных учреждений находило одно на другое, и делегат каждой организации был одновременно «избирателем» в большинстве других: представитель какого-нибудь профес. союза был членом совета, муниципалитета, кооператива, казацкой организации и т. д. Но как бы то ни было, рабочие и солдатские органы совершенно тонули в массе «всего населения». Это и требовалось — для правильного выявления воли страны... Что же касается программы «государственного совещания», то предполагалось только — взаимно выслушать заявления друг друга, а затем с миром разойтись.



Буржуазные фракции Совещания и весь «цвет российской общественности», в лице их лидеров — с'ехались в Москве уже в первых числах августа. Частные совещания следовали одно за другим. И очень быстро образовался блок плутократии, который стал заседать в Университете на Моховой — под именем «совещания общественных деятелей». В тесном контакте с ним была и Ставка, и весь генералитет. Номинальным и почетным главой этого комплота был думский патриарх Родзянко. Но фактически вдохновляли и руководили кадеты.

За два дня до открытия «земского собора» (так выражались иные о затее Керенского) это « совеща-

ние общественных деятелей» против нескольких голосов приняло резолюцию, предложенную Милюковым... Каков был смысл этой резолюции, в чем заключался стержень всех этих пересудов, к чему сводились все цели и вождедения, — совершенно ясно: это была полная ликвидация политического влияния «советов и комитетов»; это была фактическая диктатура буржуазии, созданная на основе ныне существующей, формальной и номинальной; это было, в частности, закрепление армии — абсолютно и безраздельно — за официальной военной и гражданской властью, ныне послушной плутократии. Поэтому, в частности и в особенности, боевым пунктом всех вождедений, пересудов и резолюций тут являлось уничтожение выборных армейских организаций и передача всей власти командному составу... Военные сферы уже давно муссировали этот вопрос. Главнокомандующий Корнилов, после своего ультиматума, именно в эти дни делал решительные «представления» Керенскому, который колебался. И в общем наступательный союз генералов с империалистами-биржевиками был заключен на этой почве, в начале августа, у всех на глазах. Какие-то решительные выступления этого союза стали в эти дни даже связываться с самым «государственным совещанием». — Так обстояло дело с крупной буржуазией, готовящей контр-революцию.

В заседании 10 августа вопрос о московском совещании был поставлен в Ц. И. К. Докладчики, Вайнштейн и Либер, указывали, что «Совещание» созывается на предмет получения опоры и расширения базы правительства. Но темные силы хотят воспользоваться «Совещанием», чтобы нанести удар револю-

ции и нынешнему составу правительства. Поэтому, кто не пойдет на «Совещание», тот не желает участвовать в спасении страны. Ц. И. К. должен принять участие в его работах, развернуть свою программу (8 июля) и призвать к жертвам имущие классы... Левые эсеры, потребовав закрытия дверей, сообщили известные им «факты» — о том, что к моменту «Совещания» приурочивается реализация заговора правых. Большевики и группа Мартова требовали решительных мер против заговоров, но предлагали не участвовать в московском с'езде, чтобы не придать ему действительно «государственного» авторитета... Однако, было решено: участие в совещании принять.

И затем был принят весьма характерный «регламент» для делегации Ц. И. К. Смысл его заключался в том, чтобы перед внешним миром, в хорошем обществе не допустить ни малейших проявлений вредного духа советской оппозиции. Ни члены делегации, ни даже фракции, согласно этому «регламенту», не могли ни выступать на «совещании», ни даже подписывать заявления. Не признающие этого не могут участвовать в делегации. Делегация же (100 чел.) пользуется на с'езде всеми правами Ц. И. К. Вся оппозиция заявила свой протест против всей этой предусмотрительности и даже покинула зал заседаний. Регламент был принят в отсутствие левых. Но правые, сконфузившись, все-таки включили в делегацию интернационалистов и даже большевиков.

Перед самым отъездом делегации в Москву стало известно, что помощник Керенского, управляющий военным министерством, Савинков, вышел в отставку. Савинков был полнейшим единомышленни-

ком Корнилова, и они только-что вместе подали Керенскому доклад, где требовали — скрутить армейские комитеты и ввести смертную казнь в тылу. Керенский колебался между Ставкой и звездной палатой, которая не соглашалась и давила через эсеровский партийный центр. комитет. Корнилов, при таких условиях, решил идти своими путями, а Савинков подал в отставку. В этом можно было усматривать рецидив влияния Совета. Но это пустяки: отставка была не серьезной, — это была скорее фронда. Ведь Савинков, alter ego Корнилова, был не кадет, а свой человек — министр-социалист и знаменитый террорист-эсер...

Но вот Пальчинский, наперсник Керенского, был действительно уволен в отставку, чуть ли не в тот же день. Это можно было бы на самом деле признать уступкой требованиям демократии. Но дело в том, что «уволив» Пальчинского от должности товарища министра торговли (Прокоповича), Керенский, конечно, не думал отказываться от ближайшего сотрудничества с этим почтенным деятелем: вскоре мы встретимся с Пальчинским в качестве петербургского «генерал-губернатора».

В ночь на 11-е делегация Ц. И. К. выехала в Москву. Там она встретилась с другими демократическими делегациями — проф. союзы, кооперация, часть земств и городов, часть казаков, часть педагогов и т. д. В течение дня и следующей ночи, также в Университете на Моховой, происходили непрерывные совместные совещания. Целью их было, однако, не создание комплота, не создание оборонительного или наступательного союза революции, не стовор всех элементов демократии против объединенного фронта буржуазии. Целью разгово-

ров тут было просто на просто выступление на «Совещании» с единой декларацией «от имени всей демократии». Это, видите ли, должно было усилить вес каждого ее слова, а также и вес демократии вообще...

Основы декларации и вырабатывались на предварительных заседаниях. При этом эсеровские земства и города, а особенно шумная, вполне обывательская кооперация, конечно, неудержимо тянули вправо. Рабоче-солдатский Ц. П. К., в «интересах единства», конечно, уступал. И, само собой разумеется, что декларация, «в интересах единства», вышла урезанной, трусливой и бессодержательной даже в сравнении с жалкой «программой 8-го июля». — Так обстояло дело с мелкой буржуазией, попустительствующей контр-революции...

Мы можем наблюдать характерные черты даже в подготовке к московскому «совещанию»: в густой атмосфере какого-то подготовляемого покушения, к р у п н а я буржуазия вышла у с и л е н н о й, из предварительных частных комбинаций, а п р о м е ж у т о ч н ы е группы — резко ослабленными. И все это было при несомненной гегемонии Совета среди демократических организаций... Формально, номинально — предварительными совещаниями руководил Чхендзе, а фактически вдохновлял, «тащил и не пущал» Церетели. Второго, левого столпа звездной палаты в это время не было в Москве — в виду семейного горя: у Дана только что умерла страстно любимая дочь, ребенок выдающихся способностей.

Советская оппозиция, особенно большевики — относились к «Совещанию» резко отрицательно. Сама по себе московская затея уже давно служила пред-

метом их издевательства. А в связи со слухами о покушениях на *супр д'э́та* массы всерьез ополчились на это почтенное предприятие. В Петербурге было констатировано брожение в рабочих районах. На Невском оно откликнулось в виде слухов о предполагаемых новых «выступлениях» большевиков. Начальство немного встревожилось, но ему было уже некогда: экстренный поезд в Москву стоял уже под парами. Впрочем, меры были все же приняты: городскому голове, либеральному эсеру Шрейдеру, было предложено остаться в Петербурге. Авторитет почтенного мэра, конечно, был гарантией спокойствия столицы. Министры уехали, оставив двоих или троих для текущих дел.

Но и в Москве, на патриархальность и смирение которой уповали многие, рабочие районы неожиданно оскалили зубы. Местные большевистские организации призывали рабочих к демонстративной забастовке в день открытия «Совещания». И были все основания ждать, что забастовка удастся. Это было бы совсем неприличной встречей правительства и Ц. И. К. На то ли перенесли «Совещание» из красного, большевистского, опасного Петербурга? И куда же девать после этого Учр. Собрание?...

В дело вступила тяжелая артиллерия в лице московского совета. Пока Церетели и Чхеидзе вели дипломатию с кооператорами насчет тех, а не этих слов в обще-демократической декларации — в московском совете, накануне «Совещания», происходил жаркий бой. В результате его было решено 354 голосами против 304 не устраивать однодневной забастовки в связи с московским «совещанием». Однако, большевики продолжали призывать к ней. Они опять спорили с советами. Ну, что ж! Грядут

щий день покажет, где авторитет и сила. Он в значительной степени может показать и то, кому пристало ныне говорить от «имени всей демократии»...

Так обстояло дело в пролетарских низах, продолжавших борьбу за революцию.

* * *

Вечером 11-го числа я выехал в Москву из Ярославской деревни. Я вошел в поезд, шедший из Костромы, на одной из станций за Ярославлем. Но поезд был уже набит битком, и в вагонах всех классов можно было только стоять на ногах всю ночь. В Ярославле, опираясь на свое звание члена Ц. И. К., я проник в какой-то служебный, воинский, почти пустой вагон. Солдаты пустили меня довольно охотно, и я был в восторге от такой удачи. Но из этого вышел довольно неприятный анекдот. Я имел наивность снять ботинки, которых не оказалось на месте, в тщательно охраняемом воинском вагоне, когда я случайно проснулся часа через два. Сознание исключительной глупости моего положения уже не дало мне больше заснуть. А на московском вокзале, удивляя толпу моими голыми носками, я пробрался к коменданту и от него часа два вызванивал по случайным телефонам, не может ли кто из моих знакомых привезти мне на вокзал пару сапог... Все это были довольно характерные штришки для тогдашних путешествий.

Знакомого с лишней парой сапог я, наконец, отыскал. Но привезти их оказалось труднее, чем можно было ожидать. Трамваи в Москве не ходили.

Да и извозчиков почти не было на улицах. В Москве была забастовка... Она не была всеобщей, но была очень внушительной и достаточной для демонстрации воли масс. Бастовал ряд фабрик и заводов. Бастовали все городские предприятия, за исключением удовлетворяющих насущные нужды населения. Бастовали рестораны, официанты и даже половина извозчиков... Вся эта рабочая армия пошла за большевиками против своего совета. К вечеру демонстрация должна была стать еще более ощутительной: Москва должна была погрузиться во мрак, так как газовый завод бастовал в числе других предприятий.

В чужих огромных сапогах я пешком отправился разыскивать советскую делегацию. Мимоходом я зашел в бюро журналистов (где-то около почтамта), повидаться с корреспондентом «Новой Жизни», присланным на «Совещание». Это был старый сотрудник «Современника», «Летописи», а затем и нашей газеты, Керженцев, — впоследствии яростный укрепитель основ большевистского строя и посол в Швеции от Р. С. Ф. С. Р. В те времена и много после он еще не внушал никаких подозрений по большевизму...

В бюро журналистов было вавилонское столпотворение: целые сонмы почтенной «пищущей братии» боролись все против всех за места на «Совещании». Шум, волнение и игра страстей достигли совершенно исключительных пределов. На этой улице был поистине праздник и большой день. И уже одной этой картиной беснования газетчиков определялась вся огромная историческая важность московского «государственного совещания». Ведь добрые две трети его удельного веса зависели от заинтересо-

ванности в нем газетных репортеров. Среди кутерьмы и всеобщей свалки я, конечно, не нашел Керженцева и поспешил выбежать вон.

Отыскать в Москве советскую делегацию оказалось не так легко. Я зашел в московский совет, в знаменитый генерал-губернаторский дом, жизнь которого я наблюдал много лет тому назад, из пункта моего первого заключения, из тверского участка, расположенного напротив. В этом доме сейчас бежали и жужжали массы людей, занятых какими-то серьезными делами. Но насчет местопребывания Ц. И. К. мне давали смутные и неустойчивые показания. Наконец, благодаря случайным встречам, я разыскал делегацию в ее общежитии, где-то на Тверской, в пустующем лазарете для раненых.

Там я застал наших советских людей уже на ходу: все уже собиравшись на открытие «Совещания»... Но кроме того тут явно произошел какой-то скандал. В разных местах группы делегатов о чем-то ожесточенно спорили и что-то рассказывали про большевиков. Мимо меня пробежал с кем-то Чхендзе, чрезвычайно удрученный и озабоченный. Мы не остановились поговорить после долгой разлуки и едва поздоровались друг с другом. Наши прежние — не близкие, но взаимно благожелательные отношения — уже давно отошли в область преданий...

Скандал, как оказалось, состоял в том, что большевистская фракция ныне обнаружила свои действительные намерения: большевики решили огласить на «Совещании» свою декларацию и затем демонстративно покинуть зал. О, ужас! Ведь это может произвести переполох, может нарушить атмосферу «взаимного понимания», может набросить тень на «всю демократию». Да кроме того ведь это про-

тиворечит принятому регламенту. И зачем это «бради с собой» этих большевиков, вечно стоящих попереk дороги!

Большевистскую фракцию прижали к стене и решительно потребовали отказа от ее намерений. Большевики, без серьезного сопротивления, уступили и возвратили свои билеты на «Совещание». Для них, бывших с массами, для них, за которыми шли массы, все это дело, вместе взятое, не стоило борьбы. Да я и не помню, чтобы кто-нибудь из их крупнейших лидеров приехал ради «Совещания» в Москву. Налицо не было ни Каменева, ни Луначарского, — и лишь второстепенные персонажи, провожая меньшевиков и эсеров, спешивших в Большой театр, желали им счастливых об'ятий с Милюковым и Родзянкой.

Кстати сказать, в день открытия «Совещания» газеты сообщили, что Родзянко ходатайствует о принятии его в состав донского казачества. Добрый путь в Новочеркасск, для счастливых об'ятий с вереницей будущих главнокомандующих контр-революционными войсками!.. И в тот же самый день у нас в «Новой Жизни» появилось подробное сообщение о том, как Родзянко, в недавнюю до-революционную эпоху, наживался на поставке для армии негодных ружейно-ложевых болванок. Не очень уместна была эта выходка «презренной» газеты в торжественный для биржевого патриота день! Дерзкая же и бестактная газета была обязана этой сенсацией ни кому другому, как своему сотруднику в отделе хроники, будущему знаменитому большевистскому дипломату и министру — Карахану... Впрочем, это не надо понимать так, будто Карахан не был и не остается честным, заслуженным революционером и исключительно милым человеком, на личных качествах ко-

торого — не в пример всеобщему правилу — никак не отразилось потом его чрезвычайно высокое положение.

* * *

Великолепный зал Большого театра сверкал всеми своими огнями. Снизу доверху он был переполнен торжественной и даже блестящей толпой. О, тут был поистине весь цвет русского общества! Из политических малых и больших «имен» не было только случайных несчастливцев... Вокруг театра густой цепью стояли, держа охрану, юнкера — единственно надежная для Керенского сила. Тщательный, придирчивый контроль останавливал на каждом шагу и внутри театра. Но все же, войдя в партер, я едва мог пробраться к своему месту через плотную, сгрудившуюся у дверей, сверхкомплектную толпу...

Я опоздал к началу. И, еще не видя, я слышал, как Керенский патетически заливается на высоких нотах, произнося свою первую речь от имени Вр. Правительства.

Я, конечно, не стану следить за ходом «государственного совещания». Всего на выступления ораторов было заранее ассигновано 22 часа. Говорили немного больше. Я не буду ни излагать, ни перечислять речей — даже наиболее крупных. Отмечу только наиболее характерные, на мой взгляд, моменты «Совещания».

Как явствует из предыдущего, большого интереса ко всему этому предприятию я не питал. Был я, кажется, не на всех заседаниях и почти всегда сильно опаздывал. Некоторые «кульминационные

пункты» были достигнуты без меня. Но и виденного и слышанного мною было за глаза достаточно.

На огромной сцене театра, расширенной за счет оркестра, было негде упасть яблоку. Там помещался целый полк журналистов, русских и иностранных, затем почетные гости, особо приглашенные ветераны революции, затем не знаю, кто еще. А на авансцене, с левой стороны, стоял длинный торжественный стол, за которым сидели министры. Позади Керенского обращали на себя внимание два адъютанта, стоявшие, как истуканы, все 22 часа. С правой стороны авансцены возвышалась ораторская трибуна, задрапированная красным... Блестящий зрительный зал довольно резко разделялся на две половины: направо (от председателя) располагалась буржуазия, а налево демократия. Направо, в партере и в ложах, видно было не мало генеральских мундиров, а налево — прапорщиков и нижних чинов. Против сцены в бывшей царской ложе разместились высшие дипломатические представители союзных и дружественных держав... Наша группа, крайняя левая, занимала небольшой уголок партера в 3-м или 4-м ряду.

Речь министра-президента была не только патетической, но раздраженной и вызывающей — налево и направо. Керенский, казалось бы, должен был произнести программную речь от имени правительства. Но никакой программы он не дал. Мало того: было бы напрасно искать в его полуторачасовой речи какого-либо делового содержания. Этого не было... Но с неожиданной щедростью премьер сыпал угрозы направо и налево, всем врагам революции, уверяя, что он, Керенский, имеет в своих руках всю власть, огромную власть, что

он силен, очень силен и сокрушит, и сумеет подчинить себе всех, кто станет на пути спасения родины и революции. Кроме того, в речи было немного великодержавности, немного общесоюзного патриотизма и целое море мещанской, обывательской публицистики. Впрочем, пышно-расплывчатые фразы Керенского дышали неподдельной искренностью и искренней любовью к родине и свободе. Несомненно, в этой речи он дал высокие образцы политического красноречия. И опять был на высоте великой французской революции, но — не русской.

Конечно, при упоминании о доблестных союзниках и о дружбе с ними «до конца», последовала неистовая овация всего зала по адресу послов. Все встали и обернулись к царской ложе, — только мы, человек двадцать-тридцать, остались сидеть. Раздались соответствующие возгласы: «встаньте!» «немецкие!»... «позор!»... Это было первое искушение страстей.

Почти все первое заседание было занято министерскими речами. В речи Авксентьева каждое слово твердило всем присутствующим о нестерпимой бездарности министра внутренних дел. Но все же можно и должно отметить: второй эсеровский министр, как и Керенский, давно забыл и «землю и волю» и прочие специфические лозунги. Теперь Авксентьев напирал на единственный — общенациональный лозунг: «государственность и порядок!»... Государственность и порядок — это звучит очень хорошо. Господь его знает, Авксентьева! говорил ли он так потому, что позабыл о Тьере, или потому, что вспоминал о нем...

Другое дело Некрасов. Тут было все ясно и просто. Заместитель министра-президента, в качестве мини-

стра финансов, развернул удручающую картину нашего финансового хозяйства. Причины: — ведение непосильной войны? Отсутствие налоговых поступлений и т. п.? — Ничего подобного. Разоряют потребности революции: содержание продовольственных и земельных комитетов и увеличение заработной платы рабочим казенных предприятий... А программные меры: — Прекращение войны? Обложение имущих?... Нет, — Некрасов заявил: экономия расходов — во имя войны, а с имущих классов, уже переобремененных, взять больше нечего, иначе промышленность погибнет... Некрасов умел учитывать конъюнктуру, — это был «государственный человек». Он знал, где и когда подобная наглость пройдет безнаказанной и встретит поддержку.

Министр торговли, Прокопович, дал сводный цифровой отчет, за себя и за Пешехонова. О нем сказать нечего... Правительственные выступления были кончены. Остальные министры не выступали. Иные были ясны без слов. А Чернов, хотя дебют его здесь был бы до крайности любопытен, слова не получил, чтобы не дразнить гусей. Он, сидя за красным министерским столом, помалкивал и посмеивался, но — едва ли от большого веселья.

* * *

На следующий день пленарного заседания не было. «Совещание» разбилось по делегациям, которые отдельно обсуждали правительственные речи. Утром я зашел в университет, в аудиторию № 1, так хорошо знакомую по студенческим годам. Там заседали меньшевики. Говорили все одно и то же, и скука была нестерпимая. Я записался к слову, но ушел, не до-

ждавшись очереди... Затем я, по личному делу, уехал на этот день из Москвы и вернулся только через сутки, к концу утреннего заседания пленума.

Когда я вошел в залу, на трибуне стоял знаменитый казачий генерал Каледин, один из крупнейших вождей контр-революции в будущей гражданской войне. Весь зал был наэлектризован. Одна часть собрания яростно ошестинилась на другую. Было очевидно, что сегодня что-то дало обильную пищу страстям.

— Для спасения родины, — говорил Каледин, — мы намеряем следующие главнейшие меры. Армия должна быть вне политики. Полное запрещение митингов и собраний с партийной борьбой и распрями. Все советы и комитеты должны быть упразднены, как в армии, так и в тылу, кроме полковых, ротных, сотнических и батарейных, при строгом ограничении прав и обязанностей в области хозяйственных распоряжков. Дисциплина в армии должна быть укреплена самыми решительными мерами. Вождям армии должна быть предоставлена полная власть.

Все эти заявления, конечно, встречались бурей восторга со стороны правого большинства собрания... Но оказалось, что это только продолжение. Начало положил целый ряд ораторов объединенной буржуазии. А незадолго до Каледина с тою же программой выступал главнокомандующий Корнилов. Его выступление было сплошным и продолжительным триумфом, в котором, за вычетом нашей кучки, приняла участие и «демократия»: помилуйте, ведь мы же все патриоты, а это выступает вождь нашей революционной армии!...

Корнилова торжественно приветствовал и министр-президент, заявивший, что правительство вы-

звало Корнилова на «Совещание» — доложить о состоянии и нуждах фронта. Но это была дипломатическая неправда: Корнилов явился самовольно, вопреки выраженной воле Керенского. И после демонстративного посещения знаменитой Иверской часовни, «солдат», без лишних слов, очутился на всероссийской политической трибуне как розоперстая заря надежд объединенной плутократии.

Корнилов в ярких красках, с фактами в руках, нарисовал печальную картину развала, царящего в армии. И всенародно требовал немедленного проведения тех мер, которые он наметил в вышеупомянутом докладе правительству. Каледин повторил их целиком, упустив разве только смертную казнь и полевые суды в тылу. И я уже упомянул, что эта программа Корнилова была принята «совещанием общественных деятелей», то-есть всем буржуазным большинством, в качестве ударного боевого пункта момента.

Конечно, буржуазия в этом не ошиблась. За полгода революции она, от мала до велика, сознала, где корень зла. А ее верхи отлично понимали, что ее борьба за армию сейчас может иметь только такую форму. Ведь в открытом, «честном» споре с Советом буржуазия была побеждена «до конца»: армия была в полном распоряжении Совета... поскольку этому не мешало влияние большевиков. И теперь у буржуазии мог быть только один лозунг: ликвидация «комитетов и советов» и полная власть командирам. В конечном счете этим достигалось все, этим убивались оба зайца — и «полная победа» (для командиров-«солдат»), и полная власть для буржуазии.

* * *

Но что отвечала на это левая часть собрания?... Как раз вслед за Калединым на трибуну поднялся Чхендзе. Ему было поручено выступить «от имени всей демократии». Чхендзе перечислил длинный ряд всяких демократических организаций, от имени которых он выступает. Подлинной демократией, рабочими и крестьянскими массами здесь и не пахло; говорить от их имени Чхендзе, на деле, уже не имел права; для них Чхендзе уже был в числе тех, против кого массы устроили забастовку протеста. (Sic transit!) Это была только уродливая тень главы того Совета, который некогда повелевал народными стихиями, поднимая волны с самого дна и укрощая ураганы одним своим волшебным словом. Тяжко было видеть эту тень Чхендзе перед лицом вражьей армии, оскалившей волчьи зубы. И смешно было слышать наивные заявления от имени «всей демократии», когда на деле за спиной оратора стояли лишь группы мещан, принимаемых им за народные массы.

Но был тут и еще грех. Перечисляя организации, от имени которых он выступает, Чхендзе, инспирированный друзьями, и не заметил, что среди всевозможных союзов служащих, комитетов вечных воинов и «председателей продовольственных комитетов» он утопил, без стыда и жалости утопил единый, «полномочный» Совет. И в самом деле — если так, то зачем он нужен?...

Но что же говорил Чхендзе «от имени всей демократии»?... Чхендзе огласил декларацию. Это была новая «программа демократии», программа 14-го августа, — в дополнение и развитие предыдущих. Она длинна и цитировать ее я не стану. Мне пришлось достаточно говорить о жалкой бумажонке

8 июля. Новый документ по существу не давал ничего нового, но он несравненно ярче демонстрировал полную капитуляцию Совета перед наступающей плутократией.

Буржуазные верхи сделали своим боевым лозунгом уничтожение армейских комитетов и полновластие командиров. Это был путь к диктатуре буржуазии; но легальным предлогом для этого была «война до конца». Может быть, «демократия» разоблачила это, поставив на вид, что цель преступна, а предлог не легален? Может быть, она «полномочно» заявила, что на очереди стоит мир, а не война, и всю дискуссию, если она нужна, следует перенести в эту плоскость?... Увы! все это воспоминания далекого прошлого. Ведь теперь такой авторитет, как Терещенко, заявил на днях, что уже никто не думает о мире. И «демократия» должна была это доказать. В декларации есть мимолетное упоминание о мире, но гораздо более неопределенное и менее обязывающее, чем обычные заявления Ллойд-Джорджа и Рибо.

И это вполне понятно. Ведь вся декларация имела целью доказать, что советы, комитеты и их программа совершенно безвредны для буржуазии: ибо они «общенациональны». «В лице своих советов революционная демократия не стремилась к власти, не искала монополии для себя, а поддерживала всякую власть, способную охранять интересы страны и революции... Требуя от власти более последовательного выполнения программы 8 июля, демократия защищает не исключительно интересы каких-нибудь отдельных классов, а общие интересы страны и революции»... И т. д.

Ни слова обвинений буржуазии за саботаж и

контр-революцию: во всем виноват старый режим. «Армейские комитеты должны получить законодательное закрепление своих прав» — каких?...

Программа мероприятий по внутренней политике изложена очень детально и топит существенное в совершенных пустяках. При этом «требования», предполагающие диктатуру буржуазии, как совершившийся факт (опять «право коалиций»!), пересыпаны вводными фразами: «по мере возможности», «поскольку это возможно»... А в ответ обещается и «борьба с несознательностью рабочих масс», и содействие размещению займов, и другие блага.

Впрочем, борьбы с земельными захватами и напряжения всех сил для обороны — «демократия» не обещает: этого она требует от правительства, — чтобы как можно больше походить на помещиков и биржевиков. И в заключение, конечно, призыв «к поддержке Вр. Правительства, облеченного всею полнотой власти»...

В общем, документ этот было тошно слушать, и теперь противно вспоминать.

Но после заседания обыватели говорили, а газетчики писали, что «Совещание», видимо, не удалось, что цель его не достигнута: взаимного понимания не видно, слияния душ не замечается. Ораторы, как и все собрание, делятся на две части. Одни из них присоединяются официально к Чхеидзе, другие к Родзянке и к его декларации от имени Гос. Думы. Трещина не замазана, правительство не укреплено.

Однако, совершенно ясно, что господином положения тут была буржуазия. И она никуда сдвинуться с места не могла. Она свободно и легко тащила на аркане «всю демократию». Замазывать трещину, стало быть, приходилось именно лидерам

мещанства. Нельзя же, в самом деле, чтобы «Совещание» не достигло цели и чтобы правительство не было укреплено.

На следующий день трещину стал замазывать Церетели. Он жонглировал, увещевал, совершал диверсии, призывал и обещал — на совесть. Мы жертвуем всем, но пусть жертвуют и другие! Советы перестанут играть роль, но нельзя убирать леса, пока не достроено здание революции. Мы стоим за армейские организации, но разве при Гучкове, а не при Керенском армия пошла в наступление? Мы требуем всей власти демократическому правительству и опасаемся козней справа, но разве мы не пошли на все, на самые крайние меры борьбы с большевиками?...

Все это было очень искусно и тонко. Но трещины не замазывало. Все это были святые истины, которые вся буржуазия знала. Но в том то и дело, что этого ей было недостаточно. Ей надо было не замазать трещину, а просто превратить в ничто тех, кто был по другую сторону... Когда после Церетели вышел Милюков, он отдал дань ухищрениям Церетели, но поспешил сам взять быка за рога. Речь Милюкова на «Совещании» является довольно замечательным историческим документом. Он изложил в ней, в общем довольно правильно, историю взаимоотношений между буржуазией в лице Вр. Правительства и демократией в лице Совета. И он дал яркие иллюстрации слабости, дряблости и политической незрелости наших имущих классов, бесконечно облегчивших победу над ними советских «низов». «Но теперь, — говорил Милюков, — сознание государственных элементов вполне прояснилось. Теперь ситуация ясна»...

Вот тут Милуков и вспомнил наш старый разговор с ним в Марининском дворце — на тему о том, где центр и гвоздь нашей революционной кон'юнктуры:

— Революционные партии, получившие силу потом, с самого начала развивали ту тактику, точную формулировку которой я слышал тогда, в первые дни революции от одного видного социалистического деятеля: все зависит теперь от того, за кем пойдет армия, за вами или за нами? Такая постановка вопроса была для нас неожиданна, и я вспомнил доклады, представленные на конференции в Кинтале Аксельродом, Мартовым и Ланинским. Там значилось: армия должна быть демократизирована для того, чтобы обезоружить буржуазию...

Это, очевидно, также было неожиданно. Вообще, профессор Милуков, выполняя свою историческую миссию, не сознавал, видите ли, ее действительной сущности; и потому выполнял ее не особенно хорошо. Но теперь он достаточно проникся классовым самосознанием. И, хотя, воздержался в своей речи от «окончательного вывода», но все же отлично выявил перспективы. Советские главари, «циммервальдцы», и большевики *mutatis mutandis* — едино суть. И не только отдельные лица преступны: преступны самые идеи, до сих пор торжествовавшие в революции. Поддержку правительству, провозглашающему лозунг «государственность и порядок», мы дадим, — говорил Милуков. Но правительство должно же понимать, какое употребление оно должно сделать из этой поддержки. А не то...

В «Совещании» с большим любопытством ждали выступления Рязанова, единственного большевика, получившего слово — от имени профессиональных

союзов. Рязанов считался *enfant terrible*; и не только в виду его большевизма, но, главным образом, в виду его темперамента — во время его выступления ожидался скандал. Рязанов знал об этом и проявлял признаки большого волнения, сидя в бенуаре, в двух шагах от моего кресла... Но скандала не получилось. Рязанов был скромен в выражениях. А когда все же начался шум и возгласы, и Керенский стал унимать «патриотов», Рязанов неожиданно кончил речь и ушел с кафедры. В своем волнении он истолковал слова председателя в том смысле, что его срок истек... Но, в конце концов, Рязанов, с своей стороны, не мог не способствовать углублению трещины. Рязанов говорил, а Корнилов и Родзянко, слушая, думали: ведь и Церетели с Чхеидзе таковы же, только прикидываются!

А затем пошли банковские тузы и акулы биржи — Озеров, Кутлер, Дитмар, Рябушинский. Эту серию увенчал гражданин Бубликов, выступивший с вакхическим гимном промышленности и торговле. Чем должны быть они? Всем — ради родины и самой демократии. Что они сейчас? — Ничто: промышленность дышит на ладан, разоряемая революцией, а «торгово-промышленные классы» устранены от государственной работы. *Il faut changer tout cela!*... У всей правой части загорелись глаза. Трещина превращалась в пропасть... «Совещание» решительно не удавалось.

Но вдруг Бубликов, сойдя с трибуны, подошел к Церетели и всенародно протянул ему руку. Церетели встал и ответил тем же. Весь зал внезапно умирался и задрожал от рукоплесканий. Как будто бы что-то преломилось в настроении собравшихся... А ведь, пожалуй, «Совещание» и нельзя будет считать опре-

деленно неудавшимся... А? как вы думаете?... Еще бы, — ведь эти две сцепленные руки и изображали тот аркан, на котором помещик и биржевик тащили «всю демократию».

Но — «по общему голосу» — Совещание спас вождь и основатель российской социалдемократии, Г. В. Плеханов. Представляя на «Совещании» только самого себя, Плеханов был вызван Керенским на трибуну в числе других «икон» русской революции — Кропоткина, Брешковской. И Плеханов нашел «настоящие» слова, нашел «общий язык» для двух частей собрания, создав иллюзию взаимного понимания и сотрудничества — для безнадежных обывателей. Слова Плеханова были просты, язык незатейлив, хотя речь его была красна... Разве, с одной стороны, не твердят советские лидеры, что мы делаем буржуазную революцию? И разве можно делать ее без буржуазии? А с другой стороны, может ли существовать развитое капиталистическое общество без рабочего класса и его организаций?... Если нет, протяните друг другу руки, придите к соглашению во что бы то ни стало, не изображайте тех двух кошек из ирландской сказки, которые дрались так жестоко, что от них остались одни хвосты.

Ну, что ж! Если ничего другого нет, то для газетчиков сойдет и это. Ведь обыватель так многого ждал от московского совещания, хотя и неизвестно, чего именно. Ведь сами же газетчики так рекламировали его историческое значение. Так не лучше ли, чем разочаровывать его «неудачей», представить дело так, будто бы нужные слова были все же сказаны, что цели достигнуты, что все в конце концов друг друга поняли, а революционная власть

из Москвы вышла укрепленной и sprыснутой живой водой.

В заключение всех речей снова выступил Керенский. Очевидно, он был измучен и нервно потрясен до последней крайности. Его речь была гераклитовски темной, если не сказать сумбурной, и, наконец, он замолк среди совершенно неясных фраз и выкриков.

Так кончилось «государственное совещание» — в ночь на 16 августа... Никакого политического дела, конечно, из него не вышло. Но все же вышел довольно любопытный всенародный смотр буржуазии и промежуточных, мелкобуржуазных групп, оторванных от масс, которые в конечном счете были призваны решить судьбы революции.

* * *

В один из этих дней нашего пребывания в белокаменной, за Москвой-рекой, в Коммерческом Институте (впоследствии «Карла Маркса») был устроен митинг меньшевиков-интернационалистов. Огромная аудитория была набита битком и с энтузиазмом приветствовала Мартова при нашем появлении. Это было любопытно и показательно. Но еще любопытнее было то, что Мартову, как лидеру нашей группы, был прочтен «адрес» от имени местного комитета большевиков. В нем отмечались выдающиеся заслуги Мартова и выражались пожелания, чтобы в ближайшем будущем состоялось наше объединение...

Между прочим, после речей, в числе других, Мартову был задан вопрос: следовало ли устраивать забастовку-протест против «Совещания»? Мартов ответил, что однодневную демонстративную забастовку

устроить было, пожалуй, полезно, но совет высказался против нее, а нарушать его волю не следовало.

Из Москвы мы выехали со специальным поездом в ночь на 17-ое. Пыле не без сожаления покидали гостеприимную древнюю столицу, а в частности — наш лазарет-общежитие, где нас кормили на убой, давно невиданными яствами: в Петербурге большинство нас уже давно начало порядочно голодать, и разница в продовольственном положении столиц была тогда огромная.

Для номера «Новой Жизни» от 18-го числа я уже подводил итоги «государственному совещанию». Лежащая передо мной статья в общем правильно их оценивает; но — она называется «Пиррова победа на московском фронте». Это неудачно: очевидно, тогда мне было не столь ясно, что у «победителей», не в пример царю Эпира, не было никакого войска еще до победы.

Но, спрашивается, почему же «победа», почему «победители»?... Да, как это ни странно, но межеумочные газеты — и представьте: с «Известиями» во главе — уже трубили «победу демократии» на московском «Земском Соборе». То же, зевая, повторяли мамелюки, то же строго, не допуская возражений, об'являли приближенные звездной палаты... Где? Откуда? Какими логическими путями доходили эти люди до таких умозаключений?... Этого я объяснить не могу. Но не правда ли, хороши были советские перспективы, когда лидеры ухитрялись принимать за свою победу утерю последних остатков своих сил, самостоятельности и достоинства?

* * *

В своей вступительной речи на московском «совещании» Керенский бросил грозный окрик по адресу Финляндии, обещая использовать — в случае чего — всю полноту своей неограниченной власти. В самом деле — финны решили собрать самочинно свой распущенный сейм и назначили этот бунт против российской государственности на 16-ое августа... Разумеется, были приняты решительные меры. Они выразились в том, что 16-го августа здание сейма было занято каким-то отрядом войск — очевидно «сводным» — и в это здание никого не пропускали. Это было очень внушительно. Но что же дальше?

Дальше было бы еще более внушительно, если бы финны пошли на дальнейшее развитие конфликта и апеллировали к наличной силе — к гельсингфорскому совету солдатских и матросских депутатов. Но финны на это не рискнули. Финская «государственность» не стала связывать свою судьбу с подлинной российской демократией. Финны удовольствовались тем, что показали себя хозяевами положения, а петербургских правителей — не реальной величиной... Сейм собрался в другом месте. Но правые партии не явились, и депутатов оказалось не больше половины. Работать при таких условиях сейм не стал и ограничился протестом против насилия демократического правительства.

Но, разумеется, депутаты могли бы явиться in corpore и провести сессию с полным успехом. По-рукой в том было состоявшееся накануне чрезвычайное собрание местного совета. Там была принята резолюция, признавшая, что роспуск сейма не соответствует принципам демократии; собрание признало недопустимым участие в разгоне сейма военных сил, имеющих представительство в совете.

Настроение моряков было гораздо более решительным. Но явившиеся в совет финские с. д. раз'яснили, что они вовсе не желают конфликта и просят за них не «заступаться», что собрание сейма им нужно всего на один час для решения спешных вопросов и т. д.; при этом, однако, финны напомнили, что поводом к разгону сейма был его акт, предпринятый в полном соответствии с решением всерос. с'езда Советов... Тогда собрание солдат и моряков решило ограничиться поддержанием порядка в городе и создало для этого особые вооруженные кадры... Впрочем, 16-го августа и не было никаких попыток нарушить порядок. После протеста депутаты разошлись.

6. ОТ ДИКТАТУРЫ БУТАФОРСКОЙ К РЕАЛЬНОЙ ДИКТАТУРЕ

Дело о смертной казни в Совете. — Поражение Церетели. — Дело об арестах. — Звездная палата шатается. — Госуд. Дума или Учр. Собрание? — Две армии. — Ц. И. К. мечется между ними. — Всеросс. конференция меньшевиков. — Выборы в Гор. Думу. — Видят ли теперь большевиков? — Маленькое предупреждение справа. — В Смольном. — Прорыв под Ригой. — Донесения комиссаров. — Позиции буржуазии. — Пораженчество патриотов. — Реляции Ставки. — Ее разоблачение. — Поражение на фронте и демократия. — Петербургский гарнизон. — В Ц. И. К. — Я «хуже Володарского». — Закрывают «Пролетарий». — Солдатская секция о выводе гарнизона. — Большевиков на фронт, казаков в Петербург. — Политическая программа контр-революции. — Генералы и биржевики готовы. — Выдача Пешехонова.

По приезде в Петербург я как-то не поспешил отправиться в Смольный. Очевидно, я был преисполнен сознанием бесплодности и скуки там происходящего. Должно быть, были все основания предчувствовать удушающую атмосферу разложения... Раньше, чем в Смольный, я попал в заседание петербургского совета. Оно было назначено 18-го числа почему-то в огромном оперном театре Народного Дома. И здесь, после долгого отсутствия, мне пришлось наблюдать неожиданную и довольно знаменательную картину.

В порядке дня стоял доклад о московском «совещании». Однако, большевики внесли предложение сначала поставить вопрос о смертной казни, потом об арестах большевиков, а уж после заняться московскими делами. Чхеидзе возражает от имени Исп. Комитета, который имел суждение о порядке дня и решил его в пользу московского совещания.

Мы помним, что рабочая секция уже приняла резолюцию об отмене смертной казни, а солдатская соглашалась отложить вопрос только под условием обсуждения его в первом же пленуме. При таких условиях, уклонение лидеров от постановки на очередь вопроса о смертной казни было, конечно, незаконным, трусостью и бестактностью.

И тут случилось нечто невиданное в истории. Представитель эсеровской фракции поддержал предложение большевиков. Оно, следовательно, было принято подавляющим большинством голосов... Собрание согласилось только выслушать предварительно сообщение Брамсона «о порядке ознаменования полугодовщины революции», предстоящей 27 августа: предполагались митинги, но, Боже сохрани, — от манифестаций и шествий. Не те времена!

Докладчиком о смертной казни, по соглашению с большевиками, выступил Мартов. В длинной речи, со свойственным ему углублением в предмет, Мартов разобрал вопрос всесторонне — с точек зрения моральной, правовой, исторической, политической. Все это не могло быть особенно ново вообще. Но это не могло не быть интересно для этой аудитории, которая слушала, не шелохнувшись.

Что она думала? Что она решит в конечном счете?... После долгого отсутствия мне все это было

не ясно. Я с любопытством смотрел со сцены в огромный зал: там было темно и мрачно; посторонней публики почти не было, депутаты не заполняли партера, а на балконах виднелись одинокие фигуры. Опять, казалось как на первом советском съезде: тщедушная фигурка Мартова противостоит какой-то неодолимой стихии, пути которой неисповедимы... Но — кажется, я не ошибаюсь — в таком свете я видел Мартова чуть ли не в последний раз за этот период упадка демократии, до самого «октября».

Мартов кончил доклад и предложил резолюцию. В ней выражается протест «против введения смертной казни на фронте, как против меры, преследующей явно контр-революционные цели»; резолюция требует от Вр. Правительства ее отмены. Далее предлагается «заклеймить ведущуюся милитаристскими и буржуазными кругами агитацию за дальнейшее распространение смертной казни» и «выразить недоумение и протест против того, что Ц. И. К. не нашел в себе решимости поднять вопрос о смертной казни».

Выступают большевистские ораторы, Юренев и Володарский. Совет, во время их резких речей, начинает вести себя так бурно, что Чхеидзе, в своем трудном и незавидном положении, обещает закрыть собрание. Но настроение большинства уловить нельзя: одни бурно аплодируют, другие топают и кричат, — но каких сколько?

Выходит полномочный оратор эсеровской фракции. Он начинает за здравие: смертную казнь вводили Керенский и Савинков, а они — наши. Вопрос серьезный и тяжелый и т. д. Но совершенно внезапно дело оборачивается самым невероятным образом. Оратор, в заключение речи, предлагает

резолюцию, тождественную с резолюцией Мартова — за вычетом протеста против Ц. И. К....

Это был такой «удар в спину» звездной палате, правящему блоку, всем традициям революции, что от него остолбенели даже левые. Как это могло случиться — не умею сказать. Сейчас я могу приписать это только небрежности подготовки собрания и расхлябанности эсеровских верхов. Надо сказать, что никого из ответственных лидеров налицо не было. Полагали, что советскую массу достаточно «управят» люди третьей степени. К совету в это время был эсерами приставлен молодой студент Каплан, который и командовал фракцией. Мелькали и другие, более или менее неизвестные люди. И вот они-то и изменили! Они-то и наделали затруднений, — которым звездная палата, поглощенная всецело Зимним дворцом, не придавала, впрочем, существенного значения. Ведь это же только мнение Совета! Это позиция низов — не больше!

Мартов поспешил снять свою резолюцию и присоединиться к эсеровской, чтобы не разбивать голосов... Но, после жестокого предательского удара, с мужеством отчаяния, бросился в бой Церетели. Его встретили бурными рукоплесканиями. Это было не ново. Но наряду с ними раздавался неистовый шум и возгласы протеста. Это было еще ново. И опять нельзя было разгадать сфинкса, лежавшего предо мной в полутемном партере.

Однако, лидер треснувшего советского блока был более заносчив и смел, чем убедителен. Он не защищал смертную казнь по существу, а нападал на ее противников... «Министры, — говорил он, — отчитывались перед Ц. И. К. Почему их не обвиняли тогда в восстановлении смертной казни? Потому,

что тогда на большевиках лежал позор июльских событий. Тогда у них не могло быть ни гордых слов, ни гордо поднятых голов».

Это, в сущности, была довольно дешевая «аргументация» — независимо даже от того, что в ней не все соответствовало истине... Но вместе с тем «аргументация» была вызывающей, и в зале поднялась невообразимая кутерьма. Таких собраний Церетели еще не видел перед собой в революции. И масса ныне шла против него. Чхеидзе прилагал невероятные усилия, умирняя бурю. Но это удалось не скоро. Президент был потрясен: ему впервые приходилось отстаивать свободу слова для своего друга и «вождя всей демократии».

А Церетели схватился за последние аргументы. В своей слепоте он не видел, что выступать с ними здесь смешно. Но что же делать, если для него здесь был некий абсолют, дальше которого идти некуда, и святое святых, не требующее дальнейших доказательств?.. Он сказал:

— Ведь ваша резолюция означает недоверие Вр. Правительству! И что же, если отмены смертной казни не последует? Будете ли вы добиваться дальше отмены смертной казни, либо свержения правительства?

Скандал возобновился и усилился. Раздались возгласы. «да, да!! снова пойдем на улицы!» Другие выкрикивали насчет Бубликова и рукопожатия. Третьи свистали и стучали. Четвертые бешено аплодировали. Чхеидзе выбивался из сил, бессильный водворить порядок... Но Церетели махал рукой: он не верил, что они снова пойдут на улицы свергать коалицию.

Резолюция, предложенная от имени эсеров, была

принята всеми голосами против четырех. Три из них затерялись в темном зале. Четвертый был у всех на виду, за столом президиума. Это был голос Церетели, бывшего лидера Совета. Против него ныне шли не только петербургские рабочие, но и его собственные преторианцы. А он, слепой раб своей идейки, попрежнему прямо шагал, возглавляя всю буржуазную армию, против революции. Было жалостно и жутко смотреть на его одиноко поднятую руку — за смертную казнь.

Но надо же отдать справедливость ныне поверженному, жестокому и вредному, но честному врагу. Его преемники, сейчас восстававшие против смертной казни, а потом казнившие массовым способом без признаков суда и следствия, никогда не проявляли и тени того мужества: в открытом, честном и равном всенародном споре защищать смертную казнь.

Затем, уже поздней ночью, был поставлен вопрос об арестах большевиков. Эсеры положительно были не в себе. Они и тут выступили застрельщиками. Их докладчик, констатируя новое усиление революции после июльского разгрома, требовал выступления против произвола и беззаконий правительства. Чхендзе совершенно обескураженный, невнятно выговаривал какие-то «раз'яснения». Из зала раздается голос:

— Говорите громче, товарищ, вы не помираете!..

Вся группа лидеров шаталась. Ее почва стала зыбкой и больше как-будто не держала ее... Конечно, почти без прений, была принята резолюция: она выражала решительный протест против незаконных арестов и эксцессов, требовала немедленного освобождения тех, кому не было пред-

явлено обвинений и скорейшего суда над остальными.

Внушительная резолюция была принята. Но каковы же ее результаты? Результатов не было и не могло быть никаких. Какое кому дело до того, что говорит и делает Совет — да еще против Церетели, против Ц. И. К.!.. Если бы эти акты исходили от Ц. И. К. и Церетели, то и тут можно и должно было их игнорировать, как игнорировались все остальные. Но мнение «местного» петербургского совета, направленное одновременно против коалиции и против своего собственного всероссийского полномочного органа! В лучшем случае можно предложить звездной палате цыкнуть на петербургский совет.

Ведь на то и существует ныне «общенациональный» (подобно кадетам) Ц. И. К., чтобы прикрывать «общенациональную» контр-революцию. Ведь под его прикрытием, после его побед на московском фронте, наши либералы, монархисты и прочие реставраторы, заговорили опять новым языком и, как никогда, подияли гордые головы...

* * *

Пока петербургский совет, в сознании возрождающейся силы, принимал свои резкие резолюции, доблестный Родзянко, опираясь на общественное мнение всей страны («за исключением» и т. д.), — вновь выступал от имени Гос. Думы, которую всерос. советский с'езд объявил трупом больше двух месяцев назад. Гражданин Родзянко, в письме к министру-президенту, требовал не больше, не меньше как отмены хлебной монополии — в интересах всей

страны. Затем он объявлял третьейиюньскую столыпинскую Думу совсем не трупом, а «единственным источником власти». Наконец, он интересовался: кончаются ли полномочия Гос. Думы... с созывом Учр. Собрания?

Что могла поделать тут звездная палата со своими мамелюками? Она косилась и покачивала головами. Больше ничего она сделать не могла. Только на это, не больше, она оставила силы «полномочному органу», пустив на ветер, отдав на потребу Родзянке всю свою былую власть. Развязав руки реакции и связав их себе, она могла только стоять смирно, покусывая губы и лепеча о своей вере в победу. Это вытекало непреложно из всего ее прошлого, из всей знаменитой «линии Совета»...

Но надо сказать, что и сам Ц. Н. К., с его звездной палатой, был тенью прошлого. Ведь его создал первый всерос. съезд, делегаты которого выбирались по всей России в мае месяце, в раннюю весну коалиции. Ни соотношения демократических сил, ни настроения масс «полномочный орган» теперь не выражал ни в малейшей степени. Но он продолжал существовать в качестве единственного полномочного органа и «действовал» от имени всей демократии. И, путаясь в ногах у ошетилившихся враждебных армий, мешая развернуться борьбе, — это общенациональное средоточие организованного мещанства лило целые водопады воды на мельницу буржуазной диктатуры.

А враждебные армии явно готовились в бой. Вопрос был в том, которая раньше бросится на противника. Буржуазная пресса уже вопила о новых «выступлениях» большевиков и даже вынудила официальное опровержение от имени всех советских

партий. Стало быть, реставраторы готовились прыгнуть первыми...

Как бы то ни было, но, повидимому, был вполне прав некий Н. Л., выступавший иногда в большевистском «Пролетарии», который сменил «Правду». Этот Н. Л., — т. е., конечно, сам Ленин, — заявлял, что ныне исчезли все надежды на мирное осуществление подлинно демократических лозунгов; теперь надо готовиться к тяжелым и суровым формам борьбы. Это была, повидимому, правда. Ленин забывал только прибавить, что надежды на «мирное» развитие революции исчезли со времени июльских дней...

Во всяком случае, за 25 дней моего отсутствия из Петербурга дела ушли далеко вперед.

* * *

На другой день, 19 августа, в огромном зале Лесного Института (за городом) открылась «объединенная социалдемократическая конференция»... Ее созывала, вместе с меньшевиками, упоминавшаяся выше группа, близкая к «Новой Жизни», стоявшая на точке зрения объединения социалдемократии.

Делегатов с решающими голосами с'ехалось 200 человек; они представляли 200-тысячную армию. Картина партийтага была, можно сказать, грандиозная. Во время жалких меньшевистских конференций «советской» эпохи о ней мы вспоминали, как о событии золотого века... Однако, конференция, конечно, не вышла «объединительной». Большевики отказались в какой бы то ни было форме участвовать в ней. Не была представлена и другая

«крайность» — группа Плеханова: помимо своей ничтожной численности, она уже числилась вне социалдемократии, и приглашение ее исключало всякую возможность сговора с интернационалистским крылом.

Представлены же были следующие течения и группы. На крайнем правом фланге была группа Потрессова — группа закоренелых оборонцев и правоверных шейдемановцев, официальным органом которых был «тоже социалистический» «Д е н ь».

Центр составляли правые советские меньшевики, возглавляемые Церетели. С ними тоже было не мало оборонцев, но официально эта группа отнюдь не признавала себя шейдемановской: наоборот, она считала, что служит «циммервальду». Это было столь же правильно, сколь утверждение Ленина, что между этим течением, Милюковым и Пуришкевичем, нет никакой разницы.

Налево были меньшевики-интернационалисты во главе с Мартовым. Я был в их числе. Но рядом с нами на конференции фигурировала еще одна социал-демократическая группа: «н о в о ж и з н е н ц ы»... Да, — уже много недель, как возникла такая организация, имевшая свои ячейки не только в обеих столицах, но и во многих провинциальных городах. Эти элементы, стоявшие на позиции нашей газеты, теоретически ровно ничем не отличались от меньшевиков-интернационалистов; но исторически — это почти всегда были большевики, не пошедшие ныне за Лениным. К ним присоединился и разные другие одиночки и отщепенцы — из тех, кто не хотел иметь ни малейшей видимости организационной связи с официальными меньшевиками.

Возникновение этой «партии» — одно время при-

обретшей довольно солидный вес — было явлением довольно любопытным. Основывая нашу газету, мы, «группа вольных интеллигентов», менее всего стремились и надеялись создать вокруг себя какое-либо подобие политического «новообразования». Если мы, в частности, рассчитывали сослужить службу социалдемократической партии, как таковой, то именно содействием ее объединению. Но вместо того вышла самостоятельная группа...

Очевидно, это было стихийно неизбежно и отвечало объективным потребностям движения. Мы знаем, что «Новая Жизнь», вообще говоря, пришла «ко двору». И мало по малу, в разных местах России, небольшая часть ее постоянных читателей — с революционным прошлым или без него — стала организационно объединяться вокруг ее позиций. На этот счет стали поступать материалы в редакцию. Провинциальные группы стали понуждать «вольных интеллигентов» возглавить их нарождающиеся организации. Стали требовать всероссийской конференции и создания всерос. центра...

Внефракционная редакция газеты пошла на встречу, и в конце концов «партия» образовалась. В ее организационный центр вошли все члены нашей редакции, кроме меня и Горького. Еще — из «имен» — туда входили Рожков, Лозовский, Линдов... Меня также обыкновенно считали «новожизненцем»; но я организационно принадлежал к меньшевикам-интернационалистам. И даже смотрел скептически и свысока на новую «партию», называя ее в шутку «обществом любителей партийно-социалистической деятельности».

Считали — одни из полемики, другие из «объединческого» патриотизма, — что на конференции,

в лице «новожизненцев», представлены большевики. Но это было не так: от мартовцев их, в общем и целом, было невозможно отличить даже под микроскопом. Что же касается соотношения сил, то оно было сначала неясно... Но оно вскоре выяснилось.

Конференция, открылась при большом стечении публики и журналистов, понаехавших в Лесной, несмотря на трудности сообщения... Программа конференции была, быть может, излишне обширной: она была чуть ли не равна программе июньского советского съезда. С точки зрения ее «объединительных» целей, было бы, пожалуй, лучше сосредоточить все внимание на основных проблемах революционной политики, оставив в стороне такие организационные пункты, как аграрный вопрос или Учр. Собрание. Это было бы тем более целесообразным, что дебаты, в силу особых свойств конференции, неизбежно должны были быть очень громоздки: по каждому пункту выступало по два, по три, а то и по четыре докладчика — от каждой из наличных фракций.

Перед тем как приступить к первому пункту программы — к докладам о «политическом положении страны» — один из левых делегатов устроил «каверзу». Он предложил конференции присоединиться к вчерашнему вотуму петербургского совета о смертной казни. Церетели мужественно выступил против, Мартов — за. Все ждали первого голосования, как показателя соотношения сил. Результаты были — за Церетели 81 голос, за Мартова 65, при 12 воздержавшихся. Это, казалось, было лучше, чем можно было ожидать. Увы! дальнейшее не замедлило показать, что меньшевистское офицер-

ство безнадежно завязло в болоте оппортунизма и обывательщины. Голосование резолюции о «политическом положении» дало докладчику — Церетели уже 115 голосов, а содокладчику Мартову — только 79...

В конечном итоге конференция к объединению не привела. «Новожизненцы» сохранили свою полную обособленность. А группа во главе с Мартовым выступила с декларацией, где заявляла, что она и впредь сохранит за собой полную свободу действий, — ибо конференция определенно стала на путь сотрудничества классов, не совместимого с принципами революционного марксизма. Но в этой группе насчитывалось только 25 делегатов...

Главными действующими лицами, как всегда, были столичные лидеры. Церетели, Либера и их армию почти ничто не отделяло от потресовцев. Напротив, их сплачивала в единый монолит ожесточенная борьба против Мартова и прочих наличных «большевиков»... Дан все еще был выбит из строя своим личным несчастьем и в конференции не участвовал. Так что звездная палата была представлена совершенно «неумеренно». Насколько, можно сказать, невменяем был Церетели, видно из таких, напр., отрывков его речей.

— На московском совещании, впервые после 3-го июля, представители всех трудовых элементов пытались сговориться об объединении революционного фронта... Опасность изоляции рабочего класса была ликвидирована созданием общей платформы, выработанной передовой частью рабочего класса.

Таков был лидер меньшевистского большинства. Такова, стало быть, была и его армия. Конечно, были в ней и «недовольные» элементы. Иные почтен-

ные деятели не только косились и вздыхали, но и мотались между большинством и меньшинством. Таковы были Абрамович, Горев, отчасти покойный Исув. Но к меньшинству они не присоединялись — ради «единства» и страха большевистска.

По вопросу о войне, вслед за правым докладчиком Либером, и левым Абрамовичем, должен был выступить докладчик «новожизненцев» — Базаров. Но он почему-то уклонился, и группа уполномочила на это дело меня. Это было не вполне удобно, но впоследствии это случалось со мной (и с «новожизненцами») не раз. С разрешения президиума и своей собственной группы, я выступил и был жестоко «разнесен» Церетели.

Как раз в эти дни в Лондоне состоялась социалистическая конференция союзных стран. Наши советские заграничные делегаты, не имея полномочий, присутствовали на ней — «с информационной целью». Началась эта почтенная конференция еще не так плохо. Но самый принцип ее созыва — по взаимоотношениям правительств, всюду враждебных социализму и пролетариату — знаменовал собой банкротство идеи классовой международной пролетарской солидарности... Был выражен протест против отказа в паспортах. Была отвергнута чья-то резолюция о недопустимости каких бы то ни было сношений с социалистами вражьих стран. Но затем вопрос о «стокгольме» немедленно утопили в разговорах о том, что, собственно, будет делать стокгольмская конференция? Шовинисты и предатели выдвинули свой обычный козырь: прежде всего надо обсудить в Стокгольме вопрос «об ответственности за войну». Разумеется, это исключало возможность соглашения. К восторгу нашей

«большой» печати, лондонская конференция кончилась ничем. Дело было сдано в комиссию...

А тут и английские тред-юнионы высказались против «стокгольма». Конференция снова была отложена. Теперь она окончательно могла считаться безнадежной. Нашим делегатам больше было нечего делать за границей. И, разумеется, главным фактором срыва было падение престижа русской революции. Противники «стокгольма» опять-таки ссылались на Керенского, которого поддерживал Церетели. — Все это имело прямое отношение к нашим дебатам в Лесном.

Объединенная конференция длилась около недели. Приходилось совершать дальние поездки, урывая время для редакции и почти забросив советские сферы. Это было тем более неудобно, что вся наша редакция была сейчас вплотную занята «партийными» делами и была привязана к конференции. Газета была в забросе.

* * *

На воскресенье 20-го августа были назначены выборы петербургской центральной городской думы. До сих пор, как мы знаем, наша «коммуна» была временно составлена из делегаций районных дум, избранных в мае. Сейчас предстояло избрать прямыми общегородскими выборами ее окончательный состав.

Этим выборам все партии, конечно, придавали огромное значение. Было неизвестно, как обернутся дела революции. И могли наступить обстоятельства, когда столичная «коммуна» могла быть выдвинута на решающую роль — как в эпоху Робеспьера,

Паша и Шометта... Но вместе с тем отовсюду слышались указания на усталость и индифферентизм народных масс; ожидался большой абсентеизм на выборах. Особенно часто указывали на это правосоветские элементы и газеты, вроде «Дня».

И какими-то странными, неисповедимыми путями они отсюда умозаключали: при таких условиях невозможно отрицать коалицию и бороться с ней; при таких условиях не остается ничего, как ее поддерживать. Казалось бы, наоборот? Усталость, разочарование, упадок духа — ведь порождены именно коалиционной политикой, втянувшей революцию в непролазную трясиину. Казалось бы, конец коалиции будет означать возрождение, к которому и не существует иных путей. Но нет, мамелюки и обыватели рассуждали иначе.

Однако, вы не особенно удивляйтесь. Логика и здравый смысл тут были не при чем. Ведь аргументы об усталости и индифферентизме были специально выдуманы для того, чтобы сказать хоть что-нибудь в пользу коалиции. Ведь членораздельных аргументов в ее пользу уже давно не существовало в природе.

Так или иначе, все партии давно и бешено готовились к выборам. Всего фигурировало 13 партийных списков. И никаких блоков между собой партии не заключали. Особенно широко раскинули агитацию кадеты; и, повидимому, они с большим успехом ловили обывателя в мутной, после-июльской атмосфере...

От меньшевиков фигурировал единый список. И он был целиком интернационалистским. На недавней городской конференции Мартов одержал крупную победу над Даном. Петер-

бургская организация меньшевиков оставалась, как была, интернационалистской... Перед выборами со стороны правых была сделана попытка войти в соглашение и включить в список Церетели. Левый Комитет как-будто сначала согласился на это. Но потом, к ужасу буржуазной печати, выбросил Церетели из списка — под давлением масс. В результате — список № 12, хотя и не блестел множеством первоклассных имен, но был целиком выдержан в пролетарском духе. Этот список поддерживала и наша «Новая Жизнь».

В день открытия «объединенной» конференции, накануне выборов, Ларин (уже без малого большевик), предложил к вечеру прервать заседание и всем разойтись по городу для выборной агитации — за меньшевистский список. Предложение, конечно, было отклонено. Для большинства этот список был попросту однозным. Но левая часть конференции почти вся вернулась в город и рассеялась по митингам.

Я лично был командирован в два места: сначала на пролетарскую Выборгскую Сторону, а затем на буржуазную Моховую. В «Сампсониевском братстве» я должен был выступить на эсеровском митинге, а в Тенишевском училище — на кадетском... Под впечатлением толков об индифферентизме, я был настроен довольно вяло. И, действительно, несмотря на оживление пыльных «демократических» улиц Выборгской Стороны, в зале митинга я застал небольшую скучную группку рабочих, сонно слушавших эсеровского оратора. Выступать было тоскливо и бесполезно... Я полагал, что буржуазия мобилизуется гораздо энергичнее. Но, придя в Тенишевское училище, я тщетно разыскивал назначенный там ми-

тинг. Повидимому, он не состоялся совсем... Нестерпимо усталый я невесело побрел в редакцию.

Однако, выборы дали неожиданные результаты. Избирателям надоели митинги, но это совсем не означало, что они собираются пренебречь своими гражданскими обязанностями. Об индифферентизме не могло быть и речи. Усталость отнюдь не проявилась в абсентеизме. Петербург был полон активности.

Всего 20 августа было подано 549,4 тыс. голосов. Я не берусь сказать точно, какой это составит процент избирателей. Но нет сомнения, что к урнам их явилось подавляющее большинство. Нет сомнения, что такого процента участников не знают до-военные муниципальные выборы в Европе... Впрочем, я не стану делать отсюда выводов против коалиции.

Но не активность масс была главным ударом для слепцов и обывателей. Главный удар был впереди. «Симпатии» петербургского населения, оказывается, были таковы. Первое место сохранили за собой эсеры: за них было подано свыше 200 тыс. или 37% голосов; но сравнительно с майскими выборами это была не победа, а солидный ущерб. Июльские победители — кадеты также удержались на своих позициях со времени районных выборов: они привлекли на свою сторону одну пятую всех голосов. Жалкие 23 тыс. голосов собрал наш меньшевистский список. Остальные же просто шли не в счет...

Где же главный и единственный победитель, отвоевавший избирателя у всех остальных партий? Это были большевики, столь недавно втоптаные в грязь, обвиненные в измене и продажности, разгромленные морально и реально, наполнявшие

столичные тюрьмы по сей день. Ведь, казалось, они уничтожены навеки и больше не встанут. Ведь их уже почти перестали замечать. Ведь «изоляция пролетариата» удалось избежать на московском совещании, где пролетарский авангард в лице меньшевиков, Церетели и Чхеидзе, выступал перед Россией и Европой от имени всей демократии. Откуда же взялись они снова? Что это за странное дьявольское навождение?..

Большевики на августовских столичных выборах собрали без малого 200 тыс., т. е. 33% голосов. Треть Петербурга. Снова весь пролетариат столицы, гегемон революции!.. Граждане Церетели и Чхеидзе, лидеры полномочного органа, ораторы всей демократии — вы теперь видите большевиков? Вы теперь понимаете, что это означает?

Нет! Они не видят и не понимают. Они все-таки ничего не видят, они все-таки не понимают, что происходит вокруг них...



Милюков, Родзянко и Корнилов — те кое-что видели и понимали. Их пресса была, во всяком случае, ошеломлена успехом большевиков. И эти доблестные герои революции начали в спешном порядке, хотя и втихомолку, готовить свое «выступление». А для его прикрытия стали усиленно кричать, что большевики вот-вот «выступают». Правда, иной раз они испускали неуместные ноты и, можно сказать, проговаривались. Так, напр., солидная кадетская «Речь», в ответ на бодрый тон кронштадтской советской газеты, огрызнулась в несвойственном ей легковесном стиле — огрызнулась «двумя очень хорошими русскими пословицами»: «рано пташечка запела,

как бы кошечка не с'ела» и «хорошо смеется тот, кто смеется последний»...

Кошечка, наделившись прыгнуть, собиралась хорошо посмеяться последней. Однако, нельзя сказать, чтобы это было уже так очень легко. Заговор некоторых монархических элементов, с участием великих князей Романовых, был составлен в половине августа. Но он был своевременно раскрыт, и его участники, вместе с Романовыми, были арестованы. Буржуазная пресса, из своих соображений, не сделала из этого заговора большой сенсации. Но хозяева этой прессы все же намотали себе на ус, что голыми руками республику не возьмешь, и надо готовиться солиднее. Впрочем, не подействовало это маленькое предупреждение на сонный, полуразложившийся «общенациональный» Ц. И. К...

* * *

Как-то — между редакцией и конференцией в Лесном — я в эти дни заглянул в Смольный. Надо же было посмотреть, что делается в новой резиденции «полномочного органа». Но я получил мало удовольствия и еще меньше пользы. Вообще я не любил Смольного и неустанно сожалел об утрате Таврического. Помещается этот знаменитый пункт на краю столицы и поглощает у всех массу времени на передвижения. В нем хорошо было консервировать «благородных девиц», но не делать революцию с пролетариатом и гарнизоном столицы. Впрочем, не знаю, могло ли тут нравиться и детям, и девицам. Правда, по соседству были чудесные памятники архитектуры, во главе с монастырем: я лично помню, как я ахнул и остановился, как вкопанный,

увидев его впервые. Кроме того, в институте есть замечательный небесно-чистый, стройно-законченный актовый зал: здесь и была отныне главная (так сказать, внутренняя) арена революции. Но эти бесконечные темные, мрачные, тюремно-однообразные коридоры с каменными полами! Эти казарменно-сухие классы, где не на чем было отдохнуть глазу!... Было скучно, неуютно, неприветливо.

Жизнь сосредоточивалась, главным образом, во втором этаже, наиболее светлом и «парадном». Тут большой актовый зал, тысячи на полторы-две человек, занимал все правое выступающее вперед крыло. Там заседали секции и пленум Совета, Ц. И. К. и второй всерос. советский съезд. К этому залу (уже по коридору, под прямым углом) примыкала огромная комната, где всегда заседало «бюро», а иногда Ц. И. К. Напротив, по другую сторону коридора был неуютный буфет с грубыми столами и скамьями и очень скудной пищей; неподалеку был кабинет президиума. А все остальные классы были заняты отделами Ц. И. К. Мебели было явно недостаточно. Не было ни порядка, ни чистоты.

Вспоминая Таврический, я с грустью обошел новую цитадель революции. Было пустынно и тоскливо. И в отделах, и в заседании бюро было до странности мало людей. Но мне показалось, что среди них до странности много новых лиц... Чхеидзе восседал на каком-то необыкновенном вольтеровском кресле. Но это не придавало торжественности заседанию бюро. Зачем оно собиралось, о чем говорили — решительно не помню. Но хорошо помню: чувствовалось, что это совершенно безразлично, о чем бы тут ни говорили.

* * *

Итак, две враждебные армии уже сжимались и напрягали мышцы для прыжка друг на друга. Они не боялись, вопреки Плеханову, что от них самих, от родины и революции, останутся одни хвосты. Но между ними, хватаясь голыми руками за скрещенные шпаги, стоял полномочно-беспомощный, общенационально-межеумочный Ц. Н. К.; он в сознании своих полномочий боялся всего на свете и тащил за собой в непролазное болото и обе армии, и отечество, и революцию.

Этому вполне соответствовали об'ективные условия момента. Общий развал государства и его экономики усиливался с каждым днем. В провинции все продолжались эксцессы, и начались новые, несколько странные явления, вроде взрывов военных складов. В столицах гарнизоны окончательно выходили из повиновения, развалились и не несли никакой службы. Продовольственные дела обострились до крайности. В частности, Корнилов заявлял печатно, что действующая армия находится на краю полного голода. Не в лучшем положении находился транспорт. Газеты трещали об «агонии железных дорог». А вместе с тем железнодорожники, доведенные до полного отчаяния, именно в эти дни были готовы об'явить всеобщую забастовку. Под угрозой ее страна жила несколько дней. Но, разумеется, опять вмешался Ц. Н. К., который приложил к делу огромные усилия и замариновал и рассосал его в своей комиссии... В главном земельном комитете шли мелкие пререкания. Экономический Совет переставал собираться даже для пустых разговоров. Вообще, никаких перспектив не было видно. Картина была безотрадная.

И вот в этот момент, по стране и по столице, как

хлыстом, ударили новые события на фронте... К вечеру 21-го снова собрался Петербургский совет — для обсуждения вопроса о московском «совещании». Начальство считало положительно необходимым популяризировать эту «победу демократии» и беспокоть для этого сотни людей. Совет собрался опять в Народном Доме: к Смольному массы привыкали туго. И вот тут, перед началом заседания, были получены первые телеграммы о большом прорыве нашего фронта под Ригой. Была оглашена телеграмма на имя Чхеидзе, присланная Войтинским, ныне помощником комиссара северного фронта. Войтинский подробно описывает события и, в частности, характеризует поведение наших войск. Весьма шовинистически настроенный и, можно сказать, специализированный на борьбе с разложением армии — этот деятель констатировал в своей телеграмме, что «войска дрались честно и доблестно»: «вели бой до поздней ночи»... «много раз переходили к удару в штыки и теснили противника, несмотря на огромные потери»... «солдаты за 10 верст выносили на руках своих раненых офицеров и товарищей»... «огромное большинство раненых явилось на пункты с оружием в руках»... «один полк почти уничтожен», «другой целый день сражался безо всякой связи с другими», «третий на несколько верст теснил превосходящего силами противника»... «в районе боев нигде не встретили паники»... «настроение бодрое»... «армия честно исполняет свой долг».

По поводу всех этих сообщений выступил Богданов. Он указал, что события на фронте могут отразиться на внутреннем положении столицы: может возникнуть паника, массовое бегство, по-

пытки заговоров и возмущений. Необходимо привести гарнизон в боевой вид и организовать охрану Петербурга...

Затем перешли к важному делу о московской «победе». Церетели в бесплодной полемике отгрызался от большевистских ораторов, дразнивших его Бубликовым и капитуляцией... Он говорил лживый вздор о том, будто бы его голос в вопросах мира «звучал неизмеримо сильнее, пока шло наступление, и зазвучит опять сильнее, если удастся организовать оборону страны и повести полки в наступление».

Как бы то ни было сейчас на очереди было опять военное поражение и угроза Петербургу. Взоры были обращены сюда. Но события тут приобрели довольно «своеобразный» колорит...

Мы только что познакомилась с компетентным свидетельством поведения наших войск во время германского нажима. Это свидетельство дано очевидцем и участником событий. Казалось бы, большего нельзя было ни ожидать, ни требовать от нашей армии, — давно ошелюмованной и, можно сказать, отпетой и нашими реакционерами и их западными союзниками. Во всяком случае, августовское поражение ни в каком случае нельзя было приписывать разложению наших войск. Мало того: главнокомандующий Корнилов, всенародно заявил на московском совещании, что наше отступление на северном фронте неизбежно в силу объективных условий, и что удержать Ригу нам невозможно. На следующий день действительно пришли известия об оставлении нами Риги. Это вызвало панику среди обывателей столицы. Петербург начали спешно «разгружать».

Но еще накануне, до падения Риги, весь буржуазный лагерь, как сговорившись, стал кричать в один голос о разложении и развале армии, открывающей немцам дорогу в Петербург. В момент самой острой борьбы на залитых кровью полях, все наши патриоты от мала до велика — газетные рецензенты, кадетские ораторы, военные авторитеты — стали твердить направо и налево, что на фронте — сплошное бегство и паника в результате полного развала армии на почве агитации большевиков и политики Совета.

...«Психология наших солдат ныне такова, — умозаключает известный рецензент «Речи», сидя в редакции, — что строить твердые расчеты, базируясь на соотношении сил, невозможно... Попытки восстановить положение контр-атаками не удались, главным образом, вследствие того, что некоторые из наших частей самовольно оставили позиции и начали отход на север»... Какие же именно части? Назовите, ошельмуйте, накажите и расформируйте!

В тот же день, то есть в самом начале, начальник управления главного штаба ген. Романовский так излагал печатно свое компетентное мнение: «... Тяжелые события явились, главным образом, результатом неустойчивости наших войск, несмотря на численный перевес их на этом фронте. Неустойчивость эта, тесно связанная с общим развалом армии, особенно рельефно сказалась в рижской армии, где пропаганда свила себе прочное гнездо. Только ослаблением духа можно объяснить, что противнику удалось форсировать такую могучую реку, как Зап. Двина»...

Конечно, мнение такого авторитета очень ценно и убедительно для обывательских масс. Но было бы

интересно также его раз'яснение, — сколько могучих рек успешно форсировали немцы до пропаганды? А также — почему Корнилов, заявляя всему миру — и России, и Германии — о невозможности удержать Ригу, не пожелал предупредить «тяжелые события» своевременным отводом армии на более надежные позиции? Зачем понадобился ему новый ужасный позор, на который он не переставал плакаться с момента своего назначения?...

Цитированные речи говорили стратеги. А политики тут же комментировали вот как: «теперь ясно, что у правительства выбора нет, и, если оно не хочет потерять смысла своего существования, по выражению резолюции 4-й Думы, то ему нужно решительно и окончательно порвать со своей зависимостью от Советов и принять предложения ген. Корнилова. Недаром говорил Верх. Главнокомандующий, что если его предложения не будут приняты тогда же, то их придется принять и исполнить после падения Риги». (Передовица «Речи» от 22 авг.)

Однако, все это писалось до падения Риги. А после него шельмование армии и кампания против демократии удесятерилась. Тут в хор вступил высший авторитет, сама Ставка Верх. Главнокомандующего. В реляции от 22 авг. она сообщала так: «Утром 21 авг. наши войска оставили город Ригу (почему? при каких обстоятельствах?)... и в настоящее время продолжают отход в сев.-восточном направлении... Дезорганизованные массы солдат неудержимым потоком устремляются по псковскому шоссе»...

А вот донесения Войтинского. «Положение в районе двинского прорыва становится все более грозным... Наши части отходят с боем, не будучи

в состоянии удержаться долго на позициях... Решающее значение имеет перевес артиллерии противника... «На долю войск, в районе прорыва выпала задача арнергардными боями сдерживать натиск противника, чтобы обеспечить другим возможность отхода. При такой задаче целые дивизии обрекаются на истребление и гибель в огне. Порученные им задачи наши войска, в районе прорыва, выполняют беспрекословно и честно, но они не в состоянии долго выдержать натиск врага и медленно, шаг за шагом отступают, неся огромные потери и задерживаясь на указанных им рубежах. Считаю необходимым отметить высокую доблесть латышских стрелков (сплошь большевистских), остатки которых, несмотря на полное изнеможение, были снова двинуты в бой. Почти полностью погиб»... и т. д... «Не скрывая, что войска наши слабо обучены и потому недостаточно стойки в бою, вместе с тем вновь подтверждаю: армия, отступая, все время честно бьется с врагом. Пусть же вынужденное отступление не падет пятном на нашу армию, пусть никто не вменит ей в вину и позор то, что является несчастьем для нее и для родины».

→ На следующий день к Войтинскому присоединился комиссар соверного фронта, известный нам Станкевич, человек идеальной честности, но находящийся всецело в сфере буржуазного влияния. В телеграмме на имя Керенского, Станкевич, не скрывая неустойчивости некоторых частей и значительного дезертирства, «категорически протестует против официальных сообщений, опубликованных Ставкой, в которых с первых дней боев дается тенденциозное, а в некоторых случаях совершенно неправильное освещение положения на северном

фронте». И дальше Станкевич рисует ту же картину, что и Войтинский, до героизма латышских полков включительно.

А затем повторил то же самое приехавший в Петербург для доклада Ц. И. К. представитель 12-й армии, правый меньшевик и известный печальник о разложении нашей военной силы. Он кончил свой доклад словами: «Революционная армия обнаружила небывалую стойкость и сознательность». После этого доклада бюро Ц. И. К. постановило предложить правительству создать следственную комиссию для выяснения причин рижского разгрома — с участием представителей демократии...

25-го августа в Ц. И. К. была получена телеграмма за подписью Станкевича и Войтинского, где говорилось, что армия укрепилась на новых позициях, что германское наступление остановлено, что общая опасность миновала, что порядок на фронте восстанавливается, настроение бодрое, а потери еще больше, чем предполагали сначала; «грубой клеветой являются порочащие армию слухи, проникшие в печать».

Между тем, если эти «слухи проникли» благодаря официальным сообщениям Ставки, то можно представить себе, какую симфонию разыграли на тему о предательстве армии все прочие, менее ответственные, но не менее старательные группы буржуазии. И само собой разумеется, что вопрос «обсуждался» под углом выяснения роли большевиков, Совета и его пропаганды в рижском поражении. Тут все сознательные газетчики моментально поняли, в чем дело! Даже из-за границы, из Парижа, корреспондент «Речи» спешил телеграфировать, что вся парижская пресса, возмущенная событиями на

нашем северном фронте, единогласно приписывает их пагубной политике Совета...

Вся эта кампания на общественных «верхах» имела вид настолько гнусный, что даже большевистские «низы» (наименее «патриотический» элемент общества) реагировали из одного чувства возмущения... В среду 23-го в Смольном собралась рабочая секция. Вопрос стоял о перевыборах Совета. Однако, от имени эсеровской фракции было внесено предложение обсудить сначала поведение суворинских газет и выше отмеченные выступления Родзянки. Предложение, разумеется, было принято. Эсеровский оратор указывал на телеграммы Войтинского, которые свидетельствуют о доблести нашей армии, и на поведение буржуазной прессы, которая обливает солдат грязью и обвиняет их в измене; а суворинские органы, сменившие «Маленькую Газету», прямо призывают к погрому демократических организаций, ссылаясь на рижские события.

Володарский от имени большевиков расширяет вопрос, присоединяя к безответственной прессе высокоответственную Ставку. Несмотря на свидетельства столь официальных лиц, как Войтинский и Станкевич, меньшевики и эсеры не идут на такое расширение вопроса: нельзя же бросать тень на «честную коалицию»! Но голосами большевиков принимается резолюция, которая обращает внимание Ц. И. К. на нижеследующее: 1) из Ставки продолжают усиленно распространяться лживые и клеветнические сообщения о бегстве наших войск, героически умирающих на рижском фронте; 2) такие же сведения распространяются и чинами генерального штаба; 3) вся буржуазная пресса, в особенности же

суворинские «Русь» и «Живое Слово» ведут систематическую и преступную травлю против нашей армии; 4) последнее поражение снова используется контр-революцией для нанесения удара завоеваниям рабочего класса». В виду всего этого Ц. И. К-ту предлагается «принять необходимые меры для охранения умирающей на полях сражения армии от похода контр-революции и ее прессы»... Не правда ли, как любопытно перемешались все карты, переместились все отношения в делах патриотизма и защиты чести армии? О, это имело глубочайшие причины, лежавшие в корне всей кон'юнктуры революции!...



Советская демократия, правильно оценив опасность со стороны Вильгельма, вообще показала себя на высоте патриотизма в эти дни. Я упомянул, что при первом известии о рижском наступлении немцев, Богданов поставил в Совете вопрос об обороне столицы и приведении гарнизона в боевой порядок. Сказано — сделано. На другой же день в Смольном состоялось собрание полковых комитетов столицы и окрестностей. Был поставлен вопрос о практических задачах гарнизона в связи с событиями на фронте. Собрание прошло под знаком сплочения всех партийно-советских элементов. Было постановлено бросить все силы на восстановление дисциплины и приведение всех полков всеми средствами в боевую готовность. Был указан целый ряд конкретных мероприятий...

Гарнизон встряхнулся при первом известии о действительной опасности. И этого можно было

достигнуть только силами демократических организаций. Правительство, с его «неограниченными полномочиями», тут ровно ничего сделать не могло.

Но оно сделало то, что ему было доступно. Правительство в тот же самый день выработало «особое положение об управлении Петроградом», в связи с событиями на фронте. Это «положение» состояло в том, что гражданское управление Петербурга поручается органу с чрезвычайными полномочиями: генерал-губернатору. А военное управление подчиняется верховному главнокомандующему Корнилову. Так! Очень хорошо...

Далее. За дело защиты Петербурга взялись не только солдаты, но и рабочие. Вечером того же 22-го числа в Смольном собрались опять большевистские фабрично-заводские комитеты вместе с представителями профес. союзов. Ораторы, во главе с Лариным, требовали гарантий, что пролетариат, бросивший свои силы на оборону столицы, не явится игрушкой в руках контр-революции; в качестве этих гарантий необходимо удаление реакционных генералов, контроль над штабом округа, вооружение рабочих, создание кадров гражданской милиции и т. д.

Было бы совершенной нелепостью думать, что все эти меры были излишни и не были действительно необходимыми. Недаром по поводу этих предложений так неистовствовала на другой день буржуазная пресса... Но вместе с тем, будучи в большинстве, ответственные большевистские ораторы (Шляпников, Залуцкий и другие) горячо призывали к сплочению и к уничтожению той пропасти, которая давно образовалась между петербургским пролетариатом и капитуляторским Ц. И. К.

Этот Ц. И. К. также собрался в пленарном заседании 24-го числа, после очищения Риги. Полномочный «общенациональный» орган, как видим, далеко не так спешил, как местные столичные — более «партийные» и «классовые» — рабочие и солдатские организации. Проводя много времени в Лесном, я не был в описанных заседаниях полковых комитетов, рабочей секции и фабр.-заводских ячеек. Но в заседание Ц. И. К. — в большом зале Смольного — я попал. Там министр Скобелев призывал оставить принцип «поскольку-постольку» и забыть обо всем кроме содействия правительству в деле обороны. Затем Богданов предложил резолюцию примерно о том же, намечая вместе с тем конкретные меры борьбы с внешней опасностью. Однако, эта резолюция все же настаивает на немедленном выполнении программы 8-го июля, требует борьбы с контр-революцией и протестует против клеветы на армию.

Богданов выразил уверенность, что критическое положение на фронте заставит и левых забыть обо всем, кроме обороны. Я, однако, не так понимал задачи момента и свои собственные задачи. Во время доклада я подошел к еще незнакомому наличному лидеру большевиков, Володарскому, чтобы столковаться о совместном выступлении. Но был изумлен его горячим заявлением о солидарности его фракции с докладом и с предлагаемой резолюцией. Я отошел, немного шокированный и оставаясь при своем.

Володарский, выступая от имени своей фракции, открыл прения оборонческой речью. Он заявил, что в настоящий момент дело обороны — самое важное, и большевики готовы принести для него

все жертвы; пусть только правительство перестанет колебаться и определенно обратится за помощью к народным массам.

Получив слово, я с своей стороны, не возражал ни против мер обороны, ни против резолюции. Но я определенно признал ее недостаточной и затемняющей корень вещей. Я требовал дополнения ее категорическими требованиями немедленных мирных выступлений русского правительства. В ответ на шум и протесты я заявил, что именно теперь об этом уместно вспомнить более, чем когда либо: на рижском фронте мы пожинаем плоды нашей общей политики и саботажа мира. И впредь дело обороны будет проиграно, если не будет развернута действительная борьба за мир.

Уж и досталось мне за эту речь и в печати, и в среде мамелюков! Мне ставили в пример Володарского, который оказался на высоте момента... Сейчас дело не в том, кто прав, кто виноват. Но, во всяком случае, верховный советский орган, конечно, оказался на высоте задач обороны. И большевики были солидарны с меньшевистско-эсеровским блоком в оценке этих задач.

Как же реагировало на это, с своей стороны, правительство Керенского? Так, как было доступно его разуму, его межклассовому положению и его техническим возможностям. В тот же день, вместе с погромной суворинской газетой, обслуживающей столичные подонки, оно закрыло «Пролетарий», центральный орган большевистской партии, за которой шел весь петербургский пролетариат. Все это было под ураганное улюлюканье тысячеголосых газет и ораторов объединенной плутократии.

* * *

25-го августа собралась в Смольном солдатская секция. Она должна была обсуждать вопрос о перевыборах Совета. Но этот вопрос был вытеснен другим. Секции было доложено, что расформирование некоторых полков, принимавших участие в июльском восстании, штаб решил приостановить. Вместо того, он только что издал приказ о выводе этих полков из Петербурга в полном составе. Представители солдатской секции в штабе ставят вопрос, чем это вызвано?... Присутствовавший в заседании помощник командующего округом, капитан Козьмин, дает компетентное разъяснение. Штаб распорядился вывести бывшие повстанческие полки — с тем, «чтобы они загладили свое участие в событиях 3—5-го июля»... Очень хорошо.

Чисто политический характер этой меры был вполне очевиден. Ведь если требовалось подкрепление на фронте, то нельзя же было выбирать для этого наиболее «разложившиеся» большевистские полки. Ведь они же могли только повредить в боях. Если не допускать, что июльские полки отправлялись на фронт специально для содействия разгрому, то, стало быть, приказ об их выводе был подписан рукой чистейшей контр-революции. Морально-педагогическое объяснение капитана Козьмина не было особенно мудрым и убедительным.

Но все же и при таких условиях солдатская секция не стала оспаривать приказа. Она потребовала от полков беспрекословного подчинения. И это — в виду рижских событий — был первый случай массового удаления из столицы революционного гарнизона: до сих пор уводились только отдельные части, «маршевые роты»... Секция подчинилась, указав только в своей резолюции на

«необходимость объединения деятельности штаба с военным отделом Совета».

Но кроме того, секция дала еще урок военного такта и патриотизма тому же Козьмину, выражавшему позиции всей гнусной буржуазно-«патриотической» банды. Резолюция секции считала необходимым отметить, что «отправление на фронт ни в каком случае не может считаться наказанием, и выполнение воинских обязанностей должно быть возлагаемо на полки вне всякой зависимости от их политических выступлений».

Так поступила среди рижских событий наиболее заинтересованная — в «шкурном» отношении — демократическая организация... Ну, а наша революционная, честно-коалиционная власть? Как она, с своей стороны, проявляла свой патриотизм и преданность революции?

На том же заседании, тот же капитан Козьмин, в ответ на поставленный в упор запрос, объявил, что в Петербург, для его «охраны», движутся некие кавалерийские части, гораздо более преданные революции, чем большевистские июльские полки. Очень хорошо...

А, с другой стороны, в буржуазном лагере определенно назначили новое «выступление большевиков» на воскресенье 27 августа. Я упоминал, что на этот счет было опубликовано официальное опровержение, со ссылками на решения всех советских партий. Это опровержение было подписано петербургским Исп. Комитетом, бюро фабр.-заводских комитетов и проф. союзов. Как будто это было достаточно авторитетно: ведь большевистские центры были представлены во всех этих органах и играли в них решающую роль...

Но тем не менее командующий округом ген. Васильковский, в виду предстоящих выступлений большевиков, 26-го августа поставил столицу (насколько это было ему доступно) на военное положение. Он занял рабочие центры своими отрядами, назначил усиленные патрули и в особом воззвании обещал «всеми средствами военной власти в самом зародыше подавлять все попытки вызвать в Петрограде волнения и беспорядки»... Генерал же Васильковский, командующий петербургским военным округом, был, как мы знаем, подчинен верховному главнокомандующему, ген. Корнилову.

* * *

Такова была картина событий накануне полугодщины революции. Но все, что я сказал, характеризует собственно стратегию, тактику буржуазии. А какова же была ее программа? Сомнений тут нет: она сводилась к захвату всей власти цензовыми элементами и к реализации их диктатуры. Форма этой диктатуры, союз, под каким она должна быть приготовлена, — не имели существенного значения. Может быть — монархия, может быть — столыпинская Дума, может быть — военная власть. Это неизвестно и безразлично. Конечные цели во всяком случае совершенно ясны.

Но как же официально готовилась, как проводилась в массы эта программа? Что писали и говорили в этой сфере буржуазные дельцы?.. Собственно, мы уже знакомы с центральной, хотя и схематичной, официальной формулой: «окончательно ликвидировать влияние советов и принять предло-

жения ген. Корнилова»... На фоне рижских событий, по этой канве вышивались очень искусные узоры, отлично распределяющие свет и тени. С одной стороны, что же в самом деле прикажете делать с такими организациями, с такими общественными элементами, которые на краю гибели продолжают вносить раздор своими требованиями немедленного выполнения неприемлемой узко-партийной программы 8-го июля? Ведь это прямая измена не только родине, которая для них не существует, но и той же революции, о которой они кричат. Отсюда — программный пункт: уничтожение демократических организаций.

А с другой стороны, разве существующее правительство не беспомощно колеблется, не желая «сделать выбора» между революционной маниловщиной и твердым общенациональным курсом? Разве это правительство идеалиста Керенского и бездарного Авксентьева не доказало своей никчемности перед всей Россией, еще на московском совещании?.. И отсюда второй программный пункт, с неожиданной прямоотой сформулированный «Речью», немедленно после падения Риги: «после рижской катастрофы основной вопрос спасения России — организация власти и создание боеспособной армии — требует властно немедленного разрешения; все частные вопросы поглощаются этой общей задачей, выдвинутой столь рельефно еще на московском совещании; сюда сходятся все пути, здесь узел всех необходимых в данную минуту мер»...

Вопрос об организации власти?.. Да еще «выдвинут на московском совещании», где была обещана полная поддержка кабинету Керенского? Вы не понимаете — как же это так? Но ведь это только ко-

нечная программная формула. А вы почитайте комментарии к ней — «от корки до корки» всей прессы. Тогда легко поймете.

К этой программе и приспособлялась вся тактика реставраторов в эти дни. И эта программа и эта тактика без труда расшифровывались компетентными кругами. В советских «Известиях», по поводу отмеченной телеграммы Станкевича, мы находим такие комментарии: ... «Ставка, своими сообщениями, ведет определенную политическую игру против Вр. Правительства и революционной демократии. Ясно, что при Ставке свило себе прочное гнездо ядро контр-революции, которое, не надеясь открытыми выступлениями против Вр. Правительства добиться каких-либо результатов, так как солдатская масса за ними не пойдет, — старается запугиваниями грозными событиями на фронте терроризовать Вр. Правительство, и если его не свалить, то, во всяком случае, принять целый ряд мер, направленных прямо и косвенно против революционной демократии и ее организаций».

«Известия» выражаются расплывчато и «либерально». Но они понимают программу и тактику. И как будто бы, если все так, как они пишут, то ждать нельзя. Надо действовать. Если карты раскрыты, то что-нибудь одно: либо надо немедленно хватать за горло, бить в сердце, — либо предстоит немедленно быть схваченным и пораженным...

«Известия» либерально добавляли, что правительство хорошо видит козни и уже направляет удар на Могилев. Но это был самообман и обман «революционной демократии». Это была неправда. Правду говорили газеты биржевиков: правительство беспомощно толклось на месте. Но и газеты биржеви-

ков говорили не всю правду: не решаясь на открытый союз со Ставкой, правительство все же сделало «выбор». Он был в пользу Ставки против революции.

К вечеру 26-го числа стало известно об отставке министра-«социалиста» Пешехонова, занимавшего, пожалуй, наиболее ответственный и трудный пост. Отставка находилась в связи с некоторыми «важными продовольственными мероприятиями», принятыми советом министров. По-просту Керенский, по требованию Родзянки и помещиков, повысил вдвое твердые цены на хлеб, нарушая все здание хлебной монополии. Правительство «сделало выбор» по всей линии. Об этом вполне правильно — *en toutes lettres* — сообщил в интервью столь развязный ныне Некрасов.

Правительство сделало выбор, но не решалось вступить в открытый союз и беспомощно толклось на месте. Однако, когда карты раскрыты, то толочься на месте уже нельзя. Надо либо хватать, либо вступать в союз и бить вместе, либо быть схваченным и погибнуть. Как будто бы, с точки зрения здравого смысла, рассуждать надо именно так.

Но история не всегда рассуждает с точки зрения здравого смысла. Как же рассудила она?

7. «ВЫСТУПЛЕНИЕ» ОБЪЕДИНЕННОЙ БУРЖУАЗИИ

Полугодовщина революции. — 27-е августа. — Корнилов идет на Петербург. — В Смольном. — Благословенная гроза. — Краткая история корниловщины. — Диктатура буржуазии и правительство Керенского. — Необходимые условия переворота. Корнилов. — Подготовительная кампания. — Казачество. — «Общественные деятели» — Роль москов. совещания. — Передвижения корниловских полков. — «Мерь» Керенского. — Керенский «соглашается» на военное положение. — Керенский вручает Корнилову власть над Петербургом. — Керенский вызывает в Петербург корниловскую гвардию. — История движения 3-го корпуса. — Юридические тонкости и политическая сущность. — «Выступление» Корнилова. — Заговор особого рода. — Меркурий-Львов. — Макиавелли-Керенский. — Неизреченное глубокомыслие. — Несравненный диалог мятежника с законной властью. — «Решительные меры» министра-президента. — В правительстве. — Снова кризис. — «Великая провокация». — 27-е в Зимнем и в Смольном. — Конечный смысл грязного дела.

Воскресенье 27-го августа был днем полугодовщины революции. Это был довольно печальный юбилей. Он не только не был пышен и шумен, но был мало замечен в отвратительной атмосфере этих дней. Все дело ограничилось несколькими митингами и «торжественным» заседанием Ц. И. К., на котором я не был, да и вообще мало кто был. Это заседание состоялось почему-то накануне и было посвящено

нескольким речам мемуарно-исторического характера. Главным организатором тут был Соколов, который пытался и меня привлечь к делу, в качестве советского «историка». Но я почему-то уклонился. Вообще я отстал от смольно-советских дел, и меня мало тянуло в Смольный.

В день полугодовщины, в 10 часов утра, я читал лекцию для рабочих в каком-то кинематографе, недалеко от Николаевского вокзала. Сейчас в одной из газет я случайно увидел, что темой моей лекции было «московское совещание». Это мне кажется странным. Правда, лекция читанная 27-го была, очевидно, назначена около 20-го, сейчас же по приезде из Москвы. Но все-таки — зачем среди текущих событий мне нужно было говорить с рабочими об этом дурацком предприятии?.. Очевидно, была мода.

После лекции, как было условлено раньше, я отправился на Петербургскую Сторону, в цирк «Модерн», где читал лекцию Луначарский — что-то о греческом искусстве. Популярного оратора и его неведомые рассказы с большим интересом слушала огромная рабочая аудитория. Лекция уже подходила к концу. Мы, собственно, условились только встретиться, чтобы потом вместе пообедать и провести праздничный день.

Втроем или вчетвером — с моей женой и еще с кем-то — мы пешком побрели в «Вену». А потом долго бродили по улицам и набережным, предаваясь эстетическим и «культурным» разговорам... Уж небо осенью дышало. Незабвенное лето было на исходе, и солнце рано склонилось к морю. Мы не могли налюбоваться на наш удивительный Петербург... Через Троицкий мост, по Каменноостровскому, мы,

уже усталые, брели к нам, на Карповку, куда я уже переехал из редакции «Летописи». Там, за чаем и беседой, мы просидели до темноты.

Зазвонил телефон. Это был кто-то из Смольного:

— Почему же вы дома? Ведь бюро заседает с утра, сейчас начнется пленум Ц. И. К. Смольный полон... Почему вас нет?..

— Но в чем же дело?

— Как? Вы не знаете? Корнилов с войском идет с фронта на Петербург. У него корпус... Здесь организуется...

Я бросил трубку, чтобы бежать в Смольный. Через две минуты мы с Луначарским уже вышли. Я передал ему услышанные в телефон два слова, и мы оба получили от них совершенно одинаковый толчок. Мы почти не обсуждали оглушительного известия. Его значение сразу представилось нам обоим во всем объеме и в одинаковом свете. У нас обоих вырвался какой-то своеобразный, глубокий вздох облегчения. Мы чувствовали возбуждение, подъем и какую-то радость какого-то освобождения.

Да, это была гроза, которая расчистит невыносимо душную атмосферу. Это, может быть, настезь открытые ворота к разрешению кризиса революции. Это исходный пункт к радикальному видоизменению всей конъюнктуры. И, во всяком случае, это полный реванш за июльские дни. Совет может возродиться! Демократия может воспрянуть, и революция может быстро выйти на свой законный, давно утерянный путь...

Что Корнилов может достигнуть своих целей — в это мы не поверили ни на одну секунду. Что он может дойти до Петербурга со своим войском и здесь установить свою реальную диктатуру — этого

мы настолько не допускали, что, кажется, даже и не упомянули об этом в нашей беседе по дороге в Смольный. Насколько-то еще было пороха в пороховницах! Если не дошел до Петербурга ни один эшелон царских войск в момент мартовского переворота, в момент путаницы всех понятий, при наличии старой дисциплины, старых офицеров, вековой инерции и страшного неизвестного нового, — то не сейчас утвердить свою власть над армией и столицей царскому генералу. Теперь у нас демократически организованная новая армия и мощная пролетарская организация в столице. Теперь у нас свои командиры, свои идейные центры и свои традиции...

Царский генерал Корнилов, конечно, имеет за собой всю организованную буржуазию. Может быть, за ним есть и небольшой военный аппарат в Петербурге, имеющий центр в штабе и руководимый сообщниками Корнилова¹⁾. Но у него нет реальной силы... Корнилов может иметь только «сводный отряд», хотя бы и очень большой. Но Петербург встретит его, как должно, — если действующая армия сейчас же не локализирует и не рассосет его.

С этой стороны опасности нет. Тут революция ничего не потеряет; но сколько выиграет она от того,

¹⁾ Со времени написания этих строк вышло не мало хороших материалов по истории корниловщины — второй том «Истории» Милюкова, мемуары ген. Лукомского (в V томе «Архива Революции», и др. Лукомский, в частности, сообщает, что военный аппарат в Петербурге, состоявший из офицерских и юнкерских кадров, действительно имелся в распоряжении Ставки и даже насчитывал много тысяч. Это была бы достаточная сила, если бы...

✓
что Корнилов, Родзянко и Милюков уподобились Ленину, Зиновьеву и Сталину!) Правда, большевики в июле поспешили сорвать незрелый плод и отравились. Плод созрел бы и тогда пошел бы на пользу революции. Корниловцы не совершили такой грубой ошибки: их плод дозрел, дальше он мог уже сгнить, а революция могла в каждый момент вырвать с корнем самое дерево. Не в пример большевикам, корниловцы могли основательно бояться упустить момент и могли основательно считать данную конъюнктуру наиболее благоприятной для «выступления».

Но эта субъективная сторона дела не имеет значения. Объективно Корнилов с друзьями, проиграв игру, возьмет на себя все ее последствия, как большевики в июле. «Выступление» генералов и биржевиков, да еще связанное с открытием ими фронта Вильгельму — как было недоступно в миллионной доле никаким большевикам — перемещало центр тяжести всей ситуации в противоположную сторону. А остальное... Остальное, правда, еще неизвестно, но ведь оно в огромной степени зависит от нас самих... Едем же скорее в Смольный!

* * *

Смольный действительно был полон. По коридорам, как всегда тускло освещенным, сновали вереницы людей. Ярко освещен был только актовый зал, блестящий своими белоснежными колоннами. Здесь был сейчас центр Смольного. Но заседания Ц. И. К. не было, несмотря на то, что налицо были многочисленные депутаты и чуть ли не все лидеры... В зале «митинговали», собирались группами, бродили

парами. Понурый и удрученный, по зале с кем то из большевиков, прогуливался Церетели. Подойдя, я услышал вяло брошенную им фразу:

— Да, — что ж! — теперь на вашей большевистской улице праздник. Теперь вы подниметесь опять...

Так! Стало быть, мы с Луначарским не ошиблись. Церетели чувствует себя плохо, предвидя те же результаты корниловщины, какие предвидели и мы. Стало быть, действительно можно воспрянуть духом перед открытыми новыми горизонтами.

Пленарное заседание началось часов в 10... Но надо сказать, что я не помню его хода и исхода. Только газетные отчеты пробуждают во мне смутные проблески воспоминаний, совершенно недостаточные для связного изложения, сколько-нибудь заслуживающего доверия. И вообще, как это ни странно, корниловщину я помню смутно и недостаточно, хотя и по драматизму, и по историческому значению она стоит июльских дней... Не то это неисповедимые законы памяти, не то это потому, что я в период Смольного совсем отстал от советских дел, перенеся центр внимания на газету и на выступления среди масс.

В «Новой Жизни» был период отпусков, и мне приходилось заменять товарищей, а петербургский комитет меньшевиков-интернационалистов, в который, кажется, входил и я сам, стал в это время усиленно командировать меня по рабочим клубам и заводским митингам... Словом, мои воспоминания о Смольном и обо всем этом периоде — до «октября» — ныне как-будто сокращаются до совсем ничтожного масштаба, сравнительно с предыдущим. Но вместе с тем я не хочу прерывать начатого связного рассказа, — как бы он ни был неполон, одно-

бок, «неправилен» и «не историчен». Поэтому, в данном случае я разрешу себе самое широкое пользование материалами, — газетами и документами, — впрочем, безо всякого обязательства исчерпать их, научно разобраться в них и представить читателю историческую истину. И прежде всего восстановлю наскоро историю корниловского выступления до 27 августа.

Вкратце — совсем вкратце — эта история такова.

* * *

После-июльское правительство Керенского было бутафорской диктатурой буржуазии. Но буржуазия нуждалась в своей диктатуре — не бутафорской, а реальной. Этого мало. Керенский был «социалист»; его кабинет включал в себя едва ли не большинство бывших «неблагонадежных» людей, далеких от биржи, мелкобуржуазных интеллигентов; и разорвать последнюю ниточку, протянутую, из смольных анти-государственных сфер, глава правительства так и не решался. Это не годилось. «Речь» ворчала: какая же тут дружная общенациональная работа? Какое тут может быть «примирение», если «советы» все еще твердят о программе 8 июля, а правительство их слушает?

Это не годилось. Нужна была диктатура, во-первых, реальная, а во-вторых — под собственной, вполне благонадежной фирмой. Что в самом деле за марка — Керенский — для русской буржуазной государственности, освобожденной, наконец, от оков распутинского царизма? Конечно, мало ли с чем приходилось раньше мириться! Но ведь сейчас организованная демократия, владевшая всей реальной

силой, удушила сама себя во имя «идеи» буржуазной революции. Сейчас советская реальная сила распылена между Советом и восстающими против него большевиками. Сейчас советская армия не боеспособна на внутреннем фронте. А большевики так опростоволосились в июльские дни, что создали густую реакционную атмосферу среди обывателя. Сейчас условия благоприятны, как никогда. Надо действовать, и притом скорее.

Сознательная буржуазия, в лице легиона ее военных и штатских лидеров, стала действовать тут же после «пюля», с самого возникновения бутафорской «сильной власти» третьей коалиции. В немногие недели были достигнуты большие успехи. Ведь старому думскому «прогрессивному блоку» — «конституционным» помещикам, биржевым тузам и генералам — не приходилось спорить о программе, о целях «выступления». Ясна была и «тактика», метод действия, уже описанный выше. Было ясно, во-первых, что реальная сила, необходимая для *coup d'état*, может быть почерпнута только из армии, а, следовательно, формальным инициатором переворота, официальным носителем диктатуры — может быть только тот или иной военачальник. Было ясно, во-вторых, что все дело переворота можно успешно довести до конца только под видом, под флагом, под соусом внешней опасности, «патриотизма», обороны страны, восстановления боеспособной армии... Все это было ясно без лишних слов. Можно было прямо переходить к делу.

Генерал Корнилов был, с этой точки зрения, крайне удачным выбором Керенского в верховные главнокомандующие. В общественных отношениях, или, как говорят, в политике — этот боевой «сол-

дат» не понимал ничего ровным счётом. Следовательно, этот обладатель реальной силы был ни в какой мере не опасен ни Родзянке, ни кадетам, ни биржевикам. «Общественные круги» могли вертеть реальной силой, вместе с ее обладателем, как им было угодно. Но, с другой стороны, генерал Корнилов был человек решительный, мужественный, хотя и слишком экспансивный. Он был способен пойти на большую игру и постоять за себя, когда потребуется. А кроме того, в качестве царского генерала и в качестве солдата-патриота, он был «хорошо» настроен по отношению к «социалисту» Керенскому, не говоря уже о «советах и комитетах».

Самое назначение его на высокий пост сопровождалось не только фрондой, но, можно сказать, озорством — против министра-президента и всего Вр. Правительства. И так же дело продолжалось. Корнилов начал с «требований» и ультиматумов, и даже, как мы знаем, печатал в газетах свои обращения к верховной власти. А затем, установив прецедент, он уже не оставлял правительства в покое. Не проходило недели, — сообщает Керенский в своих показаниях по делу Корнилова, — чтобы верховный главнокомандующий не обратился к главе государства с каким-нибудь ультиматумом... Вообще, лидерам плутократии, в их поисках «диктатора», Корнилов с самого начала стал подавать большие надежды.

* * *

Уже в конце июля, вскоре после назначения Корнилова, к нему в Ставку началось паломничество разных предприимчивых людей. Тут были и просто авантюристы, ходившие вокруг до около полити-

чески наивного генерала (вроде известного члена первой Гос. Думы Аладьина); тут были и «посредники» небольшого удельного веса, работавшие на других (вроде знакомого нам бывшего святейшего прокурора Львова); тут были и ответственные лидеры буржуазных партий и групп...

К началу августа были намечены предварительные практические действия. По родственным организациям, долженствующим представить «общественное мнение страны», был дан знак к началу единой образной кампании: это была кампания за несменяемость Корнилова. Как по команде, военные и штатские организации, одна за другой, выносили на своих собраниях такого рода резолюции. На экстренном собрании Совета Казачьих Войск, 6-го августа, было постановлено «довести до сведения Вр. Правительства и опубликовать в газетах, что... ген. Корнилов не может быть смещен, как истинный народный вождь, и, по мнению большинства населения, единственный генерал, могущий возродить былую мощь армии и вывести страну из крайне тяжелого положения». «Совет Союза Казачьих Войск считает нравственным долгом заявить Вр. Правительству и народу, что он снимает с себя ответственность за поведение казачьих войск на фронте и в тылу при смене ген. Корнилова» и «заявляет громко и твердо о полном и всемерном подчинении своему вождю-герою, генералу Лавру Георгиевичу Корнилову»...

На следующий день, 7-го августа (вспомним — когда в Смольном открывалось «совещание по обороне», а также — большевистская конференция фабр.-заводских комитетов), другая военная орга-

низация, Гл. Комитет Союза Офицеров Армии и Флота, повторила в телеграфном обращении к правительству почти то же самое, присовокупив, что будет поддерживать требования Корнилова «до последней капли крови»... Через несколько часов, ночью на 8-е, к этому единогласно присоединилась конференция «Союза Георгиевских Кавалеров», обещающая, в случае смещения Корнилова, «немедленно отдать боевой клич о выступлении (!) совместно с казачеством». То же объявила еще какая-то «Военная Лига» и др. организации.

Но все это были технические исполнители политического плана. А где же его вдохновители?... Открыто и скопом они объявились в те же дни. Это было известное нам «совещание общественных деятелей», заседавшее в московском университете перед «московским совещанием». Этот цвет думского «прогрессивного блока», под предводительством Родзянки, счел своевременным выступить, хотя и под флером, но всенародно. Очевидно, уже наступила пора готовить обывателя, продемонстрировать перед ним факт борьбы истинных патриотов с дряблым, колеблющимся правительством и призвать обывателя стать на сторону сильной, истинно национальной власти. «Совещание общественных деятелей», 9-го или 10-го числа, послало в Ставку приветственную телеграмму, где «заявляется, что всякие покушения на подрыв вашего (Корнилова) авторитета в армии и в России (?) совещание считает преступным и присоединяет свой голос к голосу георгиевских кавалеров, офицеров и казачества. В грозный час тяжкого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой»...

Вообще, как авторитетно констатирует Керенский в своих «показаниях», московское совещание было чрезвычайно важным этапом за утверждение в России военной диктатуры. По его словам, «здесь русская республиканская (?) реакция окончательно осознает себя; здесь своеобразный русский буланжизм окончательно выбирает себе вождя, здесь производится подсчет сил, здесь объединяются те общественные круги, которые идейно и материально питают это движение; здесь сильно увеличивается круг активных конспиративных работников; здесь, наконец, впервые был представлен России ее будущий диктатор»...

Как мы знаем, он сам пожаловал на московское совещание — против желания министра-президента. И здесь, действительно, его положение уже достаточно «оформилось». В колокола, при его вьезде, правда, не звонили. Но все же церемониал был соблюден хоть куда. Из вагона «верховный вождь» проследовал по проторенному царскому пути, прямо к Иверской. А в вагоне Корнилов принимал визиты и доклады нотаблей, ему — казалось бы — несколько не подведомственных и даже не интересных. Московские газеты сообщали, что крупнейшие финансисты такие-то докладывали верховному главнокомандующему о финансовом положении России; тот же господин Аладьин был «с докладом» о международном положении; «представлялся» Пуришкевич, «был принят» Милюков... Военные, конечно, особо. — Все это было как нельзя более красочно и недвусмысленно.

* * *

Но всего этого мало. Дело тут не ограничивалось одной подготовкой. Факты говорят о том, что переворот связывался именно с моментом и местом «московского совещания». В среде преторианцев буржуазии, юнкеров, ходили слухи, что именно в Москве в эти дни будет провозглашена диктатура, — но на чью сторону они встанут, это был вопрос.

Затем, в это время в Москву двигался 7-й Казачий Оренбургский полк, вызванный в экстренном порядке. До Москвы он не дошел. Он был остановлен в Можайске. Но история с этой экспедицией имела уже совсем странный вид. Москва была городом сравнительно мирным; большевистские «выступления» были там пока неведомы и не ожидались; казачий, преданный Корнилову полк двигался, можно сказать, без всякого повода. Это был полк корниловского переворота... Но откуда же двигали его патриоты и защитники отечества от коварного внешнего врага? Они двигали его с фронта, где положение было критическим, где Рига была при последнем издыхании, где доблестный казачий полк был необходимым цементом среди большевистского разложения... Однако, самое интересное: кто же вызвал и двигал полк без малейшего «законного» повода в ущерб обороне государства? Показания Керенского на этот счет замечательно любопытны. «Я не знаю, для чего двигался казачий полк, — сообщал следственной комиссии глава правительства в начале октября. — Вероятно, для поддержания каких-то требований. К каким результатам пришло расследование этого случая, я не знаю. Кем был вызван полк, точно не установлено. Известно было, что — помимо командующего московским

округом, помимо Вр. Правительства и военного министра... Мы ничего не знаем»... Больше ничего. Комментарии излишни.

Казачий полк, вкупе и влюбе с юнкерами, пожалуй, мог бы обслужить стратегическую часть переворота — при условии его внезапности и в обстановке распыления гарнизона между советом и большевиками. Разумеется, это был бы переворот на час. Но его вершители во всяком случае могли питать свои тщетные надежды и на эту незначительную силу. Ведь нельзя же было так, под шумок, без ведома всех подлежащих властей, перетащить с фронта целый корпус!..

Но оставался красный Петербург, который, на несчастье все еще оставался столицей государства. Задача, более трудная, состояла в том, как покорить его. Заговорщики не могли не понимать, что только тогда можно рассчитывать на успех... И оказалось, что это было предусмотрено. В те же дни на Петербург двигался из Финляндии (по со-седству) 1-й кавалерийский корпус кн. Долгорукова. Зачем и почему двигался? — Это правительству и военной власти опять было неизвестно. Но заговорщики слишком спешили и действовали неряшливо. Странное «движение» войск и тут было несвоевременно замечено и было приостановлено.

Надо думать, что именно в силу этих технических причин попытка переворота не была предпринята во время московского «совещания». Дело ограничилось тревогой, слухами, нервностью Ц. И. К. и внушительными предостережениями большевиков. Но самый-то интересный вопрос заключается в том, что думало и делало, глядя на все это, полномочное

и неограниченное, демократическое и полусоветское Вр. Правительство?

* * *

Керенский в показаниях заявляет, что, обобрав всю эту картину, он «был очень доволен, так как то, что ему нужно было, он совершенно учел и знал, где, что и как». Ну, и какие же меры он принял? Бросился ли «демократ» и «социалист», если не к подлинной демократии, то ко «всей демократии» верховного советского органа? Открыл ли он перед ними карты заговорщиков? Составил ли с ним единый фронт защиты революции? Раздавил ли он генерала, идущего в поход на законную верховную власть и открывающего фронт Вильгельму? Искоренил ли он источник заговора всей диктаторской силой демократии? Ведь все это обязан был сделать глава демократического правительства. И все это он мог сделать с величайшей легкостью, во мгновение ока.

Но мы знаем, что вместо всего этого сделал Керенский. Он произнес на открытии «Совещания» очень сердитую речь, с выпадами и угрозами не только налево, но и направо. Он кричал: «пусть еще более (кроме левых) остерегаются те, кто думает, что настало время, опираясь на штыки, низвергнуть революционную власть!.. Ныне я с такой же решительностью (как 3—5 июля), с помощью всего Вр. Правительства, поставлю предел стремлениям великое несчастье русское использовать во вред общенациональным интересам. И какой бы кто мне ультиматум ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти. Всякая попытка большевизма наизнанку найдет предел во мне».

Очень хорошо говорил министр-президент Керенский. Левая часть собрания на всякий случай аплодировала от имени всей демократии. Но, собственно, почти никто не понимал, что это за намеки делает глава государства. Не то для этого есть реальные основания, не то это — тоже на всякий случай. Ничего членораздельного Керенский об опасности переворота не сказал. На том дело и кончилось.

По возвращении в Петербург, как мы знаем, был «раскрыт» и «ликвидирован» некий заговор, в коем участвовали фрейлины и великие князья. Я упомянул, что этому тогда никто не придал серьезного значения. А потом Керенский признал, что это раскрытие заговора было попыткой направить внимание правительства на ложный след. По действительному следу верховная власть не шла и попрежнему помалкивала. Для ликвидации заговора в Ставке — заговора, известного Керенскому, — правительство не делало и не сделало ничего.

Но совершенно ясно, что деловых его участников испугать и разогнать окриками премьера было невозможно. Если дело сорвалось на московском «совещании», то надо продолжать его после «Совещания», — но при этом надо тщательно подготовиться, благо никто этому не мешает... Родзянко, Гучков, Милюков и Корнилов стали продолжать дело с удвоенным вниманием.

Через два дня начался разгром на северном фронте. Его можно было избежать, но это не было сделано, ибо он входил в подготовку заговора. Была инсценирована опасность для столицы; была официально оклеветана армия, в лице солдатской массы; разгром был приписан измене солдатских «толп» — в результате советской политики. И были сделаны

выводы — не особенно логичные, но очень практичные: после прорыва у Риги, то есть за неделю до «выступления», Керенский стал получать из Ставки настоятельные требования — ввести в Петербурге военное положение и передать все войска округа в распоряжение верховного главнокомандующего...

Впрочем, Ставка мотивировала это требование еще и тем, что у нее имеются вполне достоверные сведения о предстоящем на днях «выступлении» большевиков. Никаких подобных сведений у Ставки, разумеется, не было. Это — во-первых. Во-вторых, эти дела ей ни в какой степени подведомственны не были: следить за политическими движениями было не «солдатское» дело, особенно когда своих хлопот, казалось бы, должен быть полон рот: ведь «беспорядочное бегство» армии в эти дни было в полном разгаре... Но вместе с тем ссылки на большевиков все же придавали домогательствам Ставки тень логичности и убедительности.

Как же отвечала на них наша верховная власть? Керенский, обязанный после московских демонстраций разгромить Ставку, этого не сделал. Но во всяком случае он не переставал знать, что в Ставке сидят заговорщики. Это — во-первых. Во-вторых, Керенский подчеркивает в своих показаниях несколько раз, что никаких выступлений большевиков не предполагалось. Это он знал наверное, на этот счет он категорически заверял Вр. Правительство, в ответ на запросы министров. Большевистских «выступлений» не было, в его глазах, «ни признака».

Ну, как же он мог при таких условиях реагировать на домогательства Ставки? Если (из высших соображений) Керенский и терпел Корнилова, с его

военной и штатской кликой, то на домогательства
ежовых рукавиц для столицы, одетых на руки за-
говорщиков, премьер мог ответить только окриком:
провокация! подальше подозрительные руки!...
Нельзя ждать иного от дрябло-крикливого, но демо-
кратического премьер-министра.

Увы! мы уж условимся ничему не удивляться
и ждать самого неожиданного... Керенский со-
гласился на военное положение. Вместе
со всем своим кабинетом он признал это необходи-
мым, и «никакого возражения ни с чьей стороны
это не встречало». Керенский, в показаниях, под-
черкивает, что Совет на этот счет не оповещали,
но ведь в правительстве было достаточное коли-
чество советских представителей — Авксентьев,
Скобелев, Чернов...

Но зачем же и почему военное положение? Ведь
Рига тут была явно не при чем, а большевистского
«выступления» заведомо не предполагалось. Ведь
если у Ставки, у заговорщиков была тень логики,
то, видимо, у Керенского ее не было. Если у Ставки
тут была очевидная деловая цель, то демократи-
ческий министр-президент тут как будто бы является
в образе бабочки, летящей в гибельный огонь...
Как же, однако, сам Керенский объясняет вводимое
им военное положение? Вот как: «Вр. Правитель-
ство хотело одного, — гарантировать столицу от
неожиданностей и экспериментов». Больше ничего.

Но если Керенский категорически отрицал заго-
вор справа, то, может быть, военное положение
должно было гарантировать от экспериментов и
неожиданностей именно со стороны Корни-
лова?... Ставка требовала не только военного
положения, но и предоставления всех войск петер-

бургского округа в распоряжение верховного главнокомандующего. Керенский, в показаниях, подробно рассказывает о том, как он протестовал в совете министров против этого. Он требовал, чтобы Вр. Правительство «передало Ставке все, что ей нужно по стратегическим соображениям», но вместе с тем сохранило бы свою самостоятельность и «не отдавало бы себя совершенно в распоряжение Ставки».

Видя, стало быть, в Ставке врага, врага правительства, в качестве революционной меры борьбы с ним, Керенский настаивал на выделении Петербурга, как политического центра, и на его независимости от Ставки в военном отношении. Военное положение в столице должно было быть введено, но — «под непосредственным наблюдением Вр. Правительства, а не верх. главнокомандующего»... Керенский сообщает, что он «около недели вел борьбу за принятие этого плана и в конце концов удалось привести к единомыслию всех членов Вр. Правительства»...

Так, — это было очень хорошо. Но к какому именно единомыслию? Ведь из предыдущего мы твердо знаем, что 24 августа было введено новое «положение об управлении Петербургом». Согласно этому «положению», все войска и военные учреждения петербургского округа подчиняются именно Ставке... Тут что то не в порядке.

Пойдем дальше. — Мы знаем, что после Риги была предпринята попытка очистить Петербург от большевистских полков. При содействии солдатской секции эта попытка удалась. Представители гарнизона постановили, в виду тяжелого положения на фронте,

беспрекословно подчиниться провокационному приказу об его выводе в массовом масштабе. Все правительство, во главе с Керенским, несомненно, участвовало ближайшим образом в проведении этой меры...

Но на место старого гарнизона с фронта двигались какие-то новые «кавалерийские» части. Об этом мы также знаем. Но мы еще не знаем, что это за «части», зачем они двигались и по чьему приказу. А дело обстояло так.

* * *

В Петербург двигался 3-й казачий корпус. В его построениях (хотя бы после приведенной резолюции Совета Казачьих Войск) сомневаться нет никаких оснований. Это была отборная гвардия Корнилова. Она была готова грудью постоять за «народного вождя» против кого угодно, — и в частности против Вр. Правительства: ведь резолюция казачества была заострена именно против министра-президента... Однако, это далеко не исчерпывает вопроса.

Кто вызывал контр-революционные войска?... Керенский «показывает», что «мысль о вызове, 3-го корпуса появилась только после взятия Риги». Допустим — так. Но у кого же «возникла мысль»? Мысль возникла, по всем данным, у Савинкова, единомышленника и друга Корнилова, ближайшего сотрудника и наперсника Керенского...

Мы знаем, что перед отъездом на «Совещание» в Москву он подал в отставку; это произошло на почве колебаний Керенского полностью удовлет-

ворить требования Корнилова. Но это было не серьезно — заведомо для всех. Это было наивное вымогательство у расхлябанного Керенского, — причем Савинков исходил из правильной предпосылки, что серьезных и принципиальных разногласий между премьером и главковерхом нет. По возвращении из Москвы было сообщено официально, что Савинков остается.

Итак, Савинков, эта «воплощенная личная уния кабинета и Ставки», был с точки зрения Керенского инициатором вызова в столицу 3-го корпуса. На деле тут Савинков был, конечно, только заинтересованным посредником, за страх и за совесть выполнявшим волю Корнилова и его штатских руководителей. Но министр-президент выслушал предложение от Савинкова и охотно пошел на него. Он только ревниво оберегает свою самостоятельность, и потому в «показаниях» сообщает невнятно, завуалированно: «мысль»-де о вызове 3-го корпуса пришла им обоим — и премьеру, и управляющему военным министерством.

Ну, хорошо... А кто же это дело сделал формально? Кому принадлежит честь, на ком лежит ответственность за приказ о движении в Петербург 3-го корпуса? Проходил ли вопрос через Вр. Правительство?... Керенский, на вопрос следователей по делу Корнилова, подробно разъясняет, в каком порядке происходили тогда заседания и совещания Вр. Правительства. Но вопрос о вызове надежных войск формально в кабинете не ставился: «это было в порядке переговоров;... чтобы вызвать определенно 3-й, или 5-й, или 12-й, вообще разговоров не было; просто спросили, достаточно ли вы были обеспечены; а военный министр ответил — «меры при-

нимаются»... Вот на этом основании и были приняты меры».

23-го августа Савинков приезжает в Ставку и передает верх. главнокомандующему предложение министра-президента направить в распоряжение Вр. Правительства отряд войск. 24-го Савинков уезжает из Ставки, получив от Корнилова «согласие» на посылку конного корпуса. 25-го Савинков возвращается в Петербург и докладывает Керенскому об этом «согласии» Корнилова. 26-го Корнилов подписывает приказ о формировании «петербургской армии». Вот кто и как двинул в Петербург 3-й корпус.

Но зачем, для какой цели это было сделано? Как объясняли этот свой акт сами действующие лица?... Керенскому следователи в упор ставят вопрос: стоял ли вызов казачьего корпуса в связи с ожидаемым выступлением большевиков! Керенский совершенно определенно отрицает: нет, — «тогда внимание было сосредоточено в другую сторону: после московского совещания для меня (Керенского) было ясно, что ближайшая попытка удара будет справа, а не слева». И Керенский еще прибавляет несколько слов насчет своего «напряженного настроения в связи с неизбежностью конфликта» между правительством и Ставкой».

Вы, конечно, ничего не понимаете, читатель? вы не понимаете, как же это глава кабинета, нуждаясь в твердой опоре и притом именно против Ставки, предложил именно этому гнезду контр-революции, предложил именно самим заговорщикам сформировать и прислать ему в Петербург преторианскую гвардию? Да, конечно, это не совсем обычные отношения между цицеронами и катилинами. Но все

же вы не спешите с выводами. Ибо это еще не единственное и не последнее слово Керенского. Он «показывает» еще так: «3-й корпус, который сюда двигался, должен был быть той военной силой, которая должна была поступить в распоряжение не верх. главнокомандующего, а Вр. Правительства — на всякий случай. Для чего понадобятся эти войска, определенно не устанавливалось. Вообще на всякий случай. Еще неизвестно, в какую сторону надо будет их употребить. Да я и не думал, что их придется пустить в ход... Когда началась вся эта история, многие, кто был ближе ко мне, спрашивали: не помню ли я, как возникла эта история, почему 3-й корпус, — и мы никто не могли вспомнить, как это началось, почему и что — настолько не фиксировано это было у нас здесь» (стр. 88—89)...

Если читателю больше нравится эта версия, то пусть примет ее. Я комментировать ее не стану. Однако, позвольте, — при малейшей степени достоверности этих показаний и при малейшей серьезности, не полной ребячливости главы государства, — ведь нужны все-таки какие-нибудь элементарные гарантии того, что сформированные в гнезде заговорщиков войска поступят действительно в распоряжение Вр. Правительства, а не обратятся против него.

Забудем даже о том факте, что военное «управление Петроградом», согласно постановлению верховной власти, находится именно в руках Ставки. Пойдем навстречу Керенскому значительно дальше здравого смысла. Условимся не считать его «показаний» ни лживыми, ни бессмысленными, а самого главу государства — ни бесконечно смешным, ни явно преступным. Постараемся вычитать в «пока-

заниях» — в строках и между строк — все, что противоречит этому, и попытаемся понять, как же в самом деле произошла эта странная «история», «как это началось, почему и что»?

Разумеется, показания, объясняющие дело, имеются у Керенского... Оказывается, министр-президент, посылая Савинкова в Ставку с предложением выслать корпус, определенно поставил условия, чтобы войска поступили в распоряжение Вр. Правительства, а к верх. главнокомандующему «никакого отношения не имели бы». Так... Однако, я решаюсь утверждать, что это еще недостаточно. Не только Керенский мог поставить такое условие, но и Корнилов мог его легко принять — безо всякого для себя риска и безо всяких конкретных обязательств. Я спрашиваю, какие были гарантии, самые элементарные и минимальные?

Гарантии такие. Посылая в Ставку Савинкова с предложением Корнилову направить в Петербург надежное войско, Керенский поставил два конкретных и притом неперемennых условия: 1) чтобы во главе отряда не было генерала Крымова и 2) чтобы с отрядом не посылалась Туземная Кавказская («Дикая») Дивизия. Савинков, докладывая Керенскому о своих переговорах с Корниловым, сообщил (25 числа), что главноверх «согласился» и на эти условия. Вот и все, что мы находим в апологии Керенского — то-есть в его «показаниях» — в качестве гарантии независимости преторианского отряда от Ставки и его верности Вр. Правительству.

Когда на московском «Совещании» Керенский убедился в наличии грандиозного заговора справа, то он... накричал на заговорщиков. Когда теперь ему была нужна верная воинская сила, способная

в первую голову защитить революцию от Ставки, то Керенский... отводит одного из кандидатов в начальники формируемого Ставкой отряда и требует, чтобы отряд был составлен из кого угодно, но не включал в себя такую-то дивизию.

Я решаюсь утверждать, что самым заговорщикам, как и следственной комиссии, как и всем современникам, и потомству, и кому угодно — все эти требования, «гарантии» и «непременные условия» обязательно должны показаться не больше, как детскими игрушками, которыми тешится беспомощный глава государства... Ну, кто такой генерал Крымов? Почему за ним признана монополия контрреволюционности и ненадежности? Генерал Крымов — один из тысяч царских генералов, политически известный, кажется, только одним своим участием в дореволюционном дворцовом заговоре против Николая Романова и Григория Распутина. Может быть, как честный человек, он не скрывал своих убеждений и тем привлек к себе внимание министра-президента; а сотен других генералов, согласных и на Романова, и на Распутина, Керенский просто не знал.

Корнилов, без малейшего риска мог согласиться и на это «непременное условие»; трудно сомневаться в том, что он мог заменить Крымова другим матерым, хотя бы менее честным монархистом...

Что касается «дикой дивизии», то как будто бы и на ней свет не сошелся клином. Для Корнилова она явно не могла иметь монопольного значения, если в его распоряжении были все казаки, упомянутый корпус Долгорукова и прочий материал для сводных отрядов. Действительность показала, что «дикая дивизия» для Корнилова оказалась не лучше,

а хуже, чем заведомо могли бы быть многие другие части... «Гарантии» Керенского были не больше, как ребячьими игрушками, которыми тешился — бутафорский премьер.

Чтобы вернее «гарантировать» себя — не от Корнилова, а от Крымова, — министр-президент, числа 24 или 25, подписал указ о назначении Крымова командиром 2-й армии. Казалось бы, это чисто военное назначение не могло состояться без Корнилова; казалось бы, Корнилов обязательно должен был этим быть шокирован и обозлен; но — Керенский показывает, что это было сделано для его, Керенского, «успокоения». Крымов отослан во 2-ю армию, «вопрос кончен», Керенский спокоен.

Однако, Корнилов, несмотря на заявление Савинкова об его «согласии», не выполнил «непременных условий» Керенского. Не знаю, что была ему за крайность пойти наперекор Керенскому в столь несущественных пунктах. Но начальником петербургской армии он назначил все-таки Крымова, а головным отрядом пустил на Петербург все-таки «дикую дивизию». И вот здесь (с формальной, судебно-юридической точки зрения) мы подошли к центральному пункту. Двигалась ли на Петербург контрреволюционная армия в силу соглашения главы правительства с верховным главнокомандующим? Керенский отвечает: нет. Почему? — Потому что предложение министра-президента прислать в его распоряжение отряд на определенных условиях выполнено не было. Корнилов отвечает: «да, отряд вызван самим Керенским, он был сформирован и отправлен именно в силу соглашения».

На основании всего предыдущего тут как будто прав Керенский. Корнилов действовал независимо

от соглашения: условий Керенского он действительно не выполнил, и, стало быть, соглашение надо считать несостоявшимся.

Однако, тут любопытна прежде всего фактическая сторона дела. Керенский «предложил» Корнилову прислать войско на определенных условиях. Что же на этот счет имеется документ (кроме «указа» о назначении Крымова во 2-ю армию)? имеется соответствующий приказ или «отношение» министра-президента к главноверху? Нет, этого не имеется. Переговоры шли через distinguished Савинкова, друга и помощника обеих сторон. Керенский просил Савинкова передать свои условия Корнилову. Вернувшись из Ставки, Савинков сообщил о «согласии» Корнилова. В показаниях Савинкова (цитируемых по Керенскому) точно так же говорится, что «Корнилов обещал не назначать командиром корпуса ген. Крымова и заменить туземную дивизию регулярной кавалерийской дивизией». Что «показывал» Корнилов по этому пункту, я не знаю. Но нейтральный человек Савинков, кум и сват обеих сторон, когда давал свои показания, уже, конечно, не мог быть корниловцем и был обязан, независимо от истины, лить воду на мельницу Керенского.

Однако, пусть уста этого почтенного человека извергают одну только святую истину. Нам любопытно то, чего они не извергают, чего нет в его показаниях. В самом деле, не имея от Керенского официального письменного приказа, — как именно, в какой форме, в каком тоне он беседовал в Ставке со своим другом и единомышленником Корниловым? Передал ли ему управляющий военным министерством официальный ультиматум верховной власти?

Или же Савинков, только что выходявший в отставку из-за неполного удовлетворения требований Корнилова, передал главковерху мнение Керенского, убеждая с' своей стороны пойти ему навстречу в таких пустяках...

И что же, в точности, ответил Корнилов? Сказал ли он: слушаюсь! Или он «согласился» удовлетворить Керенского при малейшей к тому возможности? И «обещал» принять все меры к тому, чтобы все кончилось к общему удовольствию и т. п.? Савинков, по возвращении, говорил Керенскому, что Корнилов «согласился» на его условия и «обещал» удовлетворить его насчет Крымова и дикой дивизии. Но мало ли что говорил Савинков Керенскому о положении в Ставке! Он говорил, напр., что в первый день его пребывания в Могилеве (23 авг.) Корнилов рвал и метал против Керенского, а при отъезде Савинкова выяснилось, что Корнилов желает с Керенским работать и «предан» ему... Нет, гражданин Керенский, так нельзя! Так государственные дела не делаются...

И вот теперь мы имеем свидетельские показания. Непосредственным, хотя и мало разумеющим дело, свидетелем был начальник штаба Корнилова ген. Лукомский. Без задних мыслей, чуждый адвокатскому крючкотворству, он описывает так разговор Савинкова с Корниловым, в части, касающейся «условий» премьер-министра и «обещаний» главковерха.

«... При них (Корнилове, Лукомском, Романовском, Барановском) Савинков еще раз повторил о том, что после утверждения Вр. Правительством согласованных с требованиями Главнокомандующего мероприятий, неминуемо в Петрограде высту-

пление большевиков; что для подавления этого выступления ген. Корнилов, в полном согласии с Вр. Правительством, направляет к Петрограду конный корпус и что теперь надо определить тот район, который необходимо объявить на военном положении при приближении корпуса к Петрограду...

Прощаясь с ген. Корниловым, Савинков выразил уверенность, что все пройдет хорошо и, неожиданно для нас, добавил:

— Только начальником отряда не назначайте ген. Крымова.

На это Корнилов ничего не ответил.

После отъезда Савинкова и Барановского, в кабинет Корнилова были приглашены Крымов, Завойко и Аладын. Корнилов передал им все, что было сказано Савинковым и добавил, что теперь все действительно согласовано с Вр. Правительством, что никаких трений не будет, и все пройдет великолепно».

Впрочем, я решительно не имею ничего против, если какой-нибудь суд, взвесив на аптекарских весах все юридические тонкости, оправдает Керенского по этому пункту и скажет: нет, поход Корнилова на Петербург, под командой Крымова, с дикой дивизией во главе, состоялся не по соглашению Корнилова с Керенским. Такого соглашения между ними не было. Охотно и с радостью готов признать это. Но ведь это же такие пустяки, о которых не стоит, нет смысла говорить перед лицом истории. Ну, не все ли равно политически, входил ли в состоявшееся соглашение Крымов или другой генерал, входила ли в него дикая дивизия или другая, верная Корнилову часть? Разве это меняет политический смысл того факта, что Керен-

ский, без малейшей угрозы слева для общенационального правительства, предложил гнезду заговорщиков двинуть в Петербург надежное войско и занять столицу корниловской силой?

Но вы, читатель, стало быть, опять ничего не понимаете? Что же делать! Может быть, в дальнейшем кое-что прояснится... Я, с своей стороны, не вижу ни нужды, ни возможности подробнее останавливаться на подготовке корниловского похода. Теперь мы обратимся к самому «выступлению». Драма разворачивалась в таком порядке.

* * *

24 августа, пока Савинков пребывал еще в Ставке, 3-й корпус был окончательно сформирован под командой ген. Крымова. Именно в этот день, особым приказом Главковерха, Крымову была подчинена и дикая дивизия. 25-го Савинков в Петербурге докладывает Керенскому, что к столице уже движется 3-й корпус (стр. 88). Под чьей командой — министр-президент не знает; но он уверен, что с корпусом не идет ни Крымов, ни дикая дивизия, и потому премьер «спокоен».

Официальный приказ о формировании петербургской армии Корнилов подписывает только 26-го, но правительству о нем не сообщает. Ночью на 27-е Корнилов посылает в Петербург Савинкову телеграмму, которая начинается такими словами: «корпус сосредоточится в окрестностях Петрограда к вечеру 27 августа»... «Правительству, — пишет Керенский, — предоставлялось думать, что это тот самый отряд, который без Крымова и туземной

дивизии должен был прийти в распоряжение правительства».

Какие же директивы были даны корпусу и его начальнику? Директивы такие: «в случае получения от меня (Корнилова) или непосредственно на месте сведений о начале выступлений большевиков, немедленно двигаться на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнули к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать Советы»...

Это — в случае выступлений большевиков. Очевидно, либо Корнилов не раскрывал карт даже перед Крымовым, либо перед Корниловым не раскрывали карт его штатские, политические руководители: так или иначе, в решительный момент, Корнилов делал исходным пунктом большевистское выступление, которого заведомо не предполагалось.

Ну, а что делать Крымову со своим корпусом, если большевики будут сидеть смирно? Этого не предусматривали задания, полученные Крымовым, уезжавшим из Ставки 26-го вечером догонять свой отряд... Но как же так? Почему же это не было предусмотрено? Корнилов показывает: «невыполнение Крымовым возложенной на него задачи объясняется тем, что с ним была прервана связь, и он не мог получить моих (Корнилова) указаний; особых мер для поддержания с ним связи не было принято потому, что корпус направлялся в Петроград по требованию Вр. Правительства, и я не мог предвидеть такого положения, что связь его со Ставкой будет прервана приказом правительства же».

Да, во всем этом разобраться не так легко... Корнилов, от имени всероссийской плутократии, 26-го числа приступил к выполнению плана устано-

вления буржуазной диктатуры. Он должен был ликвидировать демократические организации, зажать красный Петербург в кулак военного положения, реорганизовать власть, водворить прочный буржуазный порядок и кончить революцию. Опубликованные ныне материалы свидетельствуют о том, что Корнилов предполагал «снять с революции голову», физически уничтожив Ц. И. К. (плюс петербургский совет) и перевешав сотню-другую партийных лидеров. В этих пределах все совершенно ясно...

Но не ясно обстоит дело между Корниловым и Вр. Правительством... ведь пока мы не видим в действиях Корнилова ничего, направленного против носителя верховной власти. Его действия легальны — за исключением все того же Крымова и дикой дивизии, нелегально включенных в отряд. Но это не существенно... Заговор против существующего порядка — очевиден, а против Керенского — едва заметен. Может быть, его и не было?

О нет! Такой вывод, на котором настаивает сам Корнилов, был бы слишком поспешен. Заговор странный и мудреный — слов нет. Но он, конечно, был палицо. Мы уясним себе его «физиономию», как только перейдем от стратегической стороны дела к политической.

* * *

26-го к вечеру Корнилов снаряжал Крымова в догонку за его корпусом, уже шедшим на Петербург.

В тот же час в Зимний дворец к министру-президенту явился знакомый нам бывший духовный прокурор В. Н. Львов. Он уже несколько часов добивался аудиенции — по делу чрезвычайной важности.

Но Керенский был занят, и только около 6 часов Львов был допущен к нему в кабинет... Это был уже не первый визит Львова после его отставки. Незадолго он приходил еще раз для политической беседы с Керенским. Но в прошлый раз беседа носила неопределенный характер. Львов выступал тогда от имени каких-то общественных групп, точно не называя их; он требовал «пополнения» правительства правыми элементами, предупреждая о грозящих Керенскому опасностях в случае отказа и ссылаясь на наличие реальной силы у тех, кто стоит за его, Львова, спиной. Керенский, не уясняя себе, что это за группы и что у них за сила, — не придал, по его словам, никакого значения этой беседе, и она кончилась ничем.

Сейчас, вечером 26-го августа, Львов объявил, что он является официальным парламентаром Корнилова. Почему Корнилов и его товарищи остановились на этой довольно странной фигуре?.. Очевидно, потому, что он, подобно китайскому кули, был многовынослив и мало-требователен. Абсолютно неспособный, по удельному своему весу, ни к какой самостоятельной роли, Львов был подходящим типом для черной работы на других... Однако, в данном случае центральные руководители явно не оценили всей сложности технического поручения. В Ставке у Корнилова для такой функции могли бы найтись и более подходящие, более ловкие люди, — вроде двух проходимцев — ординарца Завойко или верховного комиссара Филоненко, поставленного на этот пост доблестным Савинковым. Правда, эти господа выполняли у Корнилова и более ответственные роли: я не касался их, чтобы не загромождать без нужды изложения. Но, во всяком случае,

святейший Львов, в качестве вестника «диктатора», как мы сейчас увидим, оказался не на должной высоте.

Допущенный, наконец, в кабинет министра-президента, он долго ходил вокруг да около: говорил об опасностях, грозящих Керенскому, о своем желании спасти его и т. д. А затем изложил следующее:

Ген. Корнилов через него, Львова, заявляет, что при данных условиях Корнилов не окажет никакой помощи Вр. Правительству против большевиков; что за безопасность Керенского главковерх не может поручиться нигде, кроме как в Ставке. Но это — в частности. А вообще — дальнейшее пребывание Вр. Правительства у власти более недопустимо. Корнилов предлагает Керенскому немедленно, сегодня же побудить кабинет вручить всю полноту власти главковерху. До формирования Корниловым нового кабинета, управлять текущими делами должны товарищи министров. Во всей России должно быть объявлено военное положение. Лично же Керенский и Савинков благоволят в ту же ночь выехать в Ставку, где им в новом кабинете предназначены портфели — первому юстиции, а второму военный... Насчет этих портфелей сообщалось Керенскому по секрету — не для оглашения в совете министров.

Выслушав эти содержательные предложения, Керенский, по его словам, был «изумлен, скорее даже потрясен этой неожиданностью». И он «решил еще раз испытать и проверить Львова, а затем действовать. Действовать немедленно и решительно! Голова уже работала, не было ни минуты колебаний, как действовать. Я не столько сознавал, сколько чувствовал всю исключительную серьезность положе-

ния... если слова Львова хоть в чем-нибудь соответствуют действительности».

Львова надо было испытать и проверить. Керенский предложил ему письменно изложить требования Корнилова. Львов очень охотно и быстро написал для Керенского и истории следующий документ: «1. ген. Корнилов предлагает объявить Петроград на военном положении, 2. передать всю власть военную и гражданскую в руки верх. главнокомандующего, 3. отставка всех министров, не исключая и министра-председателя и передача временно управления министерствами товарищам министров впредь до образования кабинета вер. главнокомандующим. В. Львов. Петроград. Августа 26-го дня 1917 года».

Итак, вот что Корнилов, со своей компанией, предпринял политически... Конечные результаты корниловского «выступления» с очевидностью показали, как неловко, неумело, без учета и понимания обстановки действовали заговорщики. Но все же Ставка не могла не понимать одного важнейшего обстоятельства: надо до возможного максимума держаться в легальных пределах; подготавливая переворот, надо впредь до самой крайней к тому необходимости не выступать против Вр. Правительства и действовать до последней возможности в контакте с ним...

Мы видели, что технические, стратегические мероприятия Корнилова были почти легальны. 3-й корпус, на предмет введения военного положения, двигался к Петербургу с ведома и согласия, и даже по предложению правительства. Шероховатость заключалась только в начальнике кор-

пуса и в туземной дивизии. Но и тут, с точки зрения Корнилова, никакой нелегальности, пожалуй, не было: ведь Керенский, по его словам, узнал от Савинкова 25-го числа, что корпус уже выступил в поход; и он не поинтересовался тогда же узнать, кто его начальник и выполнены ли Корниловым его «непременные условия». Керенский прошел мимо этого и, стало быть, действия Ставки перед лицом министра-президента были вполне легальны до самого вечера 26-го августа, до самого разговора со Львовым.

Тут нелегальность и заговор, как таковой, выступили перед Керенским впервые. Потому-то он и был «потрясен» от «совершенной неожиданности». Правда, для здравомыслящего, уравновешенного человека тут не могло быть ничего неожиданного и потрясающего. О заговоре Керенский знал давным давно; сам же он заговорщиков легализировал, действуя совместно с ними; отношение Ставки к нему и к его бутафорско-диктаторскому кабинету не могло внушать никаких сомнений. Какая же тут неожиданность?

Корнилов желает достигнуть максимума легальности и в политической сфере, — как она без труда далась ему в руки в области стратегической. Ведь в стратегии против революции они — так или иначе — действовали совместно. Разве он не мог надеяться, что они могут найти почву для соглашения и в политике?.. И вот Корнилов подсылает своего вестника с политическим «предложением»: уступите премьерство ему, главковерху, который создаст новое правительство, и идите в это правительство сами со своим ближайшим подручным Савинковым.

Это, конечно, заговор и контр-революционный переворот. Но — не против Вр. Правительства. Правда, «солдату» совсем не подобает выступать перед главой правительства с такими «предложениями». Но ведь это же и не более как предложение, сделанное через совершенно частное лицо. Ни речь, ни документ Львова не заключают в себе никакого ультиматума. И ни в какой мере Керенский не поставлен действиями Корнилова перед каким-либо неожиданным, уже совершившимся фактом. Ведь только в речи Львова имеется намек на ультиматум. Но какой? Правительству не будет оказано помощи против большевиков. Это должно было бы только насмешить премьера, твердо знавшего, что никакой опасности ему отсюда пока не угрожает...

Корнилов выступает с предложением. Керенскому предоставляется принять его или отвергнуть. Допустим, он его отвергнет. И тогда — пока что — все останется по старому: в Ставке попрежнему заговорщики, корпус на Петербург попрежнему движется и т. д. Что тут потрясающего?

Так или иначе, но вот факт. Все было в порядке, премьер занимался текущими делами, ничто его не потрясло — пока Львов не передал ему неподобающего, дерзкого и бестактного, но легального предложения уступить Корнилову верховную власть. Правда, Корнилов «подкреплял» свое предложение походом 3-го корпуса. Но ведь Керенский то не знал, что его пожелания не выполнены и что корпус идет с Крымовым во главе.

С точки зрения Ставки, переворот, совместно начатый, мог быть «легально» завершен по взаимному соглашению. Но потрясенный последней черточкой,

логически вытекающей из всего предыдущего, Керенский взорвался, взбунтовался и решил «действовать» против мятежников... «У меня, — пишет Керенский, — исчезли последние сомнения! Было только одно стремление, одно желание пресечь безумие в самом начале, не давая ему разгореться, предупреждая возможное выступление сочувствующих в самом Петрограде»... Ну, отлично. И как же он стал действовать?

«Испытав и проверив Львова», убедившись, что он точно представляет Корнилова, что «ни ошибки, ни шутки здесь нет», Керенский предпринял такие решительные действия. Между ним и Львовым тут же «было решено, что об отставке (правительства) ген. Корнилов будет извещен телеграфно, а я (Керенский) в Ставку не поеду»... Другими словами, министр-президент заявил представителю Корнилова, что он принимает предложение мятежников и немедленно известит их об этом, но только сам не войдет в новый кабинет, составленный главковерхом. Почему же в этой части Керенский не принял предложения? Об этом в показаниях сказано так:

«— Ну, а вы что же, поедете в Ставку? — спросил Львов.

«Не знаю, почему этот вопрос как-то кольнул, насторожил меня и почти неожиданно для самого себя я ответил:

— Конечно, нет, неужели вы думаете, что я могу быть министром юстиции у Корнилова!»

Львов, с своей стороны, очень обрадовался такому решению Керенского, из личных к нему симпатий: вестник Корнилова был уверен, что главковерх готовит Керенскому ловушку в Ставке. Но и во-

обще Львов был очень доволен исходом дела, — это ясно и без пояснений Керенского.

— Это очень хорошо, — говорил Львов, — теперь все кончится мирно. Там считали очень важным, чтобы власть от Вр. Правительства перешла легально...

Вы, читатель, не только ничего не понимаете, но совсем запутались? Я это отлично вижу. Вы, правда, не прочь полюбоваться этой прелестной классической опереткой, перед которой меркнет Оффенбах. Но вам мешает то, что действие происходит не на сцене легкого жанра? Вы запутались, я вижу. Но подождите, подождите! Сейчас я вам все раз'ясню.

Вы, как и Львов, приняли начавшиеся «действия» Керенского за чистую монету. Но это был только ловкий и тонкий дипломатический прием, дьявольская, макнавеллиевская хитрость... «Я сознавал все с поразительной ясностью! — пишет Керенский. — Мгновения, пока писал Львов, мысль напряженно работала. Нужно было сейчас же установить формальную связь Львова с Корниловым, достаточную для того, чтобы Вр. Правительство этим же вечером могло принять решительные меры. Нужно было сейчас же «закрепить» самого Львова, то-есть заставить его повторить весь разговор со мной в присутствии третьего лица».

Ага! Теперь вы начинаете понимать, в чем дело. Правда, Керенский сознавал с поразительной ясностью всю картину начавшегося мятежа. Правда, формальная связь Львова с Корниловым, поскольку премьер не принимал Львова за человека явно рехнувшегося, вытекала из его собственных уверений. Правда, присутствие третьего лица мог заменить собственноручно начертанный документ

Львова. Правда, дело шло, как будто бы, не о том, чтобы уличить Львова в содействии мятежу, а о том, чтобы ликвидировать «безумие, не дав ему разгореться»... Но все же вы теперь понимаете: Керенский согласился на предложения Корнилова только для вида, только для того, чтобы вернее ликвидировать мятеж.

И он продолжил свою хитрость. У него «явилась мысль по прямому проводу получить подтверждение от самого Корнилова». Ну, и что же Львов? «Львов ухватился за это предложение, и мы сговорились, что к 8½ часам с'едемся в дом военного министра для того, чтобы совместно переговорить по Юзу с Корниловым»... Вы теперь видите и понимаете, что, обнадежив и проведя за нос простодушного Львова, Керенский на деле ни минуты не колебался и не солидаризировался с Корниловым, а напротив — выполнял свой план ликвидации корниловщины.

План, как видим, в целом еще не ясен, а в частности — довольно рискован. А простодушный Львов, доверенный Корнилова, оказался явно не на высоте. Керенский сам предложил ему поговорить совместно с Корниловым в пределах достигнутого соглашения (для вида), а Львов согласился ждать целых полтора часа. Он не потащил сейчас же Керенского к аппарату, чтобы заставить его — без раздумья, без разговоров с ненадежными эсеровскими друзьями — немедленно подтвердить по Юзу свое согласие и сжечь свои корабли! Не сумел Львов воспользоваться обстоятельствами, чтобы с своей стороны «закрепить» министра-президента. Или он слишком хорошо знал Керенского?

Львов ушел из кабинета в 7 часов, рискнув оста-

вить Керенского на производ «советчиков». Керенский пишет, что за оставшееся время он рассказал «о происшедшем» некоему своему приближенному Вырубову, почему-то вошедшему в кабинет по выходе Львова; затем заказал прямой провод, а к 9 часам приказал вызвать к себе во дворец помощника начальника главного управления по делам милиции и помощника командующего военным округом. Больше Керенский ничего не сообщает о своих действиях за это время, направленных к спасению республики. А я сам тоже об этом ничего не знаю, и чего не знаю — сочинять не стану.

К назначенному сроку, к 8½ часам, министр-президент уже был у прямого провода. А этот страшный Львов не только не спешил по рукам и ногам связать Керенского, заставить его легализировать мятеж и запечатлеть на ленте Юза официальное согласие премьера на предложения Ставки, — но он даже не явился к аппарату! Или он уже так хорошо знал Керенского?.. И Корнилов, и Керенский ждали Львова у разных концов провода минут 20—25. У министра-президента в эти минуты «еще теплилась надежда», что... Корнилов не заговорщик, что он не покушается на верховную власть, что он не присылал Львова и не поймет вопросов Керенского, заданных на основании заявлений Львова... Однако, Львов все не являлся. И Керенский решил говорить один, «так как характер предстоящего разговора делал присутствие или отсутствие одного из нас у аппарата совершенно безразличным: ведь тема разговора была заранее установлена».

Позволяю себе, однако, думать, что Керенский недооценивает всех преимуществ разговора в отсутствии Львова, так же как Львов недооценил воз-

можных выгод от его присутствия. Тема то разговора была действительно установлена. Но на одну и ту же тему можно вести разговоры разного содержания и, тем более, в разной редакции. Для судьбы всего предприятия, не говоря уже о суде истории, эта редакция могла иметь решающее значение. — Разговор же по поводу (текстуально, полностью, по сохранившейся ленте Юза) был таков.

Министр-председатель Керенский ждет генерала Корнилова. У аппарата генерал Корнилов.

К е р е н с к и й : Здравствуйте, генерал. У аппарата В. Н. Львов и Керенский. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Влад. Ник-чем.

К о р н и л о в : Здравствуйте, Александр Федорович, здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Вл. Ник-чу, вновь заявляю: события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.

К е р е н с к и й : Я, Вл. Ник-ч, вас спрашиваю — то определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили известить меня Алек. Федоровича — только совершенно лично, без этого подтверждения Ал. Фед. колеблется вполне доверять.

К о р н и л о в : Да, подтверждаю, что я просил Вас передать Ал-ру Фед-чу мою настоятельную просьбу приехать в Могилев.

К е р е н с к и й : Я, Ал. Фед., понимаю ваш ответ, как подтверждение слов, переданных мне Вл. Ник-чем. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

К о р н и л о в : Настоятельно прошу, чтобы Бор. Викт. (Савинков) приехал вместе с вами. Сказанное мною Вл. Ник-чу в одинаковой степени относится и к Бор. Вик-чу. Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.

Керенский : Приезжать ли только в случае выступлений, о которых идут слухи, или во всяком случае?

Корнилов : Во всяком случае.

Керенский : До свидания, скоро увидимся.

Корнилов : До свидания.

Этот исторический диалог Керенский считает «классическим образцом условного разговора, где отвечающий с пол-слова понимает спрашивающего, так как им одним известен один и тот же предмет разговора». — Ну, и что же понял спрашивающий Керенский? Он понял, во-первых, что Львов действительно является уполномоченным Корнилова, а, во-вторых, что вестник вполне точно передает слова пославшего. Стало быть, выше приведенный документ, написанный Львовым, может считаться как бы подписанным самим Корниловым...

Однако, на мой взгляд, этого сказать нельзя. Возможно, что Львов был совершенно точен. Но ответами Корнилова это в полной мере еще не подтверждается. Керенский спрашивает: действительно ли Корнилов «предлагает» передать ему власть, ввести военное положение, выехать в Ставку и проч?.. Корнилов отвечает: «да, подтверждаю мою настоятельную просьбу выехать в Ставку». Керенский, имея в виду все предложение, заявляет, что «сегодня это сделать и выехать нельзя». Корнилов, игнорируя или не понимая туманного «этого сделать», настаивает: «очень прошу вас не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня»... Возможно, что Львов был совершенно точен. Но Корнилов, в ответах на вопросы, не подтвердил этого — за исключением одного пункта о выезде премьера в Ставку. Инициатору разговора, Керенскому, этот разговор (юридически) мог дать только одно: Львов дей-

ствовал по полномочию. Но зачем же было сомневаться в этом и раньше?

Однако, ведь в условном разговоре, затеянном Керенским, надо полагать не только спрашивающий «понимал» и делал заключения. Что другое, но отрицать за Корниловым способность понимать по русски и право делать заключения, — было бы неправильно и несправедливо. Что же должен быть понять Корнилов?

«Надеюсь выехать завтра... Скоро увидимся». Так говорил Керенский по русски. Что должен был заключить Корнилов? — Что предложение его, переданное Львовым, Керенским принято. Как будто бы ясно, что ничего иного из данного разговора Корнилов заключить не мог. Вопрос только в том, что это за предложение? Керенский полагает, что Корнилов целиком подтвердил документ Львова со всеми его требованиями. Тогда, стало быть, Корнилов обязан был заключить, что Керенский согласен на военную диктатуру и на передачу власти главноверху...

Но, повторяю, могло быть, что Корнилов подтвердил только просьбу о выезде Керенского. Тогда Корнилов не имел права сделать вывод о легализации своей диктатуры... Вот тут то и нужна была более точная редакция вопросов. Если бы Львов был более находчив и своевременно явился к аппарату, то в интересах своего доверителя он должен был бы уточнить вопрос: подтверждаете ли также предложение о кабинете — или какое-нибудь другое «полу-слово» в этом роде.

Но согласитесь, — довольно и того, что было сказано в «классическом» разговоре. Так или иначе, но в нем Керенский вполне развязал руки Корни-

лову и сжег свои корабли. Погнавшись за жалким, ненужным, фиктивным результатом — установить подлинность мандата Львова — глава правительства и государства документально санкционировал мятеж и формально предоставил себя в распоряжение Корнилова — с правительством и государством в придачу.

Как же так?... Ах, Боже мой! теперь мы этому уже не удивляемся. Теперь, после сделанных выше разъяснений, мы знаем, что на самом деле это было совсем не так. На самом деле это была дьявольская, макнавеллиевская хитрость — в целях скорейшей и успешной ликвидации «безумия»... Но, говоря серьезно, мы не должны сомневаться в одном: этот человек «с напряженно работавшей мыслью», «сознававший все с поразительной ясностью», не сознавал того, что он совершает «великую провокацию».

* * *

Как же воспользовался Корнилов, после разговора по Юзу, своими развязанными руками?... Приближенный Корнилова, Трубецкой, рассказывает: «после этого разговора из его груди вырвался вздох облегчения и на мой вопрос — «значит правительство идет вам навстречу во всем» — он ответил: «да»... Однако, Корнилов понял согласие Керенского более узко, чем он имел на то право. Он не заключил, что Керенский уже признал его диктатором, а сделал определенно только тот вывод, что Керенский едет в Ставку для окончательного и полюбовного с ним раздела риз революции.

На следующий день, 27-го, Корнилов говорит Савинкову по тому же Юзу: «вчера вечером, во время разговора с министром-председателем по аппарату, я подтвердил ему переданное через Львова и был в полном убеждении, что министр-председатель, убедившись в тяжелом положении страны и желая работать в полном согласии со мной, решил сегодня выехать в ставку, чтобы принять окончательное решение». И дальше главноверх так излагает свое поручение Львову: «Я заявил ему, что, по моему глубокому убеждению, я считаю единственным исходом установление военной диктатуры и объявление всей страны на военном положении. Я просил Львова передать Керенскому и вам, что участие вас обоих в составе правительства я считаю безусловно необходимым; просил передать мою настойчивую просьбу приехать в Ставку для принятия окончательного решения».

Как будто бы — действие, которое «предлагалось» Корниловым Керенскому, действительно, только одно: приехать в ставку. Как будто бы — остальное только «глубокое убеждение», о котором поручалось Львову довести до сведения Керенского. Как будто бы — неловкий Львов пошел значительно дальше границ данного ему поручения и совершенно напрасно взорвал, взбунтовал Керенского... Корнилов и в политической сфере, как в стратегической, был почти легален и основательно надеялся тихо и гладко, вкупе и влюбсе с министром-президентом, довести свой план до конца.

«Полагая, что между ним и министром-председателем установилось полное принципиальное согласие, верх. главноком. отдал распоряжение — в подкрепление к уже⁹ данным ранее приказаниям —

об отправке к Петрограду нужных воинских частей. В то же время он обратился к некоторым видным политическим деятелям с приглашением прибыть в Ставку для обсуждения создавшегося положения, имея в виду привлечь их вместе с членами Вр. Правительства (Керенским, Савинковым) к составлению нового кабинета, который, по мнению ген. Корнилова, должен был осуществлять строгую демократическую программу»... Так продолжает свой рассказ тот же приближенный главковерха Трубецкой.

Вызванные в Ставку общественные деятели были — Милюков, Маклаков, Родзянко... Тогда же ночью Корнилов послал Савинкову упомянутую телеграмму, что 3-й корпус расположится в окрестностях столицы к вечеру 27 августа. «Итак, — восклицает Керенский, — картина совершенно ясная: 28 августа в Ставке, вокруг главковерха оказались бы «старейшины нации» — министр-председатель с военным министром, «согласившиеся» передать власть ген. Корнилову, а в Петербурге — войска Крымова, обезглавленное Вр. Правительство, «большевистское большинство Советов, на это правительство давящее», и... правительство это «лояльно» перестало бы существовать»...

Эту картину Керенский представил себе вполне точно. Но можете ли вы себе представить, как это Керенский не подозревал, что он не только нарисовал картину, но и создал для нее натуру... Вам это представить не легко, ибо едва ли мое слабое перо достаточно ярко изобразило Керенского на протяжении всех моих «записок». Но я лично знал Керенского, и я могу себе это представить.

Итак, Корнилов в Ставке, облегченно вздохнув после разговора с министром-президентом, ночью

27-го принимал последние стратегические и политические меры к введению военной диктатуры. Ну, а что же делал Керенский, убедившись, что Корнилов мятежник, а его гонец Львов говорит сущую правду? О, этот Бонапарт-Макнавелли умел найтись в чрезвычайном положении.

Василий Шибанов-стремянный, хоть и опоздал к аппарату, но все же к концу разговора явился на телеграф. И вместе с премьером они поехали в автомобиле в Зимний дворец. Для какой надобности? О, тут еще предстояло дело очень важное для ликвидации мятежа. «Теперь оставалось только, — (вы слышите? Керенский пишет: теперь оставалось только) закрепить в свидетельском показании третьего лица мой разговор с Львовым»... Тут уж вы меня не спрашивайте, зачем, почему, до того ли? Тут уже я объяснить ничего не могу: не моего негосударственного ума это дело.

Но так или иначе, по возвращении с телеграфа, Керенский снова ведет Львова в свой кабинет и повторяет с ним весь прежний разговор. А в углу, в тени так, чтобы Львов не видел, министр-президент сажает своего агента, с записной книжкой в руках. Львов приписывает эту репетицию колебаниям премьера и просит министра скорее принимать решение. А помощник Керенского все это записывает, записывает. Вот так попался Василий Шибанов! Ну, тут уже — это было около 10 часов вечера — Керенский приказывает взять его под стражу. «Началась ликвидация!» — воскликнул министр-президент.

* * *

И как же она продолжалась?... После ареста Львова собралось Вр. Правительство. Керенский отмечает, что оно не было созвано в экстренном порядке, а должно было и так состояться в этот день. Керенский, видимо, рассказал о событиях и прочитал «оба документа», — то-есть записочку Львова и разговор по Юзу. «Были ли возражения?» — спрашивают Керенского следователи. — «Никаких возражений не было», — насколько помнит министр-президент. Но что же предложил глава правительства? — «Мое предложение тогда, — сообщает он, — сводилось к тому, чтобы Корнилов сдал должность и больше ничего»... Г-м! Корниловские войска приближаются к столице, факт мятежа установлен со всей юридической тонкостью и, поднявший знамя восстания, виновник гражданской войны, прямой пособник немецкого штаба карается... в дисциплинарном порядке. Или дело тут не в каре, дело в ликвидации? Но слыхано ли, чтобы мятежник, уже открывший свои карты и выступивший в поход, сложил оружие по приказу свергаемой им власти?

Однако, Керенский «не помнит, употреблялось ли слово мятеж; вообще говорилось о чрезвычайно серьезной обстановке и явном неповиновении Корнилова, попытке ниспровержения Вр. Правительства». Так... Савинков предложил немедленно поговорить с Корниловым по телеграфу: он «считал необходимым исчерпать все средства для мирной и без огласки ликвидации конфликта».

В этом была своя логика. Ведь надо же было, чорт возьми, оповестить Корнилова, что правительство с ним не совсем солидарно и к предложениям, изложенным его гонцом, оно относится на деле не

очень благожелательно... Но Керенский отказал. Ибо тут, на его взгляд, был «не конфликт, а преступление, которое нужно было ликвидировать мирно, но не переговорами, а волей правительства»... Для Керенского — Корнилов был преступник и мятежник, когда еще только снаряжал Львова, а его собственное «согласие» по прямому проводу — не имело значения. В этом не было логики...

Ну, хорошо. Стало быть, с Корниловым надо было обойтись, как с преступником; но как это так, что это значит — ликвидировать преступление мирно, не переговорами, а волей? Повидимому, — принуждением, силой. Но тогда это не особенно мирно. Тут логики не было. И не было ее потому, что не было воли к действию. А воли к действию не было потому, что преступления Корнилова Керенский, хотя перенести и не мог, но в действительности не чувствовал его, как преступление. Положение премьера было двойственное, жалкое, ложное.

Итак, Керенский предложил уволить Корнилова, отказав в просьбе одному из своих коллег вступить с мятежником в переговоры. Для увольнения главноверха требовался указ Вр. Правительства. Согласились ли на это прочие члены кабинета? Керенский показывает: «это сейчас же решили». Но был ли указ? Керенский «не знает, имеется ли в письменной форме, т. к. было бурное заседание». «Телеграмма была наспех составлена», неизвестно как редактирована, подписана просто «Керенский», в исходящий журнал не внесена, послана без номера и в Ставке ее подлинника потом не оказалось. Тем не менее Керенский настаивает, что увольнение Корнилова — повидимому, около полу-

ночи — было законным актом всего правительства, а не его личным актом. Хорошо.

Что было дальше? Дальше Керенский «указывал на необходимость, чтобы ему была предоставлена некоторая свобода действий». «Перед этим были уже довольно трудные взаимоотношения внутри Вр. Правительства. А теперь, при создавшейся обстановке, едва ли могли быть быстро приняты все нужные меры». «В борьбе с заговором, — руководимым единоличной волей, государство должно противопоставить этой воле власть, способную к быстрым и решительным действиям»... Керенскому были немедленно даны полномочия для ликвидации мятежа.

Как же это надо понять? Были ли все члены кабинета или большинство их вполне солидарно с Керенским? Считала ли вся коалиция Корнилова мятежником и преступником? Считала ли она необходимым принять против него быстрые и решительные меры?.. Может быть, она даже санкционировала «великую провокацию» министра-президента?

К сожалению, я ничего не знаю о ходе этого бурного заседания, о позициях, занятых отдельными членами кабинета. Но ясно, что до солидарности тут было, как до звезды небесной, далеко... Прежде всего — кто из министров был налицо? Керенский помнит, что мест за столом было занято много, но кто именно участвовал в бурных прениях, он не помнит. Он называет только своих помощников. Однако, по косвенным данным, налицо были кадеты, был Терещенко, а затем — Чернов. И Керенский указывает, что «не было сплоченности и солидарности в правительстве». Вообще подходящей властью сейчас «не могла быть никакая коллегия,

тем более коалиционная». «В особенности затрудняла полярность Кокошкина и Чернова. Это были элементы, которые едва ли могли действовать или даже быть вместе в этот час».

Сомнений для здравомыслящего человека тут быть не может: все наличные кадеты были солидарны в полной мере не с Керенским, а с Корниловым. Они никак не могли ни идти с Керенским по пути «ликвидации» Корнилова, ни — в частности — идти навстречу предложениям премьера. Независимо от их индивидуальности и фактического поведения в данные минуты, независимо от их «юридической» причастности к заговору — фактическая их позиция не может внушать сомнений. Или — вообще я настолько искажаю всю историю корниловщины, настолько не понимаю всего смысла этого «выступления», что читателю следует немедленно бросить это пустое чтение.

Терещенко не был кадет. Но что он был также корниловец, об этом также нечего спорить, и я не стану тратить времени на доказательства. В «показаниях» Керенского желающий найдет некоторые характерные подробности о недавней поездке в Ставку этого почтенного господина... Вероятно, были и еще люди в кабинете, которые высоко оценивали «патриотические побуждения» главковерха (Зарудный, напр.). Определенно и безоговорочно могли стоять за Керенского и за предложения одни только «советские» министры, — Авксентьев, Скобелев и Чернов.

Так или иначе — большинства за Керенским как будто бы не насчитывалось. В результате, увольнение Корнилова состоялось не по форме, а в порядке предоставления премьеру полномочий — совсем в не-

определенном виде... Я, грешным делом, думаю, что было так: Керенский делал свои сообщения и предложения в запальчивой и раздраженной форме, тоном, не допускавшим возражений, употребляя яркие термины, вроде мятежник и преступник. Министры-корниловцы и примыкающие, после такого террористического выступления, не решались прямо солидаризироваться с Корниловым и прямо отказать Керенскому. Возражения их были расплывчаты и слабы. Керенский воспользовался тем, что «возражений нет» и поступил согласно своему усмотрению.

Но тогда министры-корниловцы сделали нечто другое, что было не только актом солидарности с Корниловым, но было явным, хотя и косвенным участием, в мятеже. Министры-корниловцы тут же заявили о своей отставке. Это был с их стороны вполне последовательный и рациональный шаг: это была изоляция Керенского и дезорганизация той власти, которая подвергалась штурму. Ничего иного кадеты и их друзья не могли сделать и ничего не могли придумать... Но как это ни странно, наши-то, советские министры не придумали ничего лучшего, как тут же в заседании последовать примеру корниловцев. Они тоже заявили о своей отставке, создавая кризис власти и удирая со своих постов в решительный час. Вот жалкие, неразумные, дряблые мещане!

Керенский заявляет, что он не принял отставок, что его целью было восстановление деятельности кабинета в его целом; а большинство министров фактически оставалось при делах и «всемерно содействовало прекращению мятежа». Но все это надо понимать условно: министры (кроме Некрасова)

были далеки от действительного сотрудничества с Керенским, а премьер за этим и не гонялся. Он взял себе «полномочия» и действовал по своему собственному разумению.

Разные лица, кроме Савинкова, министры и не министры, штабные генералы и полковники, и прочая челядь главы государства — убеждали его в том, что тут — недоразумение, что дело можно кончить миром и компромиссом, что к этому необходимо стремиться во избежание и т. д. Но премьер действовал, как велели ему его разум и совесть. Тут же ночью или утром (это из показаний не ясно) было составлено от его имени обращение к стране о мятеже, поднятом Ставкой. Кто составил это обращение, Керенский не помнит. Окружающие настоятельно просили задержать эту прокламацию, чтобы избежать предварительной огласки и не отрезать путей для компромисса и соглашения. Но Керенского с его «позиции сбить было уже невозможно». . . Правда, рассылка этой решающей прокламации по радио была задержана, но не по этим, а по другим мотивам. Однако, Керенский не разъясняет по каким именно.

Во всяком случае, Керенский не послушался приближенных и апеллировал к населению безо всяких попыток объясниться и договориться с Корниловым после выраженного им (Керенским) согласия приехать в Ставку и совместно с Корниловым произвести переворот. Это был второй акт «великой провокации». . . Зачем, почему так поступал Керенский? Cui prodest? . . . Не ищите тут политического смысла. Примиритесь с тем, что на слабые, непригодные плечи взвалила история свое огромное бремя. . .

Обращением к народу Керенский сжег свои корабли. Теперь надо было действительно ликвидировать мятеж решительными мерами. Что же делал министр-президент, получивший на то специальные полномочия и формально принявший на себя всю ответственность, после отставки коллег? Принял ли он меры к изоляции Ставки при помощи верных и надежных войск? Что сделал он для остановки движения 3-го корпуса? Для обороны и охраны столицы?

Как это ни странно, но в «показаниях» мы не находим на этот счет никаких конкретных указаний. Керенский ограничивается ссылками на некие неизвестные принятые им меры. Кроме того, он делает глухое заявление, что «главную роль тут играли железнодорожники, которые извещали (кого, гр. Керенский?) о малейших изменениях». Больше ничего. Но этого мало.

Керенский положительно уклоняется от разъяснений, какие реальные меры им принимались и принимались ли они. Следовательно вполне основательно ставят в упор вопросы — хотя Керенский, казалось бы, заинтересован в том, чтобы осветить эти пункты и без вопросов. Следовательно спрашивают: «Как относительно Крымова, 3-го корпуса? Были отданы распоряжения о задержке, о порче пути и т. д.»... Но Керенский не отвечает и переводит «показания» на другие темы. Так мы и не знаем, что же было сделано для ликвидации мятежа до утра 27-го.

Вообще, надо сказать, «показания» Керенского замечательно любопытны с точки зрения личности Керенского. Этот государственный муж эпохи великой революции, в острейший и напряжен-

нейший ее момент, в своих собственных описаниях, воссоздает типичнейшую дворцовую обстановку 18-го века. Тут нет революции; тут нет ни признака величайшего движения и бурления народных недр; тут нет небывалого доселе активного и прямого участия масс в государственной жизни; тут нет никакого народа, ни даже «общества» в лице его противоречивых и борющихся групп. Тут ничего нет, кроме дворца, как не было — для правителей — в 18-м веке. Тут одни нотабли и приближенные, вхожие во дворец, то-есть одни маленькие человечки, ходящие по маленькой сцене и говорящие, что им Господь на душу положит. И вы почитайте, что говорят они в грозе и буре! Они говорят об их собственных взаимоотношениях, передают на ухо один другому о фразах, сказанных третьим, устраивают на этот счет очные ставки, проводят битые часы в досужих пересудах о комбинациях друг с другом, — как будто все они, вместе взятые, действительно что-нибудь значат для хода событий, в убеждении, что они чем-то «правят» и могут с чем-то справиться. С точки зрения исторического чтения, все это необыкновенно смешно при своей поучительности. Но беллетристика тут довольно-таки дубочная.

* *
*

Итак, ночь на 27-е августа прошла. Наступил день полугодовщины революции. Но до сих пор о событиях знали только в самом тесном круге людей, вертевшихся около правительства. Мы не будем удивляться тому, что Керенский о наступлении мятежников на столицу не подумал довести до све-

дения Ц. И. К. Но любопытны его подчеркивания того факта, как даже в редакции «Известий» руководители Совета были чужды малейших подозрений: когда в Зимнем дворце Керенский и его камарилья были в полном курсе дела о начавшемся восстании буржуазно-помещичьей России, в «Известиях» писали статьи на тему о выступлении большевиков...

О ходе событий в воскресенье 27-го я имею довольно скудные сведения. С вечера почтенная компания Зимнего дворца еще не разобралась в событиях и находилась под шумно-бестолковым давлением Керенского. С утра наперсники премьера лучше разобрались, в чем дело. Я разумею при этом не кадетов, определенных сторонников Корнилова, агентов биржи и аграриев, то-есть определенных заговорщиков, стремившихся к диктатуре имущих классов безо всяких компромиссов с промежуточными слоями и с мещанскими верхами демократии. Я разумею именно — те промежуточные верхи, выразителем которых должен был явиться Керенский. Лично Керенский действовал бестолково, непоследовательно, по-ребячьи, против своего «класса» и против самого себя. Но окружавшие его сотрудники с того же поля, из тех же сфер, разобравшись к утру в событиях, заняли совершенно естественную, «единственно разумную» позицию, вытекающую и из всей их предшествующей линии поведения, и из их классового самосознания.

С утра они стали осаждать Керенского и настаивать на том, что между правительством и ставкой происходит «недоразумение», которое необходимо кончить взаимным объяснением и компромиссом... Я, признаться, не сомневаюсь в том, что

этим людям, во главе коих стоял, конечно, Савинков, было совершенно ясно, где заключается источник «недоразумения»: едва ли они могли не видеть, что виновник его — это Керенский с его тонкими макиавеллиевскими ухищрениями, с его вернейшими способами изобличить и ликвидировать мятеж. Но, осаждая Керенского, его наперсники, конечно, этого прямо не высказывали. И премьер наивно «показывает»: «на другой день, 27 августа, стала популярной мысль о том, что произошло «недоразумение», — в силу того, что «Львов напутал».

Ну, и что же отвечал теперь Керенский осаждавшим? Он заявлял попрежнему, что «о переговорах не может быть и речи»: «если Корнилов действовал добросовестно заблуждаясь, то все же действовал он преступно». Но, отказываясь от переговоров, Керенский предлагал осаждавшим... «самим вести переговоры»; то-есть не какие-нибудь переговоры, а «просил их оказать на него (Корнилова) возможное воздействие для того, чтобы он подчинился Вр. Правительству». И дальше премьер непосредственно продолжает: «не только я не мог допустить каких-либо переговоров со стороны правительства, я не мог допустить даже малейшего промедления в принятии мер... Только в быстроте и решительности пресечения дальнейшего развития событий я видел возможность избежать кровавых потрясений»... Очень хорошо.

Но воспользовавшись разрешением, в котором было отказано вчера, Савинков, наперсник Керенского, немедленно поскакал к прямому проводу. Утром он разговаривал с наперсником Корнилова, своим полным единомышленником, верховным комиссаром, вышеупомянутым проходимцем Филоненко.

А вечером, часу в седьмом, как мы знаем, Савинков разговаривал с самим Корниловым. В этом разговоре, уже цитированном мной, Корнилов объяснял свой образ действий: замыслил он переворот и военную диктатуру, исходя из своего понимания наличной политической ситуации, а предпринял реальные шаги в убеждении своей полной солидарности с Керенским.

Но вместе с тем Корнилов в этом же разговоре отказался сдать должность главноверха. Это было вполне последовательно: «солдат» не собирался играть в игрушки; серьезное дело, «для спасения страны», им было задумано и начато, и если завершение его не удалось в наилучших, легальных формах, то это еще не значило, что от него следует отказаться. Этот отказ от подчинения Вр. Правительству (хотя бы и его приказу, переданному в необычной форме телеграммы без номера, без надлежащих подписей и пр.) — был формально первым нелегальным, мятежническим актом Корнилова.

Как же реагирует его собеседник, Савинков? Также очень последовательно со своей точки зрения: Савинков сейчас же (около 8 час. вечера) скачет обратно во дворец и снова убеждает министра-президента «попробовать исчерпать недоразумение и вступить с ген. Корниловым в переговоры». Но глава государства попрежнему непреклонен и тверд, как камень. Его попрежнему осаждают, но он, как и раньше, отвергает переговоры с мятежником и стоит за решительные меры.

Судя по всем данным, Корнилов до вечера 27-го получил телеграмму о своем увольнении и принял решение не подчиняться. Но это было в пределах

негласных взаимоотношений главоверха и министра-президента. Страна тут была еще не при чем. Обращение же Керенского к народу, задержанное с вечера и, видимо, разосланное днем, стало известно в Ставке именно вечером 27-го, уже после разговора с Савинковым. Ответная апелляция со стороны Корнилова была помечена им также 27-го.

Бесплодная толчея, в которой провел глава правительства весь этот день, создавалась не только «соглашателями». Ведь кабинет вышел в отставку, и формально Керенский единолично правил страной и решал ее судьбы! Это, конечно, имело свои приятные стороны, но создавало и многие неудобства. В результате, Керенскому пришлось уделить добрую половину внимания в этот решительный день привычному и, вероятно, не очень претившему ему занятию: министерским комбинациям и созданию власти...

На предмет «быстрых и решительных действий» естественно выплыл вопрос о небольшой диктаторской коллегии, которая тут же получила крылатое имя директориИ. К удовольствию репортеров, этим основательно занимались в Зимнем дворце 27-го августа в кругу приближенных. Но, как будто бы нечего пояснять, что это занятие было самое пустое. Во всей этой оперетке на Дворцовой площади, эта бутафория могла иметь наименьшее значение — если репортеров оставить в стороне.

Керенский снова говорит о своих мероприятиях по ликвидации заговора и обороне столицы. Но что это были за мероприятия, мы опять-таки не знаем.

* *
* *

Еще утром — кажется, в те часы, когда я читал лекцию в кинематографе близ Николаевского вокзала — слухи о корниловском выступлении дошли до Смольного. Там было в это время немного людей, которые собирались разойтись по митингам — в честь полугодовщины революции...

Попытались созвать «бюро». Заседание вышло жалким и едва ли правомочным. Оно «вполне одобрило решение Вр. Правительства и меры, принятые А. Ф. Керенским»... Какие именно меры, я не знаю, и бюро, *in concreto*, надо думать, тоже не знало. Одобренное же «решение» относилось к отставке мятежника.

«Бюро», собравшееся в небольшом, случайном составе, собственно, и не могло принять иного «постановления». Не только потому, что это была его естественная «линия», спасительная во всех случаях жизни — поддерживать «коалицию» и во всем к ней присоединяться. Но ведь бюро и не подозревало всей действительной картины событий, выше описанных мной. Из всего предыдущего в Смольном знали только одно: генерал Корнилов, только что сдавший Ригу, «выступил» против Вр. Правительства в качестве претендента на власть, а Керенский, снова оставшийся единственным министром, объявил его мятежником и принимает против него решительные меры. Разумеется, это надо было только одобрить.

Я полагаю, что в эти дневные часы в Смольном был известен один только эпизод со Львовым, предъявившим требования от имени Корнилова. Вероятно, насчет похода на Петербург и движения 3-го корпуса тогда еще ничего не сообщали. Популяризовать эту сторону дела, компании Зимнего

дворца не было расчета. С другой стороны, если бы в Смольном об этом знали, то надо думать — как ни как — не оставили бы этого без внимания. Между тем, в Ц. И. К. до самого вечера занимались совсем другим: опять-таки кризисом власти и министерскими комбинациями... Общего заседания, правда, не было, и народа было немного. Но все же собрались фракции и толковали о директории и о конструкции новой власти... Понятно, что толковали они об этом впустую — как всегда было теперь в Ц. И. К. Никто об этом у Смольного не спрашивал; вопрос должен быть решен в Зимнем и только в Зимнем; а «Речь» тут же отметила дерзость и бестактность самого факта этих разговоров: о власти разговаривают те самые органы, независимость от коих и зажгла весь сыр бор.

Смольного, как мы знаем, совершенно не касался не только вопрос о власти, но и вопрос о корниловской опасности. Керенский не только не оповестил на этот счет Ц. И. К., но и в своих «показаниях» ставит себе в нарочитую заслугу, что в критический момент он не обратился к органам демократии...

Зато он обращался к черносотенному сверх-Корнилову, к известному нам ген. Алексееву, бывшему главковерху при царе. Когда к вечеру 27-го соглашательская фаланга, атакующая Керенского, пробила брешь в его каменном сердце, в его стальной голове, — он вызвал телеграммой ген. Алексева. Приближенные справа его прочили в... начальники штаба при Корнилове — немедленно по ликвидации «недоразумения»: это было бы, конечно, полной гарантией против дальнейших покушений на революцию со стороны Ставки... Но Керенского учить нечего. Не видят что ли советчики, что их

шушуканья ни к чему не ведут? Глава правительства сам решает государственные дела, пользуясь полнотой власти! Он знает сам, зачем он вызвал генерала Алексеева...

И вот тут то, часов в 10 вечера, в симфонию вступил Ц. И. К. Его партия была не легкой. Сейчас мы увидим, как он провел ее. Но сначала два слова — резюме всего предыдущего ... Собственно, все недоумения уже разрешены нами. Корнилов, с его военными и штатскими друзьями, был нам кристально ясен с самого начала. Он был «математической точкой» буржуазной диктатуры, идущей на смену диктаторской бутафории, чтобы ликвидировать революцию... Вызывал у нас недоумения, ставил нас в тупик только министр-президент Керенский, глава третьей коалиции. Но и эти недоумения, вероятно, теперь уже давно рассеяны перед читателем. Они, конечно, имели частичный, локальный характер, а не общий. Общая роль Керенского, также вполне очевидная, вскрыла перед нами смысл отдельных темных мест в ходе драмы. А эта общая роль его нуждается, конечно, не в выяснении, а разве только в краткой формулировке.

Керенский, совершенно так же, как и Корнилов, поставил себе целью введение буржуазной диктатуры (хотя, как и Корнилов, он не понимал этого). Две эти «математические точки» спорили между собой за то, кому быть носителем этой диктатуры. Один представлял биржу, капитал и ренту; другой то же самое плюс еще в большей степени промежуточные группы — группы мелкого, демократического «промысла», интеллигенции, «третьего элемента», наемных верхов отечественной промышленности и торговли...

Но ни тот, ни другой — ни Корнилов, ни Керенский — не могли самостоятельно справиться с делом водворения буржуазной «государственности и порядка» на место революции. Тот и другой нуждались друг в друге: такова была еще не растроченная сила народных масс. Спорящие стороны были вынуждены к союзу, но оставались спорящими сторонами.

Каждый стремился использовать другого для своих собственных целей, диктуемых интересами своих классов и выражаемых устами их лидеров в Ставке и в Зимнем дворце. Корнилов стремился к чистой диктатуре биржевого капитала и ренты, но должен был принять Керенского, как заложника демократии. Керенский стремился создать диктатуру блока крупной и мелкой буржуазии, но должен был уплатить тяжелую дань союзнику, как обладателю реальной силы. И каждый был на то, чтобы у призового столба оказаться фактически и формально хозяином положения.

Отсюда все «взаимоотношения» двух союзников-врагов, — иногда странные, нелепые и непонятные. Отсюда все «неясности» этого довольно грязного, но не темного дела.

8. ЛИКВИДАЦИЯ КОРНИЛОВЩИНЫ

Ц. И. К. ночью на 28-е. — Прокламация Керенского. — Снова капиталь о власти. — Ц. И. К. снова вотирует коалицию. — Керенский требует директории. — Прокламация Корнилова. — Мудрость Скобелева, доблесть Церетели. — Ц. И. К. отменяет коалицию: все спасение в директории. — Меры обороны. — Военно-революционный комитет. — Роль и позиция большевиков. — Меры в.р. ком-та. — Разрушение путей. — Вооружение рабочих. — «Междурайонное совещание». — Воец.-рев. ком. становится властью. — В Зимнем 28-го. — Снова жонглирование портфелями. — Смольный путается в ногах. — Корниловец Савинков во главе войск против Корнилова. — Ген. Алексеев и Миллюков у Керенского. — «Решительные меры» 28-го. — Ход мятежа. — Корнилов и генералитет. — Корниловщина и армия. — Силы Корнилова. — Поход. — В Луге. — В окрестностях столицы. — Рабочий Петербург поставлен на ноги. — «Нов. Жизнь» и «Нов. Время». — Восстановление единого демократического фронта. — Аресты в.р. ком. в ночь на 29-е. — Церелом. — Утро 29-го. — Повинная казаков. — Мятежники «преданы суду». — Керенский — герх. главнокомандующий. — Творчество Савинкова. — В Смольном выясняется роль Зимнего. — 30-е августа. — Назначен ген. Алексеев, уволен Савинков, назначен Пальчинский, назначены Верховский и Вердеревский. — Толчок влево. — Буржуазия бьет тревогу. — Буржуазия закрепляет после-июльские позиции. — Керенский идет на встречу. — Смольный упирается. — Столица снова кишит. — Реванш за июльские события. — Окончательная ликвидация. — Ген. Крымов. — Мятеж Каледина. — 31-е августа. — Директория составлена. — Оппозиция в Смольном. — Звездная палата бунтует. — Закрыты «Рабочий» и «Нов. Жизнь». — 1-е сентября. — «Измена Керенского». — В штабе. — г. Пальчинский. — Мятежники согласились арестоваться. — Корнилов под охра-

ной почетного караула. — Повинная дикой дивизии. — Советские люди покидают Зимний: Керенский победил. — Бутафорская диктатура восстановлена. — Ц. И. К. поддерживает директорию. — Все по-прежнему. — Буржуазия снова наступает. — Ц. И. К. снова предает. — Но массы сами вернули силу. — Революция двинута вперед.

И вот тут-то вступил Ц. И. К. . . Я довольно смутно помню это ночное заседание, на которое прибежали мы с Луначарским. Я помню только некоторую суматоху в зале и беспорядок в ведении собрания. Казалось бы, депутаты должны были подобраться, подтянуться, преисполниться революционной энергией и сознанием серьезности момента. Но этого было не видно. Я уже говорил: в действительную опасность здесь никто не верил, а к драматическим положениям уже так привыкли, притерпелись за революцию. Поход главнокомандующего на Петербург и начало гражданской войны перед лицом наступающей германской армии — действовали на воображение теперь не больше, а меньше, чем некогда какая-нибудь уличная манифестация против царского произвола.

На следующий день, в понедельник, по специальному соглашению с печатниками, должны были выйти газеты. Мне звонили об этом из редакции «Новой Жизни». Я не имел намерения отправиться туда, но во время заседания был крайне озабочен передовицей для завтрашнего экстренного выпуска, — которой, впрочем, так и не написал. При помощи этих понедельничных выпусков газет, я восстанавливаю ход заседания в следующем виде:

Докладчиком выступил Дан, который прежде всего огласил воззвание Керенского ко всем гражданам, теперь уже разосланное по радио. Во избежание

недоразумений я приведу это воззвание, хотя оно не стоит того.

«26-го августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. Думы Вл. Ник. Львова с требованием передачи Вр. Правительством ген. Корнилову всей полноты военной и гражданской власти с тем, что им по личному усмотрению, будет составлено новое правительство для управления страной. Действительность полномочий чл. Г. Думы Львова, сделать такое предложение была подтверждена затем ген. Корниловым при разговоре со мною по прямому проводу.

Усматривая в пред'явлении этого требования, обращенного в моем лице к Вр. Правительству, желание некоторых кругов русского общества воспользоваться тяжелым положением государства для установления в стране государственного порядка, противоречащего завоеваниям революции, Вр. Правительство признало необходимым:

Для спасения родины, свободы и республиканского строя уполномочить меня принять скорые и решительные меры, дабы в корне пресечь всякие попытки посягнуть на верховную власть в государстве и на завоеванные революцией права граждан.

Все необходимые меры к охране свободы и порядка в стране мною принимаются, и о таковых мерах население своевременно будет поставлено в известность.

Вместе с тем приказываю:

1. Ген. Корнилову сдать должность верх. главнокомандующего, главнокомандующему армиями северного фронта, преграждающему пути к Петрограду. Ген. Клембовскому немедленно вступить в должность верховного главнокомандующего, оставаясь в Пскове (1)

2. Объявить Петроград и Петроградский уезд на военном положении.

Призываю всех граждан к полному спокойствию и сохранению порядка, необходимого для спасения родины.

Всех чинов армии и флота призываю к самоотверженному и спокойному выполнению своего долга защиты родины от врага внешнего» ..

Здесь как будто бы надо отметить некоторое противоречие с «показаниями», где Керенский утвер-

ждает, что Корнилов был уволен не его приказом, а постановлением Вр. Правительства, вынесенным до отставки министров. Военный министр не имел права отрешить главковерха, а Корнилов не был обязан подчиняться ему. Если точнее изложение факта содержится в воззвании, а не в «показаниях», то можно утверждать, что Корнилов до сей минуты, до позднего вечера 27-го, не совершил еще ничего нелегального и отказался сдать должность на законных основаниях. Но Бог с ними с этими юридическими тонкостями!... Нам важнее отметить, что в прокламации опять-таки нет ни слова о походе контр-революционных войск на Петербург. Рассылая по радио беллетристическое сообщение, он об этом, о самом важном, страну не оповещает.

Но теперь об этом в Смольном уже все знали. И прения в Ц. И. К. пошли по двум линиям — после того, как Дан, в своем вступлении, настаивал на сплочении всех революционных сил вокруг единого центра. Первая линия вела к созданию новой власти, вторая, — к организации обороны столицы от корниловских войск. Ораторы руководящего блока снова твердили о том, что дело образования власти надо отдать всецело на усмотрение Керенского: хочет — пусть создаст директорию, не хочет — пусть «пополнит» свой развалившийся кабинет. Пусть только попрежнему стоит на платформе 8-го июля.

О, да, он стоит на ней твердо, как вкопанный!.. Иные из большинства твердили, что лучше всего — не производить никаких изменений в форме власти; а иные настаивали на самой решительной борьбе с контр-революцией.

Дан, в качестве фракционного оратора меньшевиков, требовал создания особого представительного органа, который действовал бы до самого учредительного собрания. Этот орган должен быть создан по образцу московского совещания, но с исключением из него представителей Гос. Думы всех созывов. Пред этим учреждением отныне должно быть ответственно Вр. Правительство (довольно, стало быть, неограниченных полномочий!). И там меньшевики будут добиваться немедленного провозглашения демократической республики, роспуска Г. Думы, аграрных реформ, обращения к рабочим и крестьянам о поддержке революции и других ужасно страшных и революционных вещей.

Из левых — Мартов решительно возражал против директории и требовал немедленного проведения демократической программы. Он поддерживал с своей стороны, мысль о «демократическом совещании», для регулирования деятельности правительства; но Мартов настаивал, чтобы оно имело революционный характер и было избавлено от реакционных элементов: их центром и ядром должны быть Советы.

От имени большевиков на трибуне появилась новая звезда третьей величины, в лице Сокольников, будущего знаменитого покорителя несчастной Бухары и водрузителя коммунистического знамени на плоскогорьях Памира. Сокольников нападал на коалицию и Керенского, правильно утверждая, что им не верит и ни при каких условиях не поверит пролетариат; но никаких конкретных лозунгов относительно должной власти оратор не выдвигает... Кроме того он оглашает проект длинной и интересной резолюции, выработанной во фракции при участии самых больших лидеров. Вначале там

дается отличная характеристика общей конъюнктуры и, в частности, корниловского выступления. А затем выставляется политическая программа, немедленное осуществление которой фракция считает необходимым условием спасения революции. Программа, выдвинутая в огне корниловщины, состоит в отмене решительно всех мер репрессивно-контрреволюционного характера, начиная со смертной казни; а затем идет замена генералов выборным военным начальством, немедленная передача всех земель в распоряжение зем. комитетов, рабочий контроль в банках и на заводах, отмена тайных договоров и предложение всеобщего мира, демократизация финансового хозяйства, декретирование республики и немедленный созыв Учр. Собрания... Что же касается власти, то в конце довольно глухо и неопределенно сказано: «единственным путем для осуществления этих требований является переход всей власти в руки революционных рабочих, крестьян и солдат».

Вопрос о власти был подвергнут голосованию. Весь «правлящий» блок, при воздержавшейся оппозиции, голосует за оставление Вр. Правительства в прежнем виде и за пополнение его, на место ушедших кадетов демократическими элементами. «Директория» собирает незначительное число голосов. «Демократический предпарламент» принимается огромным большинством, при чем и большевики голосуют за него — с условием, что его состав будет революционный.

Затем, около двух часов ночи, наличные члены президиума отправляются в Зимний дворец для переговоров с Керенским о создании власти. Ах, какие нудные, докучливые люди! И что они при-

стают к главе государства «все сознавшему с поразительной ясностью» и «принимавшему решительные меры». Ведь ясно, что их вмешательство только осложняет и без того трудное положение. Ведь ясно, что спасение государства связано именно с их невмешательством. Ведь ясно, что в конце концов министр-президент создаст для спасения революции такие комбинации, какие ему понравятся... Не потому, чтобы это было умно, искусно, революционно и государственно, а потому, что советские люди не имеют за душой ни смелости, ни энергии, ни идеи, во имя которой они могли бы заменить свои нудные и докучливые «представления» чем-нибудь похожим на борьбу.

И несколько раз в эту ночь на 28-ое августа разные советские люди с деловым видом скакали в Зимний и обратно в Смольный, где изнывал до утра Ц. И. К.

Около 4-х часов утра заседание возобновилось, и выяснилось, что министр-президент относится безо всякого сочувствия к постановлениям «революционной демократии». Он не желает ни пополнения кабинета демократическими элементами, ни парламента. Он настаивает на директории из 6 лиц по его выбору и на всей полноте власти... С решительными протестами выступают Мартов и Луначарский. Прения шли долго и, наконец, было постановлено: «еще раз обратиться к Керенскому с просьбой согласиться на первоначальное предложение Ц. И. К.»... Не угодно ли? Какие упорные в своей докучливости люди!...

Но в этот момент Керенский вызвал в Зимний дворец Церетели и Гоца, а затем Чернова. Ну, стало быть, надо снова прервать заседание и подождать,

что будет. Заседание возобновилось снова в 7 часов утра. Прискакали вызванные люди, со Скобелевым во главе. Генерал Скобелев сделал длинейший доклад, в котором сообщил чрезвычайную новость, только что ставшую известной в Зимнем дворце. Генерал Корнилов, получивший поздним вечером обращение Керенского «ко всем гражданам», наконец, выступил совершенно открыто в качестве мятежника против законной верховной власти. По всем учреждениям, жел.-дорожным станциям, а главное, по армии — он тут же разослал такую телеграмму:

Объявление верховного главнокомандующего.

Телеграмма министра председателя за № 4163 во всей своей первой части является сплошной ложью; не я послал члена Гос. Думы Владимира Львова к Вр. Правительству, а он приехал ко мне, как посланец министра председателя. Тому свидетель член Г. Думы Алексей Аладьин.

Таким образом свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу ОТЕЧЕСТВА.

РУССКИЕ ЛЮДИ!

Великая родина наша умирает.

Близок час кончины.

Вынужденный выступить открыто, я, ген. Корнилов заявляю, что Вр. Правительство, под давлением большевистского большинства советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей РОДИНЫ. Все у кого бьется в груди русское сердце, все кто верит в Бога, в храмы, молит Господа Бога об объявлении величайшего чуда, спасения Родной Земли. Я, ген. Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ — путем победы над врагами — до Учр. Собрания, на котором он сам решит

свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни.

Предать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени — и сделать русский народ рабами немцев, я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама Русской Земли.

Русский народ! В твоих руках жизнь твоей родины!

27 августа 1917 год.

Ген. Корнилов.

Керенский говорит, что это воззвание было заготовлено заранее, еще днем или утром 27-го, и только начало приставлено в последний момент, по ознакомлении с радио премьеры. Я не вижу доказательств такого мнения, но не стану спорить. Воззвание мятежника, с первой буквы до последней, составлено до такой степени неловко, неумно, безыдейно, политически и литературно неграмотно, что как будто бы денщик или писарь Корнилова ляпнул его именно в самый последний момент...

Читая его, я испытываю просто-на просто чувство ущемленной национальной гордости. Ведь это же — прокламация нашего 18 брюмера, хотя бы и сорвавшегося. Ведь это как ни как наш отечественный бонапарт, ударивший «ва-банк» ради водворения государственности и порядка. И вдруг такая низкопробная подделка под суздальщину!

Прежде всего, тут нет ни малейшей политической мысли и программы. Чего конкретно хочет главноверх, «открыто выступая», что собирается он сделать, в чем надлежит ему содействовать «верящим в храмы» и проч., — это никому неизвестно. Молить Господа Бога о величайшем чуде — это было скучно в те времена даже захоластной просвиры... А затем — исходный пункт Корнилова, предание русского народа германскому племени, обвинение коа-

лиции в контакте с немецким штабом, на фоне собственного похода с фронта на Петербург! Можно ли придумать что-нибудь более лубочное, корявое, нелепое, неискусное, подрывающее собственное дело?

Что касается приставки насчет радио, то она так же наивна и нелепа (зачем Львов приехал к Корнилову, как посланец министра-председателя?) и, конечно, Керенский, с своей стороны, объявляет ее сплошной ложью. Я полагаю, что тут можно обойтись без подозрений в грубой и элементарной лжи и Керенского, и Корнилова. Тут дело, вероятно, в вышеупомянутом первом разговоре посланца Львова с главой правительства. Разговор этот был туманным и неопределенным. Львов явился из сфер, связанных или потом связавшихся со Ставкой. Керенский допытывался, что именно у него имеется за душой. Львов потом у Корнилова опирался на этот разговор и запросы Керенского. И в конечном результате вышло поручение премьера поговорить с Корниловым на высоко-политические темы... Тут дело могли бы осветить показания самого заплутавшегося гонца, — если есть основания им верить. Но право же совсем не стоит заниматься этим пунктом. Он абсолютно безразличен для нас и юридически, и исторически. Ведь, если бы Корнилов был хоть на йоту более ловким и искушенным в дипломатии, он бы и не стал упоминать о сомнительной посылке к нему Львова неизвестно с чем; не стал бы упоминать, чтобы не давать адвокатских аргументов для апологии Керенского. Ведь для Корнилова было за глаза достаточно известной нам ленты Юза плюс «предложения» о посылки войск. «Великая провокация» не требует большего.

Итак, министр Скобелев доложил Ц. Н. К. об «открытом выступлении Корнилова». По сведениям Зимнего дворца, к Корнилову присоединились многие генералы и воинские части. Вообще положение грозно. И оно осложняется кризисом власти. При этом Скобелев остроумно уверяет собрание, что «кризис этот имеет не политический, а деловой характер»... Видите ли, оказывается, дело-то какое! Ну, конечно, все поняли Скобелева и поверили ему.

Однако, он должен был только подготовить почву для дальнейшего. А в дальнейшем, конечно, выступил Церетели, который рассказал о переговорах с Керенским насчет власти. Керенский настаивает на директории из солидарных с ним людей, «чтобы дать решительный отпор Корнилову». При этом директория должна пользоваться безоговорочной поддержкой советской демократии. Если же ее верховный орган на это не согласен, то «Керенский слагает с себя ответственность, чувствуя себя не в силах при таком положении отразить удар Корнилова с достаточной энергией»... Очень хорошо! Надо ли прибавить, что Церетели требовал немедленного согласия на эти вымогательства и настаивал на немедленной отмене резолюции, принятой несколько часов тому назад?..

Лидера звездной палаты поддерживали один за другим ораторы меньшевистско-эсеровского блока. Особенно очарователен был... Виктор Чернов, который требовал забвения всех свар, зависти и злости и объединения вокруг Керенского для борьбы с контр-революцией. Он пояснил при этом, что ушел из кабинета, «дабы облегчить образование нового правительства и не затруднять своим присутствием его солидарной работы»... Чорт знает, что такое!

Само собой разумеется, что принятая резолюция была отменена и было постановлено: «Предоставляя товарищу Керенскому формирование правительства, центральной задачей которого должна являться самая решительная борьба с заговором ген. Корнилова, Ц. И. К. обещает правительству самую энергичную поддержку в этой борьбе»... Это было, конечно, «поскольку — постольку». Но ведь теперь это было ни мало не опасно: «двоевластия» никакого давно не было. Был старческий маразм, «чего изволите», и больше ничего.

* * *

Однако, дело о кризисе власти — это только одна из линий, по которым пошел Ц. И. К. в ночь на 28-е. Другая линия гораздо важнее и любопытнее. Это была линия военно-технической обороны революции и, в частности, красной столицы. Еще с вечера, никто иной, как правый меньшевик Вайнштейн, от имени своей фракции, предложил: создать особый «комитет для борьбы с контрреволюцией, в который должны войти 3 представителя от большевиков, 3 от эсеров, 1 от энесов и 3 от меньшевиков, по 5 человек от рабоче-солдатского и крестьянского Ц. И. К., 2 от центр. совета проф. союзов и 2 от петербургского совета». Что же должен делать этот особый комитет? Это было инициаторам не вполне ясно. Во всяком случае — должен оказывать всяческую техническую помощь официальным органам власти в деле борьбы с Корниловым.

Разумеется, предложение меньшевиков было принято. В дальнейшем новое учреждение получило

название военно-революционного комитета. Именно это учреждение вынесло на себе всю тяжесть борьбы с корниловским походом. Именно оно и только оно ликвидировало заговор (если оставить в стороне неблагоприятную общую среду, которая исключала успех Корнилова, независимо от деятельности каких бы то ни было учреждений)...

Но несмотря на эту исключительную роль военно-революционного комитета в ликвидации корниловщины, советский блок все же, надо полагать, не взял бы на себя инициативы в этом деле, если бы предвидел роль этого органа в будущем. Мы же отныне не будем по возможности терять из вида этот военно-революционный комитет, который после корниловщины не умер, но только впал в состояние анабиоза, чтобы возродиться потом на иных основаниях и высоко взвиться в октябре.

Каждому, способному вникнуть в общую конъюнктуру того момента, должен быть ясен основной вопрос: какую позицию займет большевистская партия по отношению к этому органу. Именно большевики должны были определить весь характер, судьбу и роль нового учреждения. Звездная палата и ее мамелюки этого более или менее не понимали. Но это было так. Военно-революционный комитет, организуя оборону, должен был привести в движение рабочие и солдатские массы. А эти массы, — поскольку они были организованы, — были организованы большевиками и шли за ними. Это была тогда единственная организация — большая, спаянная элементарной дисциплиной и связанная с демократическими недрами столицы. Без нее военно-революционный комитет был бессилен; без нее он мог бы пробавляться одними воззваниями и лени-

выми выступлениями ораторов, утеревших давно всякий авторитет. С большевиками военно-революционный комитет имел в своем распоряжении всю наличную организованную рабоче-солдатскую силу, какова бы она ни была. — Какую же позицию заняли большевики?

Еще с вечера, устами Сокольников, большевики заявили, что их партия уже приняла меры к осведомлению масс о грозящей опасности и создала особую комиссию для организации обороны. Эта комиссия «войдет в контакт» с вновь создаваемым органом Ц. И. К. В военно-революционный комитет большевики послали своих представителей, несмотря на то, что они должны были находиться там в ничтожном меньшинстве. А затем, уже утром, когда голосовалась резолюция о свободе рук Керенского, большевики, голосуя против, заявили: «если правительство будет действительно бороться с контрреволюцией, то они готовы согласовать все свои действия с действиями Вр. Правительства и заключить с ним военно-технический союз».

Начало было отличное. Большевики проявили чрезвычайный такт и политическую мудрость, не говоря о действенной преданности революции. Правда, идя на несвойственный им компромисс, они преследовали некие особые цели, непредвидимые их союзниками. Но тем более велика была их мудрость в этом деле.

* * *

Той же ночью и утром 28-го Ц. И. К. разослал ряд воззваний и директив разным организациям демократии. Прежде всего — армейским и фронтовым

комитетам и советам. Затем — железнодорожникам, почто-телеграфным служащим, петербургскому гарнизону. В этих обращениях излагались события и предъявлялись требования: не выполнять приказаний Ставки, следить за движением контр-революционных войск и чинить ему всяческие препятствия, задерживать корреспонденцию заговорщиков, исполнять немедленно приказы советских органов и Вр. Правительства. Еще указывалось, что заговор не имеет глубоких корней, и его можно преодолеть напряжением, сплочением и натиском. А затем рекламировалось Вр. Правительство, которое принимает, конечно, все самые решительные меры и потому должно быть центром сплочения.

К полудню 28-го уже начал работу военно-революционный комитет. Он действовал в эти дни непрерывно, помещаясь в нижнем этаже Смольного в комнате 21. Председателем комитета был избран известный нам заслуженный в революции эсер Филипповский, более или менее военный человек. Членами комитета были Мартов, Каменев, Рязанов, Невский, Вайнштейн, Либер, Эпшава, Синани, Лазимир, Заварин, и другие, хорошо не знаю, кто именно.

Как видим, военно-революционный комитет, вообще говоря, не особенно блистал именами. Но мы видим также, что состав коллегии был довольно характерен: правый советский блок, в лице своих звезд первой величины, продолжал действовать по преимуществу в сфере «высокой политики», на паркетах Зимнего дворца; а в всенно-революционном комитете известные имена были левые. И несмотря на то, что они были в меньшинстве, совершенно ясно: в военно-революционном комитете гегемония принадлежала большевикам.

Это вытекало из самой природы вещей. Во-первых, если комитет хотел действовать серьезно, то он должен был действовать революционно, то-есть независимо от Вр. Правительства, от существующей конституции, от действующих официальных учреждений. Так могли действовать только большевики, но не советские «соглашатели». Во-вторых, для революционных действий только большевики имели реальные средства — в виде владения массами.

В комнате № 21, в примыкающих и в нижнем коридоре — происходила с утра до ночи невообразимая кутерьма. Здесь был штаб обороны от Корнилова. Вереницы штатских и военных людей проходили тут, получая директивы по политике и стратегии. Комнаты были наполнены десятками и сотнями каких-то совершенно новых лиц, неизвестно откуда взявшихся и поспешивших на службу революции в критический час...

Военно-революционный комитет, 28 го августа начал с обследования и локализации возможных корниловских баз в Петербурге: таковыми были, конечно, всякого рода юнкерские училища и офицерские организации. Тут были, несомненно, прочные контр-революционные ячейки, деятельность которых было необходимо парализовать. Впрочем, перед лицом советских эмиссаров доблестные юнкера усиленно перекрашивались в коалиционный и право-советский цвет. Аресты пока были исключением...

Затем были приняты меры к преграждению путей корниловским войскам. Возможно, что некоторые распоряжения тут были отданы и Керенским, хотя это более чем сомнительно. Но во всяком случае организации железнодорожников находились в пол-

ном распоряжении Совета. И в тот самый час, когда министр-президент совещался с фактическими инициаторами корниловщины относительно соглашения, — военно-революционному комитету было уже доложено (около 3 часов дня) об исполнении важнейших его приказов: около Луги был разрушен железно-дорожный путь, было устроено крушение и загромождение полотна, расчистка и поправка которого должна была занять не меньше суток.

Но, пожалуй, наиболее существенными мерами, принятыми в тот же день, были меры по вооружению рабочих. Разумеется, тут была не только инициатива, но ультимативное требование большевиков. Это, насколько я знаю, было условием их участия в военно-революционном комитете, условием передачи в его распоряжение всех большевистских организационных средств. Большинство комитета не могло не принять этого условия, если смотрело серьезно на свои задачи. Но оно хорошо оценивало все принципиальное значение этой меры, и оно уступало не без борьбы. Однако, нельзя же в самом деле взять на себя ответственность за возможный успех Корнилова, если его объявил мятежником и преступником даже Керенский... Военно-революционный комитет постановил: в виду необходимости «противопоставить вооруженным силам контр-революции мобилизованные силы рабочих, признать желательным вооружение отдельных групп рабочих для охраны рабочих кварталов, фабрик и заводов, под ближайшим руководством районных советов и под контролем комитета. В случае необходимости, группы эти вливаются в действующие воинские части и всецело подчиняются общему военному командованию».

* * *

В тесном контакте с военно-революционным комитетом начало работать еще одно учреждение, недавнего происхождения. Это был фактический центр всей петербургской советской организации. Но — увы! это не был петербургский исполнительный комитет. Ко времени корниловщины этот орган, со столь почтенным историческим прошлым, уже совершенно одряхлел и являлся величиной, ничего не значащей. В нем попрежнему господствовало старое оппортунистское большинство, которое, во-первых, ровно ничего не делало в качестве местного столичного органа, а во-вторых, совершенно противоречило новым настроениям не только рабочей, но и солдатской секции.

Мы уже видели, как лидер Церетели остался чуть ли не в единственном числе в пленуме Совета — по важнейшему вопросу о смертной казни. В Совете с каждым днем менялось не только настроение, но с постепенными непрерывными перевыборами менялось и партийное большинство; к эпохе корниловщины этот процесс как раз достиг перевала, и теперь пленум Совета, с его преобладающей солдатско-мужицкой массой, как раз делал поворот лицом к Ленину, спиною к Церетели... Но перевыборы Исп. Комитета все откладывались начальством — до перевыборов Совета.

И тогда новые советские массы, пойдя по линии меньшего сопротивления, нашли такой выход. Районные советы или исп. комитеты столицы составили путем делегаций общегородской советский исполнительный орган, под именем междурайонного совещания... Оно начало действовать еще в Таврическом дворце, при гегемонии в нем левых элементов. В эпоху же Смольного междурайонное

совещание совершенно вытеснило бездействующий, разложившийся, одиозный для масс старый Исп. Комитет.

Понятно, что междурайонное совещание стало действовать в дни корниловщины совместно с военно-революционным комитетом, послав своих представителей в его состав. Главное свое внимание оно обратило именно на создание рабочей милиции или красной гвардии — согласно особой, выработанной им инструкции. Из этих красногвардейских частей были выделены летучие отряды для чисто полицейских функций. Для этой цели районными советами составлялись списки рабочих... Затем междурайонное совещание установило связь с районными думами и командировало своих комиссаров во всевозможные местные учреждения, имевшие значение для обороны. Само оно, однако, проводило в жизнь директивы военно-революционного комитета.

Насколько быстро и глубоко вошел военно-революционный комитет в роль действительного штаба и центра осаждаемой столицы видно, напр., по таким проявлениям его «органической работы» того же 28 августа: в этот день ему сделали доклады о продовольственном положении столицы товарищ городского головы Никитский и председатель центр. продов. комитета Громан. Военно-революционный комитет постановил: мобилизовать все органы, обслуживающие продовольствие, к особо напряженной работе, под руководством соответствующих проф. союзов, и — уменьшить в столице хлебный паек до полуфунта на карточку.

Из окрестностей Петербурга, от демократических организаций, военных и профессиональных, военно-революционный комитет получал телеграммы о го-

товности их поступить в его полное распоряжение. Кронштадтский совет без лишних слов устранил после-июльское начальство и поставил своего коменданта крепости. Центрофлот также перешел на революционное положение и был готов к бою — морскому или сухопутному — по первому требованию Ц. И. К.

Уже с ночи и с раннего утра в рабочих районах развивали лихорадочную деятельность большевики. Их военная организация (которую и представлял Невский в военно-революционном комитете) организовала митинги во всех казармах. Повсюду давалась и исполнялась директива стоять под ружьем, чтобы выступить по первому требованию... В общем и целом Смольный встречал Корнилова с зажженными светильниками.

* * *

Но что происходило в Зимнем? Что-то поделывал «в грозный час» глава правительства и государства, единственная надежда и опора революции?... Ведь он один ныне олицетворял собой законную верховную власть — ответственный только перед своим разумом и совестью. И даже бывали часы, когда он физически оставался одиноким в покоях старого дворца — пока прочие (приближенные и ответственные) нотабли спешили «покинуть это гиблое место» и умыть свои белоснежные руки где-нибудь подальше от него...

«Я никогда, — пишет Керенский, — не забуду мучительно долгие часы понедельника и особенно ночи на вторник. Какое давление мне приходи-

лось испытывать все это время, сопротивляться и в то же время видеть против себя растущее смущение. Эта петербургская атмосфера (sic!) крайней психической подавленности делала еще более непереносным сознание того, что безначалие на фронте, эксцессы внутри страны, потрясение транспорта — могли каждую минуту вызвать непоправимые последствия для и без того скрипевшего государственного механизма. Ответственность лежала на мне в эти мучительно тянувшиеся дни поистине нечеловеческая. Я с чувством удовлетворения вспоминаю, что не согнулся я тогда под ее тяжестью, с глубокой благодарностью вспоминаю тех, кто тогда просто по-человечески поддержал меня».

Таковы были чувства нашего тогдашнего главы. Они были очень почтенны. Но на чем же основывалось «удовлетворение» Керенского? Что же он делал и сделал полезного для родины и революции — в сознании своей «нечеловеческой ответственности»? ... О, в этот день, 28 августа у него было по горло самых высоко-государственных дел. Кажется, с самого утра он предавался со страстью своему излюбленному занятию — награждению чинами и постами приближенных и доверенных людей, изысканию «комбинаций», жонглированию портфелями и прочими должностями, по своему наитию и вдохновению.

Керенский, ради спасения революции и скорейшей ликвидации корниловщины, как мы знаем, настаивал на директории. В Зимнем дворце в принципе против этого не спорили, а в Смольном сказали: чего изволите. В самом деле, тут не до коалиции, не до тонкостей воплощения в обще-

национальном кабинете всех живых сил страны. Тут нужно небольшую, подвижную, боевую коллегия единомышленников, одухотворенных единым порывом в борьбе с корниловским бонапартизмом. Господи, Боже мой! Ну, разве же этого не понимают вожди всей демократии? Разве они не понимают, что предложенная ими с вечера резолюция против директории, за коалицию, была каким-то наваждением, об'яснимым только спешкой, потрясением и кутерьмой. Конечно, первый консул — pardon... первый директор, единственная надежда и опора, — знает, что делает, когда требует директории для спасения революции и для сокрушения корниловщины.

И вот в день 28 августа Керенский, для начала, пожаловал в указанных целях директорские портфели следующим законченным и безупречным корниловцам: Савинкову, Терещенке и Кишкину. Этот последний, занимавший пост московского «губернатора» и бывший на ножах с советом, был вызван в Петербург настолько в экстренном порядке, что уже в час или в два часа дня мог представиться главе государства; при этом газеты сообщали, что для такого случая гражданин Кишкин выразил готовность выйти из кадетской партии. О, это был тончайший ход!.. Да и вообще корниловщина разлетелась бы в пух и в прах, развеялась бы, как дым по ветру при одном имени такой директории.

Но помешали все те же нудные и надоедливые люди, которым собственно и на свет не стоило являться, будь они даже и партийные товарищи. Опять явились из Смольного Церетели и Гоц! Опять стали урезонивать; как же, мол, так?!

Простым людям не понять всей этой «нечеловеческой» мудрости... Насколько можно судить по многим данным, Керенский сначала ответил: ну, ладно, — шестое место в директории можно предоставить представителю революционной демократии, — Никитину, например. Но скучные люди из Смольного все упирались, требуя большей близости к Совету и представительства в директории для эсеров и меньшевиков.

Тогда комбинация расстроилась. Но ведь Корнилов — чорт возьми! — не ждет, пока образумятся и перестанут вмешиваться не в свои дела нелепые люди из Смольного. Ведь надо действовать немедленно — хотя бы и без «комбинации»!..

Тогда глава государства назначил Савинкова генерал-губернатором Петербурга и его окрестностей. Савинкову подчинялись и все войска петербургского округа. На Савинкова таким образом возлагалась вся официальная тяжесть борьбы с Корниловым. А на Керенского возлагалась вся ответственность (перед его разумом и совестью!) за такой... непонятный выбор. Ведь как будто Савинков был заведомым для Керенского корниловцем. Ведь он многократно заявлял о своей с ним солидарности, подавал несогласному премьеру прошение об отставке и уже сейчас, в день 28 августа, продолжал настаивать на корниловской программе. Допустим, главе государства было действительно не под силу рассмотреть корниловцев в Терещенке или Маклакове (оба — посетители Ставки). Но насчет Савинкова как будто сомнений быть не могло...

Что говорит на этот счет сам злополучный бонапарт? Он «показывает»: «...Савинков, когда

под утро 28 августа узнал не только то, что Корнилов отказался сдать должность но и то еще, что он задержал Филоненко и двинул в авангард конного корпуса туземную дивизию, а командиром корпуса назначил ген. Крымова, то-есть не исполнил «данных обещаний», он понял, что «при этом положении дел уже невозможно было вступить с ген. Корниловым в переговоры»... Больше ничего.

Стало быть, это только кажется сверх-естественной недепостью. На самом деле это была логика положения Керенского, которой он сам, конечно, не сознавал. Ведь не мог же он в самом деле, вместо этой недостойной, отвратительной игры, начать серьезную борьбу против Корнилова. Не понимая, он чувствовал, что этого он не может: ибо сам он был корниловцем — только с условием, чтобы во главе корниловщины был он сам; а все те элементы, на которые он хотел опираться, были корниловцами безоговорочными и безусловными... При такой кон'юнктуре, Керенский и не мог для борьбы с заговором сделать ничего другого, как назначить заведомого соучастника заговора полномочным и официальным начальником всех сил, мобилизованных для его ликвидации.

Но почему же Смольный не об'явил это явным предательством? Или звездная палата была также соучастницей Корнилова? О, нет, — в этом она прямо не повинна. Но дело, повторяю, в том, что Смольный не знал ничего о кляузах и крючках Зимнего. Он попрежнему знал только одно: Корнилов идет с войском на Петербург, чтобы установить военную диктатуру, а Керенский об'явил его мятежником и принимает решительные меры

и защите революции... Корнилов, в своем воззвании «к русским людям» так неловко, так топорно «разоблачил» Керенского, что революционный престиж премьера в глазах Смольного только укрепился. Истина начала лишь понемногу просачиваться, среди переполоха, и то, пожалуй, только в последующие дни.

Среди явных, полу-явных и скрытых корниловцев, представлявших в глазах Керенского «всю страну», он не мог действовать иначе; не мог поступать с корниловщиной так, как поступают с мятежом, как поступал бы он, если бы мог, во время июльских событий...

Во втором часу дня из Москвы, по его вызову, прискакал «общенациональный» кадет Кишкин для участия в директории. Что же сказал Кишкин во время аудиенции? Он заявил, что единственным выходом из создавшегося положения является обращение к ген. Алексеву для образования кабинета. Комментарии излишни.

Другие, как мы знаем, настаивали на назначении Алексева главноверхом. Керенский вызвал его к себе в спешном порядке, но еще неизвестно для какой цели... Премьер уже имел с ним под утро продолжительную беседу наедине, но — как сообщили «Известия» — она «держится в строгой тайне». И вот доблестный черносотенный генерал явился снова к Керенскому 28-го в 3 часа дня. Но явился не один, а с Милюковым. Собственно — будучи вызван премьером, он только конвоировал названного лидера контр-революционной плутократии и закулисного вдохновителя Ставки. Он, Алексей, во время беседы молчал все время. Говорил Милюков. Но Керенский не стесняется выставить

на всенародное глумление свою простоту, когда в «показаниях» заявляет: «тогда, в 3 часа дня 28 августа мне и в голову не приходило, что передо мной сидят единомышленники»... Да, поистине змеиной мудростью обладал тогда у нас глава государства!

Ген. Алексеев, в своих собственных показаниях, говорит так о целях этого визита: «так как представлялось весьма вероятным, что в этом деле ген. Корнилов действовал по соглашению с некоторыми членами Вр. Правительства, и только в последние дни, 26—28 авг., это соглашение было или нарушено, или народилось какое-то недоразумение, то в 3 часа дня 28 августа Милюков и я отправились еще раз (?) к министру-председателю, чтобы сделать попытку к командированию в Могилев нескольких членов правительства для выяснения и соглашения, или уже в крайнем случае к продолжению переговоров по Юзу. Но в этом нам было решительно отказано».

Но тут Керенский гордо прерывает генерала, заявляя: Милюков в разговоре 28-го августа даже не намекнул на такую мотивировку, — иначе «ему... не пришлось бы свою беседу довести до конца». Очень хорошо!

Но что же говорил Милюков?... Кадетский лидер, по словам Керенского, аргументировал необходимость соглашения «интересами государства, патриотичностью мотивов выступления Корнилова, заблуждающегося только в средствах и, наконец, как *ultima ratio* он привел мне (Керенскому) решающий, по его мнению, довод — вся реальная сила на стороне Корнилова»...

На это народный герой Керенский ответил, что он предпочитает погибнуть, но силе право не под-

чинит, и только удивляется, как можно являться к министру-президенту с подобными предложениями, после того как главноверх осмелился об'явить министров немецкими агентами. Керенский был «взбешен», что сам Милюков на это не реагирует, хотя в министерстве сидят его партийные друзья... Да, в этом, конечно, была разница между Керенским и Милюковым.

Так или иначе министр-президент «отказал» Милюкову. Он заявил, что его отношение к корниловщине не может быть иным, чем к восстанию большевиков в июле. Правда, Керенский, «не отрицал разницы мотивов преступления» большевиков и корниловцев; то-есть для почтенного премьера корниловцы были хорошими, но заблуждающимися патриотами, а большевики преступными агентами Вильгельма. Но все же этот тончайший юрист и политик только удивлялся, как это Милюков на основании разницы мотивов требует различного отношения к самому преступлению. «Передо мной, — воскликнул Керенский, — был июльский Мартов наизнанку». И даже, — прибавляет он, — «передовицы «Речи» этого времени соответствовали передовицам «Новой Жизни» времени большевистского восстания»...

Тончайший юрист и политик, как видим, оказывается способен к проникновенным историческим аналогиям. Забыты совершенные пустяки, о которых не стал бы и говорить менее придирчивый писатель. Во-первых, Мартов не был большевиком, а был решительным противником июльского эксперимента; тогда как Милюков был одной из главнейших фигур данного «выступления» plutократии. Во-вторых, Мартов и его друзья были

всегда, в глазах Керенского, почти теми же преступниками, «разрушителями» и пособниками немцев, какими были и большевики; а ведь друзья Милюкова сидели с Керенским в министерстве, в качестве необходимейших его элементов и цвета российской государственности. В-третьих, ни Мартов, ни его друзья не думали являться к премьеру Львову в июльские дни для переговоров о соглашении с июльскими повстанцами: и для Мартова, и для коалиции, и для повстанцев это было бы в высокой степени неуместно; тогда как здесь вся логика и «государственность», конечно, были на стороне Милюкова... Требовать от Керенского понимания всего этого, разумеется, нельзя.

Но Милюков поступил совершенно правильно. Ведь даже переговоры премьера о директории — час или два назад — были не чем иным, как соглашением с Корниловым. Ведь за это соглашение говорило все. И особенно говорило наличие реальной силы... Если первоначальный план Корнилова завершить переворот с максимумом легальности потерпел крах, то Милюков вполне логично и «государственно» спешит, вместе с Алексеевым, восстановить прежнее положение настолько это возможно. И вдруг слышит в ответ трескотню адвокатских фраз о силе, о праве и прочем... Да, тут была разница между Керенским и Милюковым.

Посетители ушли ни с чем от взбешенного министра-президента. Но надо сказать, что со слов Милюкова этот визит был описан несколько в иных тонах, чем в показаниях Керенского. Дело не шуточное. Мы предоставим слово и Милюкову.

А. Ф. Керенский, читаем мы в «Речи», в ответ

на предложение «посредничества», нашел «неудобным для себя, как власти, вести какие бы то ни было переговоры с лицами, нарушившими закон. В то же время он допускал, однако, возможность передачи власти новому кабинету, который мог бы вступить в сношения с Корниловым. При обсуждении этого вопроса в состоявшемся затем частном совещании с подавшими в отставку министрами выяснилось, что большинство из них считает передачу власти наиболее целесообразным способом для скорейшего прекращения гражданской войны. Лицом наиболее подходящим для образования нового кабинета, признавался при этом ген. Алексеев. Однако, несмотря на настояния в этом смысле министров — членов партии народной свободы, А. Ф. Керенский в конце концов отказался от мысли об обращении к ген. Алексееву и вступил в деятельные переговоры с представителями Исп. Комитета, гг. Гоцом и Церетели».

Затем — ген. Алексеев из кабинета Керенского перешел в кабинет Савинкова и имел с ним длинную и тайную беседу. А в кабинет Керенского пришли советские люди. Никому неизвестно, что рассказал им Керенский и что сохранял пока от них «в строгой тайне». Но ведь отдать власть Алексееву, как и Корнилову, — премьеру не улыбалось. Нет, ради спасения революции он должен оставаться во главе правительства! И советские люди могли только поддержать его в этом приятном убеждении.

Но как же директория? Не составлять же ее, так необходимую для борьбы с Корниловым, без корниловцев, без кадетов? И чего это кадеты, после шероховатостей с Корниловым, уперлись так

на Алексееве!.. «Нет, этого он не может!» «Вся демократия» не поддержит, а ведь Керенский же демократ и социалист, чорт возьми...

Но как же быть? К вечеру Керенский собрал старых министров и просил их, пока что, остаться в своих должностях. Министры в большинстве согласились. Только кадеты, разумеется, воспротивились и сдали дела товарищам. Да еще отряхнул прах от ног своих доблестный Чернов... Так к вечеру 28-го, по случаю неудачи директории, у нас остался прежний, но куцый кабинет. Так, с утра до вечера 28-го «комбинировал» Керенский то с Савинковым, то с Кишкиным, то с Алексеевым, то с Гоцом, — ради спасения революции.

* * *

Ну, а как же все-таки насчет, «решительных мер» против мятежников? — В течение этого дня Керенский послал телеграммы железнодорожникам и начальникам дорог. Телеграммы страдали фразами вроде — «творите волю единственно самого русского народа». Делового в них было — только директивы не исполнять приказов Корнилова. Затем премьер издал приказ по войскам Петербурга. Тут также подчеркивается, что Корнилов изменил родине и восстал против законной власти. Это подчеркнуть, вообще говоря, не мешало. Но в приказе имеются также места издающие — за подписью Керенского — несколько неприятный запах: «Корнилов заявивший о своем патриотизме, ... взял полки с фронта, ослабив сопротивление нещадному врагу-германцу, и все это войско отпра-

вил против Петрограда. Он говорит о спасении родины создает и братоубийственную войну. Он говорит, что стоит за свободу, и посылает на Петроград туземную дивизию»... А затем — «я, ваш министр, уверен, что вы без страха до конца исполните свой долг»... Да, запах сомнительный. И долго, долго еще не знали, что это обвинение в измене может быть отнесено к самому нашему министру...

Наконец, вечером — еще одна «решительная мера». Керенский явился на созванное в главном штабе собрание командиров петербургских полков и представителей полковых комитетов. И квалифицировав Корнилова мятежником, он заявил, что «не доверяя ищет от революционных полков, а верности революционному делу»!..

Так. Очень хорошо!.. Ни о каких других «решительных мерах» я решительно не нахожу никаких сведений. Но мы же видели, что у премьера день деньской и без того было хлопот по горло. Да никаких мер от него для обороны и не требовалось. Петербург был поставлен на ноги без участия предателей из Зимнего — против них. Он был поставлен на ноги Смольным, надежными вождями революции, военно-революционным комитетом.

* * *

Но пора посмотреть, как же шло «восстание». Что делалось в Ставке и на новом, на петербургском фронте гражданской войны 28-го августа...

«Выступая открыто» в ночь на 28-ое, официаль-

ный глава мятежников сейчас же принял меры к тому, чтобы закрепить за собой всю действующую армию. Он разослал по всему фронту свое воззвание и приказ главноначальствующим генералам повиноваться ему, поддерживая его «выступление». Для командующих фронтами тут, несомненно, не было ничего неожиданного: среди них вероятно не было ни одного не-корниловца. Но, очевидно, большинство все же рассчитывало не на войну с правительством, а на разгром революции «при максимуме легальности».

На призыв Корнилова немедленно откликнулся известный нам казачий атаман Каледин. Затем — еще более известный Деникин, командовавший юго-западным фронтом. Далее, была получена благоприятная для Корнилова телеграмма от Валуева, командира западного фронта... Наконец, достойный избранник Керенского, назначенный им же на место Корнилова, командующий самым важным северо-западным фронтом ген. Клембовский — не только телеграфно, но и фактически перешел на сторону мятежников: получив приказ остановить 3-й корпус и не выполнять приказаний Корнилова (вместо того, чтобы незамедлительно раздать его в Ставке), ген. Клембовский подтвердил приказ отрешенного главковерха о дальнейшем движении войск на Петербург.

Но как будто бы тем и кончилось распространение корниловщины в армии. По крайней мере, как будто бы не было никаких ее дальнейших внешних проявлений. Здесь, конечно, сыграла первостепенную роль демонстративная позиция, занятая Керенским, как главой правительства: об'явив корниловщину мятежом против законной

власти, переведа ее на нелегальное положение, Керенский тем самым потребовал от корниловских генералов открытого, активного повстанческого выступления. На это большинство не решалось, и это внесло замешательство, колебания, разложение в корниловскую среду. Как бы ни сочувствовали они Корнилову, как бы ни презирали премьера, но к такой форме выступления они совершенно не готовились и не были готовы. Выступить активно и внезапно против законного кадетско-эсеровского общенационального правительства они были не в состоянии.

Командные верхи не объединились вокруг мятежного центра, не поступили в распоряжение Корнилова. И это нанесло жестокий удар корниловщине в самый решительный час. Прочие, кроме названных, главнокомандующие стали запрашивать Петербург, что им делать. Пные, как Валусев, немедленно пошли на попятный и стали работать «в контакте» с правительственными комиссарами. Официальные же корниловские сторонники просто ничего активного не предпринимали и упускали драгоценные минуты.

Но самая армия? Прочий командный состав? Офицерство? Солдатская масса? Мы знаем, что в ночь на 28-е Ц. И. К. уже разослал циркулярные директивы своим армейским организациям. И этим корниловщина перед лицом действующей армии в целом — была предупреждена. Приказы Корнилова были достоянием одних только фронтовых штабов, где были задержаны советской агентурой, и до армии не дошли. Напротив, среди офицерства и солдат, дружными усилиями армейских органов, уже с утра 28-го, широко популяризировалась

позиция верховной власти и Совета. Результаты здесь были очевидны. Армейские части никуда не выступали против Корнилова, ибо ни откуда не получали приказаний. Но о поддержке мятежа не могло быть и речи. Если нельзя сказать, что Ставка была изолирована, то во всяком случае ее мятеж был локализован в первый же решительный момент.

Интересно, как сами мятежники в этот момент оценивали свои реальные силы? На этот счет мы имеем любопытное документальное свидетельство. Утром 28-го упомянутый выше корниловский приближенный Трубецкой послал за № 282 по адресу друга-Терещенки такую телеграмму, предварительно прочитанную и одобренную Корниловым:

«Трезво оценивая положение, — полагает штаб восстания, — приходится признать, что весь командный состав, подавляющее большинство офицерского состава и лучшие строевые части армии пойдут за Корниловым. На его сторону станет в тылу все казачество, большинство военных училищ, а также лучшие строевые части. К физической силе следует присоединить превосходство военной организации над слабостью правительственных организмов, моральное сочувствие всех несоциалистических слоев населения, а в низах растущее над вольством существующим порядком, в большинстве же народной и городской массы притупившейся ко всему, равнодушие, которое подчиняется удару хлыста... С другой стороны, последние события на фронте и в тылу с наглядной очевидностью выяснили картину полной несостоятельности нынешнего порядка вещей и неизбежность катастрофы, если не произойдет перелома...»

Очень интересно. Здесь есть многое. Здесь есть полная готовность развернуть кровавую гражданскую войну во всю ширь, в тылу и на фронте. Здесь есть признание того, что события на риж-

ском фронте имели особо важное показательное значение и служили прямой подготовкой «выступления» Ставки. Здесь есть примитивное хвастовство своей силой и вместе с тем правильные указания на состояние духа низов, разочарованных существующим порядком и растративших революционную энергию в бесплодном советском политиканстве... Но здесь нет и тени понимания общей конъюнктуры, нет и признака серьезного учета своих действительных реальных сил.

Во всяком случае действительность разочаровала Ставку через несколько часов после отправки этой телеграммы. Генеральско-буржуазного мятежа не поддержала не только страна, но и не поддержали сочувствующие верхи армии. Не только довести до конца, но и поднять восстание в такой форме было явно не под силу даже и «влиятельной» группе наших политических авантюристов. Силы революции были растрчены, но для ликвидации такого «выступления» у нее было слишком достаточно сил... Если нельзя сказать, что Ставка была изолирована уже с утра 28-го (ибо за нее стояла вся плутократия, облепившая главу государства), то во всяком случае мятеж был локализован уже в тот момент.

В конце концов все реальные расчеты мятежников могли теперь строиться на одном только 3-м казачьем корпусе, который шел на Петербург... Как мы знаем, корпус должен был расположиться в окрестностях столицы еще к вечеру 27-го. Такие директивы были даны командиру Крымову. Но они не были выполнены. Почему? Корнилов «показывает»: «с Крымовым была прервана связь, и он не мог получить моих последних указаний»...

Но эта связь была прервана позже, только ночью на 28-е. Очевидно, Крымов запоздал в силу каких-нибудь технических препятствий. В частности, головная дикая дивизия застряла на узловой станции «Дно», — в мистическом пункте, где некогда застрял и Николай II, чтобы пойти ко дну после телеграфного разговора с Родзянкой, некогда описанного мной.

* * *

С утра 28-го корниловские эшелоны стали прибывать к городу Луге. Всего прибыло 8 эшелонов, во главе с самим Крымовым. Войска заняли город, центральные учреждения, помещения совета; но везде был порядок и спокойствие. Сопротивления не было оказано. Совет не показывался. Крымову тут нечего было делать. Но дальше ехать было нельзя, так как путь был разобран.

Прибывшие части перемешались с лужским гарнизоном. Местные партийные и советские элементы немедленно развили широчайшую агитацию среди корниловцев; а Крымов, не имея связи со Ставкой, колебался ликвидировать их и начать по личному почину серьезную политику ежовых рукавиц. Среди бездействия и агитации корниловские казаки естественно начали разлагаться. И подход к ним оказался довольно прост.

Само собой разумеется, что командиры, поскольку подготавливали их к походу, постольку ссылались на начавшиеся в Петербурге бунты немецких агентов большевиков. У советских же агитаторов были в руках документы, что 3-й корпус мятежник-генерал ведет против законной власти, а никаких

бунтов в Петербурге нет. Полнейшая смута среди корниловцев была неизбежна. Могли помочь решительные действия, чтобы некогда было думать. Но для этого не было директив.

Местные советские власти стали быстро поднимать голову. Часов около 8 вечера собрался местный Исп. Комитет с участием делегатов воинских частей. Выяснилось, что на пути к Луге находится еще несколько эшелонов. Было решено остановить их во что бы то ни стало, хотя бы открыв сражение. Теперь ликвидировать лужский совет и гарнизон было уже поздно. При помощи наличных эшелонов это было уже невозможно... Крымов был в довольно нелепом положении.

Утром же 28-го со станции «Дно», по другой дороге, вышли эшелоны дикой дивизии. В 4 часа дня два эшелона подошли к 42-й версте от Петербурга, где был разобран путь и опрокинуты вагоны с дровами и лесом. Из корниловского поезда вышел небольшой отряд на разведку. С другой стороны, им навстречу вышла особая делегация из мусульман и кавказцев, специально посланная Ц. И. К. для воздействия на своих земляков из дикой дивизии. Делегаты предложили отвести их к эшелонам. Отряд охотно согласился, дав честное слово насчет неприкосновенности парламентариев. Дорогой успели объясниться — все на ту же простую тему... Вышедшая группа корниловских офицеров, однако, не пропустила делегацию к эшелонам. После долгих и бурных пререканий, уже в десятом часу, делегатам пришлось уехать обратно. Но уже было достаточно сделано для разложения отряда: «дикие» были осведомлены о действительном положении дел... Потом они рассказывали, под каким

соусом их вели на Петербург: сначала им об'явили, что их переводят севернее Риги для обороны от немцев; после «Дна» их уверили, что в Петербурге происходит большевистская резня, и надо сейчас же унять этих изменников и предателей; а для большей убедительности неподалеко от «Дна» в эшелон была брошена провокаторская бомба, которая подняла настроение... Но настроение легко спадало от простой информации. За 28-е августа, пока Милюков, Корнилов и Трубецкой уверяли, что в их руках вся реальная сила, эта реальная сила, в виде изолированного корпуса, уже трещала по всем швам.

Вечером 28-го Корнилову были заграждены уже все пути не только разрушением железных дорог, но и живой силой. Гарнизоны всех близлежащих городов, Гатчины, Павловска, Царского, Красного, поставленные под ружье, были развернуты боевым фронтом около железнодорожных линий и шоссейных путей. Вокруг Петербурга расположились части столичного гарнизона, перемешанные с рабочей красной гвардией. Для усиления их военно-революционный комитет вызвал некоторые части из Финляндии, и они прибыли моментально. Я сам был свидетелем их нашествия у Финляндского вокзала и смешался с солдатской толпой: часть их, как будто бы меньшая, сознательно шла на защиту революции; часть, с деловым, привычным видом, исполняла, не рассуждая и не вникая, полученный приказ. В меньшинстве были сознательные пролетарии, в большинстве корявые, неуклюжие деревенские парни; но меньшинство служило достаточным цементом для всей армии.

Окрестности Петербурга были превращены в

огромный лагерь. Полки об'езжали комиссары Смольного. А среди них был... селянский министр Чернов, произносивший речи от имени всего крестьянства и выдустивший, с разрешения крестьянского Ц. И. К., шумное воззвание от своего собственного имени. Воззвание было выдержано в стиле Керенского по адресу самого автора («я ваш министр, ваш избранник, которому вы верите, говорю вам» и т. д.) и было выдержано в самых лойяльно-рекламных тонах по адресу Вр. Правительства.

В недрах самого Петербурга шла неустанная, кипучая работа — весь день и ночь. На окраинах шло вооружение рабочих... Откуда брать оружие? Отовсюду, где оно есть. Об юридических нормах никто не спрашивал. Совершенно достаточно было того, что вооружение шло планомерно, под руководством органов военно-революционного комитета. В частности, не мало оружия нашлось на Путиловском заводе, который предоставил его целиком Смольному для вооружения красногвардейских масс. Официальная власть в главном штабе, около корниловца Савинкова ворчала, фыркала, негодовала, выходила из себя. Но это не имело значения. Было совсем не до нее... Ни малейших эксцессов в Петербурге не наблюдалось.

А в общем было совершенно ясно, что несмотря на наличие Зимнего дворца среди революционного лагеря, часы Корнилова сочтены.

* * *

Ранним вечером 28-го я ехал в новожиженском автомобиле в Смольный вместе с издателем этой

книги Гржебиным, тогда обслуживавшим финансирование нашей газеты. Не помню, что именно ему нужно было устроить для «Новой Жизни» в смольском правительстве. Но Гржебин был во всяком случае расстроен до крайности. Он ехал прямо из типографии суворинского «Нового Времени», где мы печатались и где нас терпели с трудом, грозя ежедневно нарушением контракта. Сейчас Гржебин застал суворинскую администрацию в полнейшем торжестве по случаю нашествия Корнилова и обеспеченных его успехов. А, в частности там говорили: придет Корнилов, водворит новые порядки, «Новая Жизнь», конечно, будет закрыта, и сохранять с ней контракт уж конечно не будет никаких оснований. И без того — сколько времени пришлось на своей груди отогревать змею, проскользнувшую в их обитель каким-то способом! Это означало, что «Новая Жизнь» должна оказаться «на улице». Другой подходящей типографии нет в Петербурге. Мы должны будем погибнуть, если даже будущая власть со временем согласится на наше существование.

Гржебин был расстроен до крайности, сидел как на иголках, требовал от меня сочувствия и разъяснений; как же нам теперь быть?.. Но я ничем не мог отвечать ему, кроме как веселым смехом.

— Бросьте, забудьте, — говорил я ему. — Вы лучше посмотрите, как замечательно интересно вокруг! Никаким Корниловым не видеть Петербурга, как своих ушей. Вашим нововременцам вы бы сказали, что теперь-то революция и двинута вперед. А в суворинской типографии теперь, пожалуй, будет действительно просторнее. Только закрыта будет не «Новая Жизнь», а «Новое Время». Отлично! Мы теперь выберем для себя любые машины...

Гржебин, человек из потустороннего мира, мрачно слушал, не веря, тоскуя и качая головой.

— Вы, конечно, говорите пустяки и невероятные вещи, — проговорил он наконец. — Но если что-нибудь из того, что вы говорите, случится, то вы — гениальный человек... Скажите, — прибавил он, помолчав, — что подарить вам, если это действительно случится?..

Увы! решительно никакой гениальности не требовалось для того, чтобы видеть очевидное для всякого наблюдателя из нашего, из смольного мира. Вся картина событий, взятая в целом, говорила сама за себя...

* * *

Что в ней было на первом плане?

На первом плане было то, что было давно утрачено революцией, чего в ней не было уже много месяцев к великому ее ущербу. Это был единственный демократический фронт против объединенной буржуазии. В корниловщину, — на один только момент — он был восстановлен. Пропасть между пролетарским авангардом и мелкобуржуазной демократией была засыпана Корниловым. Меншевиристско-эсеровская армия — какая ни на есть — оторвалась от плутократии и спаялась для борьбы против нее с пролетариатом, бросив где-то в лабиринте Зимнего дворца своих официальных вождей... Единный демократический фронт был восстановлен, и этим сказано все. Стало быть, легкая, почти безболезненная победа обеспечена. А «выступление» Корнилова при таких условиях могло только развязать спутанные силы революции и бросить ее далеко вперед.

День 28 августа был наиболее острым и критическим. К ночи кризис стал явно рассасываться, — хотя напряжение было еще очень велико, главным образом, в виду неизвестности положения дел в лагере мятежников.

Военно-революционный комитет заседал непрерывно. В Смольном, который усиленно охранялся всю ночь, сменяли одна за другою толпы военных и штатских людей. В нескольких комнатах шло вооружение и снаряжение рабочих отрядов, отправляемых на фронт. Проходили по коридорам вереницы солдат в походном виде и в полном вооружении, под предводительством, офицеров. Видимо, многие кадры — быть может, отборных, охотников, сознательных — формировались непосредственно в Смольном и оттуда выступали в поход... Но вместе с солдатами на фронт пачками отправлялись агитаторы, которым придавалось никак не меньшее значение.

В эту ночь военно-революционный комитет предпринял широкие меры полицейского характера. Между прочим, по его ордерам, был произведен обыск в знаменитой петербургской гостиннице «Астория». Во время войны она была специально приспособлена для нужд проходящего высшего офицерства. А в настоящее время тут, конечно, свили себе прочное гнездо контр-революционные элементы армии. Во время корниловщины здесь шли совершенно открытые разговоры, гораздо более «содержательные», чем в редакции суворинского «Нового Времени»... Мне неизвестно, насколько серьезны были результаты произведенного там повального обыска. Арестовано было всего 14 офицеров.

Вообще по городу военно-революционный комитет

арестовал несколько десятков людей. Но все же не было никаких признаков террористической атмосферы. Явные и заведомые корниловцы, кадетские лидеры, столичные генералы, думский комитет и проч. и проч., спокойно оставались на свободе и были далеки от мысли попасть в те обители, которые до сих пор были наполнены июльскими большевиками.

Это странно, нелогично и непрактично. Но ведь арестовать ближайших контрагентов Керенского, арестовать Милюкова или ген. Алексеева, означало бы решительно разорвать с законной властью и объявить против нее мятеж слева. Тогда пришлось бы арестовать и самого министра-президента. На это военно-революционный комитет пойти не мог — уже по одному тому, что это немедленно поставило бы Ставку на твердую почву... Поэтому, военно-революционный комитет, в области внутренней охраны, ограничился паллиативами и самыми верхоглядными мероприятиями. Если бы в лагере Корнилова дело обстояло лучше, они не помогли бы. Но так — сошло.

Большевики, не ставя дела ультимативно, все же энергично требовали освобождения своих товарищей. Об этом твердили и районы, и центральные люди в военно-революционном комитете, и в Ц. И. К. Положение, когда Алексеев шушукается с Керенским, а Троцкий сидит в тюрьме, было совершенно нестерпимо... Лидеры советского большинства, в лице Гоца и Церетели, усиленно «хлопотали» перед Керенским об освобождении большевиков; но успеха не имели. Однако, всем известно, что Керенский был мудр и справедлив. Чтобы смягчить то, что было неле-

постью в глазах звездной палаты, он приказал в ту же ночь... арестовать Пуришкевича и с ним двух-трех защитников распутинского мракобесия.

Под утро в коридоре Смольного встречаю Дана. Он настолько в хорошем настроении, что чуть ли не обращается прямо ко мне:

— На фронт, против дикой дивизии сейчас снова послали депутацию. В нее входит Щамиль, внук знаменитого Шамиля... Это сильное средство. Им не устоять. Да и вообще уж...

* * *

Наступило утро 29-го. Керенский, в покоях Зимнего, переживал в это время те мучительные часы, о которых он вспоминает с благодарностью, — переживал, иногда оставаясь физически одиноким. Рано утром в течение нескольких часов ему пришлось заняться делом Филоненки. Но этот материал из «показаний» Керенского я предоставляю использовать авторам пошлейших исторических романов или опереток.

С утра 29-го настроение министра-президента во всяком случае сильно улучшилось. И к тому были самые солидные основания. Кризис стал рассасываться очень быстро. Приватные занятия Керенского с Филоненкой, очные ставки придворных, патетические допросы — произносил ли Филоненко ужасные фразы или не произносил — были прерваны появлением делегации от корниловских казачьих полков. Казаки пришли с повинной. Они заявили, что были обмануты Корниловым и посланы им против бунтующих большевиков. Высту-

пления же против законной власти они не могут и помыслить, готовые грудью защищать ее...

В сущности, исход корниловщины решался этим окончательно. Но события развивались с каждым часом. Пришли известия, что официальные корниловцы — генерал Корнилов и Эрдели — арестованы со своими штабами. Затем сообщили, что Псков, Витебск, Дно находятся в руках войск, верных правительству. Мятежный генерал Клембовский, только что назначенный преемником Корнилова, фактически на другой же день оказался не у власти. Днем стало известно, что Ставка также окружена правительственными войсками. И, наконец, движение на Петербург было окончательно приостановлено; эшелоны же дикой дивизии замкнуты плотными кольцами революционных войск.

Ко второй половине дня крах мятежа стал так очевиден, что в Петербурге, одно за другим, стали созываться делегатские собрания частей, должностовавших стать опорой Корнилова при его появлении в столице: казаки, юнкерские училища и прочие выносили резолюции о верности законной власти... К вечеру было получено сообщение, что отряды, прибывшие с Крымовым в Лугу, отправились вместо Петербурга в Нарву; таким образом, последние остатки знаменитой корниловской «реальной силы» рассеялись, как дым. Насколько я представляю себе дело — все выступление генералов и биржевиков было ликвидировано без выстрела... Между тем газеты того же дня принесли весть, что накануне биржа ответила на корниловский мятеж дружным повышением ценностей.

Настроение Керенского и его приближенных вполне основательно поднялось с утра. И тут, на

переломе, оказалось хлопот не мало. О положении дел надо было известить всю страну. За подписью Керенского была послана радиотелеграмма, которая начиналась словами: «Мятежная попытка ген. Корнилова и собравшейся вокруг него кучки авантюристов остается совершенно обособленной от всей действующей армии и флота». И дальше это плюстрируется ссылками на поведение главнокомандующих, армий и провинций, сплотившихся вокруг законной власти. Керенский требует спокойствия и неограниченного подчинения.

В своем улучшенном и приподнятом настроении, министр-президент ныне, после фактического провала мятежа, решил еще на одну решительную меру: он издал пять указов об отчислении от должностей «с преданием суду за мятеж» пяти генералов — Корнилова, Деникина, Лукомского (начальника штаба Главковерха), Маркова и Кислякова. Вот как действовали Керенский с Савинковым! О, им, поистине, пальца в рот не клади... Насчет других генералов-корниловцев указов почему-то нет. И приказов об аресте главных мятежников тоже нет. Ну, да ведь это не большевики: мы знаем, что «разницу мотивов» Керенский хорошо видел. Вообще тут комментировать нечего...

Затем был смещен и новый главковерх, генерал Клембовский. Но насчет предания его суду я не нахожу в газетах никаких указаний. Нельзя же было в самом деле сердить Кишкина, который еще мог согласиться спасти Россию, войдя в директорию...

Однако, вот роковой вопрос: как же быть с должностью верховного главнокомандующего. Это была задача... Конечно, не могло быть кандидата лучше

генерала Алексеева, это ясно. Долгие интимные беседы с ним Керенского и Савинкова демонстрировали тут полный контакт с Кишкиным и Милюковым: если на предоставлении Алексею кресла премьера спетаться не могли, то видеть его главноверхом одинаково желали и официальные и неофициальные корниловцы. Но ведь опять этот нелепый Смольный! Ведь конфликты с Советом из-за черносотенного царского генерала уже были не раз, а в мае месяце уже пришлось устранить Алексеева от должности главковерха. Как тут назначить его снова?.. А между тем надо решать...

И вот — *risum, risum teneatis*, уважаемые читатели. Ибо из песни слова не выкинешь, а песня получается смешная, а смеяться в драме неприлично. Присяжный поверенный Керенский назначил главковерхом самого себя...

Конечно, это был способ поставить во главе армии того же Алексеева, который тут же был назначен начальником штаба. Но, во-первых, какой это был способ! Во-вторых, был ли это только способ отдать армию в руки Алексеева? В-третьих, не правда ли, к какой прекрасной цели вел этот способ?

Если бы Керенский умел действовать не в стиле оперетки, то он, разумеется, мог бы найти на пост главковерха вполне благонадежного, не одиозного для масс и компетентного генерала или хотя бы офицера; и фактическое военное руководство Алексеева получило бы здесь благоприличный, а может быть и рациональный вид. Но вряд ли я ошибусь, если скажу, что умысел иной тут был: подмостки Керенский любил. И надо было не только прикрыть Алексеева, а и... последовать хорошим

примерам перед лицом современников и потомства. Ведь не столь давний глава правительства и государства, убогий Николай II, также назначил себя главковерхом во время одной армейской передраги...

Советские «Известия» комментировали: «решение А. Ф. Керенского взять на себя командование армией является в настоящий момент, когда необходимо с корнем вырвать и подавить мятеж, организованный командным составом, решением, вполне отвечающим интересам революционной демократии. Безусловно это решение внесет успокоение в ряды солдатских масс, так как явится гарантией того, что никто из виновников этого мятежа не избежит заслуженной кары»... Ну, и Господь с ними, с этими комментариями и с советскими вождями. Пусть читатель сам, чтобы оценить эту «позицию», вспомнит всю совокупность обстоятельств.

Но спрашивается, как же так: взял Керенский, да сам себя назначил. А что же окружающие — по крайней мере, официальные лица? «Решение» было принято по соглашению с личными министрами, составлявшими «кружок» наперсников министра-президента. Керенский много заседал с ними в этот день. И газеты писали: директория, формально отвергнутая, фактически осуществилась и ныне функционирует.

* * *

Генерал-губернатор Савинков в этот день был тоже не без дела. Этот господин 29-го августа был занят введением в столице военного положения. Он составлял приказы такого содержания. В одном

воспрещалось органам печати предавать гласности распоряжения мятежников, а также неофициальные мероприятия законной власти; затем воспрещались призывы к низвержению и ложные сведения, сеющие панику. Эти решительные меры конечно очень хороши. Но и опубликованы то они могли быть только на другой день, когда от корниловщины осталось, можно сказать, одно неприятное воспоминание...

В другом приказе новый громовержец воспрещал всякого рода собрания на улицах и площадях, а равно и подстрекательство к таким собраниям, причем виновные и т. д. Это тоже очень хорошо. Очевидно бунтующие генералы и биржевики делали попытки собираться на площадях и подстрекали рабочих собираться вместе с ними. Однако дело то в том, что писания господина Савинкова были в то время никому не только не любопытны, но и не заметны. Никому ничего он воспретить не мог, и не было в столице ни старого, ни малого, кому бы пришло в голову его послушать. Никакой тут власти не было.

Другое дело некоторые отдельные операции, которые генерал-губернатор мог осуществить при помощи десятка юнкеров. Такие операции в этот день осуществлялись. А именно, в Москве было закрыто знаменитое «Русское Слово», вдруг взявшее на себя роль корниловского официоза. В Петербурге же было закрыто в этот день «Новое Время» и еще один суворинский листок, заменивший известную нам «Маленькую Газету». Причиной послужила «вполне определенная тенденция», выразившаяся в подробном изложении корниловских документов и в неподробном изложении — закон-

ных. На следующий день суворинские газеты не вышли. Нежданно-негаданно мое обещание, данное Гржебину, оправдалось.

Кроме того, Савинков продолжал производить аресты среди черносотенных элементов «высшего столичного общества». Это было не вредно и не полезно, но во всяком случае доступно нашей официальной власти. Из действительных участников и зачинщиков мятежа корниловец-Савинков, конечно, не арестовал никого...

Зато в тот же день советский орган, армейский комитет 12-й армии, арестовал где-то близ Луги нашего старого знакомого, А. И. Гучкова, с некоторыми второстепенными друзьями. На следующий день, по приказу Керенского, Гучков был освобожден... Не знаю, приглашал ли его премьер в директорию. Но во всяком случае, в данный момент Керенский мог с полной свободой казнить и миловать Гучковых — как хотел.

Крах авантюры был уже настолько очевиден, что даже союзные послы, собравшись на совещание, выразили осуждение Корнилову. А корниловская «Речь», изготовившая с утра передовицу во здравие мятежа, в последний момент принуждена была снять ее и вышла на другой день с двумя белыми столбцами под заголовком «Петроград, 30-е августа». Эту сенсационную передовицу долго потом передавали в Смольном из рук в руки — в корректурных оттисках. Мамелюки возмущались и пропитывались яростью против кадетов. Оппозиция старалась раз'яснить советским обывателям истинное положение дел.

Вечером 29-го в Смольном состоялось заседание петербургского совета; но кворума далеко не было,

и вышло скорее «частное совещание» — человек в 400... В Смольном обнаружился определенный рост настроения против Керенского и всего «дружественного» Зимнего дворца. Депутаты, явившись из поднятых недр столицы и выражая их настроение, злобствовали против неофициальных корниловцев и официальных правителей. Выражались очень резко — независимо от партийной принадлежности. Говорили прямо об измене Керенского. И любопытно, что это настроение было свойственно не только депутатской массе; оно разделялось и лидерами — особенно близкими к военно-революционному комитету и занятыми вплотную ликвидацией корниловщины. Особенно хорошо я помню лойяльного эсера Филипповского, который усиленно посылал к чорту и Керенского, и коалицию, и все официальные власти, и верноподданную звездную палату...

Острейший, смертельный конфликт зрел между «законным» правительством и советским военно-революционным комитетом. Но раз этот орган был создан в данной обстановке, для данных целей, — он также развивался по своим непреложным законам. Военно-революционный Комитет не мог уступить ни в чем сколько-нибудь существенном, какие бы экивоки ни выделяла на паркетах высоко-политическая звездная палата.

Настроение росло. Министров-социалистов, порвавших между Смольным и Зимним, встречали нескрываемой пронией и злобой. Но все же среди большинства Ц. И. К. это было только настроение. Новая политическая мысль оформлялась слабо. Только среди правых меньшевиков образовалась небольшая группа во главе с Бог-

дановым, которая демонстрировала свою оппозицию звездной палате и громко кричала против коалиции. И кроме того с Кавказа, от друзей наших лидеров — Церетели и Чхеидзе, от Гегечкори и Жордания в этот день была получена характерная телеграмма: кавказские единомышленники звездной палаты в ней резко протестуют против всяких дальнейших соглашений с буржуазными элементами.

Петербургский совет (или «частное совещание» его членов) слушал доклады о положении дел... Входя на председательскую эстраду, я увидел сидящего на ступеньке, давно не видного на советских горизонтах Войтинского. Мы знаем, что он уже несколько недель состоял помощником комиссара северного фронта и пребывал в действующей армии. У него был необычный боевой вид — кожаная куртка и еще какие-то доспехи. Кажется, он прилетел с фронта на аэроплане... Через несколько минут Войтинский очутился на трибуне и сделал доклад о Корнилове и его роли в последних военных поражениях. Рассказывая о событиях, недавно прошедших у него перед глазами, Войтинский обвинял Корнилова почти в прямой измене. Во всяком случае он нарисовал такую картину патриотического разложения Ставки и командиров, что Совет окончательно разволновался. Настроение Смольной периферии еще повысилось на несколько градусов.

* * *

На другой день, 30-го, с утра начались переговоры по прямому проводу между Петербургом и Ставкой. Это были уже не политические пере-

говоры о соглашении. Это были переговоры о капитуляции, о сдаче. Но — переговоры велись между единомышленниками и друзьями, между мятежником Корниловым и новым начальником штаба Алексеевым. Пусть кто хочет принимает это за переговоры двух сторон...

Мятежники из Ставки выразили готовность сдаться на каких-то условиях. Петербург убеждал сдаться без сопротивления и добровольно отдаться в руки правосудия — безо всяких условий. Впрочем, газеты, смотря по направлению, в различном тоне описывают этот разговор (а в «показаниях» Керенского об этом нет ни слова).

Корниловская «Речь» пишет так: «ген. Алексеев вызвал к прямому проводу бывшего начальника штаба ген. Лукомского и сообщил ему как о своем назначении на пост начальника штаба, так и о том, что Временное Правительство признало необходимым предать ген. Корнилова и ген. Лукомского военно-революционному суду за мятеж... По словам одного из виднейших представителей Временного Правительства, правительство считает невозможным входить в обсуждение условий ген. Корнилова и предложит (?) ему определенно заявить (?), намерен ли он предать себя в руки правосудия без всяких условий или нет (не правда ли, совсем стиль Церетели? см. пред. Ник. С.). Ген. Корнилов будет предан военно-революционному суду с участием присяжных заседателей. В виду того, что ген. Корнилов находится и действовал на фронте, ему грозит смертная казнь»...

Министр-президент, совместно с министром юстиции Зарудным отыскиали в царском уложении статьи, по которым следовало судить Корнилова. Но

читатель, конечно, уже давно заметил: приказа об аресте Корнилова и его ближайших друзей в Ставке наша «законная» власть не давала. Сообщение «Речи» свидетельствует, что отношения законной власти и мятежников сохраняли свой эпический характер. Да и как же могло быть иначе, если ликвидация Ставки была поручена Алексееву?..

Великолепный генерал-губернатор, знаменитый автор «Коня Бледного», тем временем продолжал свою полезную литературную деятельность. В это утро Савинков строчил новые и новые обязательные постановления. Одно из них гласило: шинельные в ношении неприсвоенной форменной одежды подвергаются и т. д. Другое: виновные в самочинной реквизиции имущества подвергаются и т. д. Третье: виновные в скупке у воинских чинов съестных припасов, оружия, предметов обмундирования и снаряжения подвергаются и т. д. Умел человек попасть в самый центр! Неужели ему не приведет Господь еще править нами?

Но вот что необыкновенно странно. Керенский не мог оценить по достоинству и этой генерал-губернаторской деятельности. Именно в этот день Савинков снова подал в отставку, а Керенский ее принял. И на место Савинкова в генерал-губернаторы тут же пожаловал Пальчинского. Великолепно. Удачнее кандидата, по всей совокупности обстоятельств, не мог бы и в три года выдумать другой глава правительства и государства.

Но почему же все-таки он расстался с Савинковым? Этого, как следует, я не знаю. Дело слишком интимное, и истина о нем, быть может, не выходила за пределы покоев Александра III. Но

газеты приписывают отставку Савинкова его ревности к новым людям. Дело в том, что в этот день Керенский пожаловал высоким чином не одного Пальчинского. Став верховным главнокомандующим, Керенский сложил с себя звания военного и морского министров. Но Савинкова, управляющего министерством, он обошел тем постом, который прочил для него Корнилов в своем кабинете.

На пост военного министра глава правительства назначил немного известного пам командующего московским округом полковника Верховского, с производством его в генералы. Это был не особенно глубокомысленный, но весьма экспансивный и еще молодой человек, в общем не без способностей, но без широкого опыта, честный, несколько играющий своей «независимостью» и не знающий чувства меры. В корниловщину Ставка, конечно, очень нуждалась в нем; и Корнилов поспешил снестись с ним относительно «подчинения» московского округа; но Верховский дал Корнилову резкий и демонстративный отпор, держась и далее по отношению к мятежникам очень агрессивно... Кто знает, может быть, это и прельстило Керенского в день 30-го августа?

Морское министерство ныне было выделено. И его главой Керенский пожаловал никого другого, как адмирала Вердеревского — того самого, который «преступно» передал матросскому Центральному Комитету провокаторскую телеграмму о потоплении неблагонадежных кораблей в польские дни. С тех пор Вердеревский находился под судом и чуть ли не содержался до сих пор под стражей. Но тут Керенский распорядился дело о нем прекратить, а его пожаловал в министры.

Хочу казнь, хочу милую. Вы, советские и кадетские, ну-ка поспорьте!.. Впрочем, на этот раз игривая прихоть премьера действительно привела к удачному кандидату. Адмирал был действительно честным, умным и серьезным демократом.

А затем Керенский, уже в качестве главноверха, учинил послекорниловскую чехарду на длинном ряде военных постов, крупнейших и не столь крупных. Что за люди были пожалованы милостью — я не знаю. Именами их пестрят газеты, но они едва ли заслуживают упоминания. В частности, новым главой петербургского округа был назначен некий чиновный генерал Теплов.

Вместе с тем, целый день Зимний дворец был снова и снова поглощен министерскими «комбинациями». Их изыскивал не только Керенский, но и лидеры всех правящих буржуазных партий, которые вились и кружились над Зимним дворцом, как над лакомой добычей. Ибо дело обстояло таким образом.

Благоприятный перелом революции, полный рванш за июльские дни и, в частности, усиление большевизма, в результате корниловщины, — были очевидны не только для меня, Луначарского и Церетели. Теперь, после краха авантюры, это стало очевидным и для Керенского, и для Милюкова, и для всей реакции. Теперь эта «опасность» стала в порядок дня перед лицом об'единенной плутократии.

Газеты, пока Корнилов был еще у ворот, уже пугали большевиками, снова захватившими улицы, призывающими к борьбе, вооружающими рабочих. «На улицах — с ужасом оповещала «Речь» — уже появились толпы вооруженных рабочих, пугающие

мирных обывателей. В Совете большевики энергично требуют освобождения своих арестованных товарищей. В связи со всеми этими фактами все выражают глубокую уверенность, что как только выступление генерала Корнилова будет окончательно ликвидировано, большевики, на которых большинство Совета опять уже перестало смотреть, как на предателей революции, употребят всю свою энергию для того, чтобы заставить Совет вступить на путь осуществления, хотя бы частичного, большевистской программы».

В довольно наивных терминах общая кон'юнктура обрисована не так уж плохо. Но какие же выводы? Выводы ясны. Надо спешно строить плотины, подпорки, баррикады. Надо в экстренном порядке закреплять позиции, занятые после «июля», занятые на московском совещании, до корниловщины. Как это сделать? Впоследствии детали выяснятся, а пока необходимо во что бы то ни стало сохранить максимум власти в руках после-июльских, то-есть корниловских элементов. И кадеты, во главе биржевиков, торгово-промышленников и генералов, вцепились в развалины правительства, требуя власти. Они кричали, что не откажутся от этой великой жертвы отечеству и предъявили условия: 1) пригласить представителей армии в кабинет на военные посты, то-есть привлечь к политической власти генералов, 2) пригласить (кроме них, кадетов, еще) представителей торгово-промышленного класса, 3) подавлять корниловщину без нарушения единства в армии, то-есть без репрессий по отношению к контр-революционному генералитету... Все это было очень последовательно и уместно.

С своей стороны, Керенский был, разумеется,

расположен к кадетам всей душой. Словоохотливый Некрасов, дававший репортерам ежедневно колоссальные интервью, сообщал 30-го, что Авксентьев удаляется на место Чернова, а для уврачевания внутренних дел назначается доктор Кишкин, — Бог весть почему ставший любимым кадетским героем Керенского в эти дни. Некрасов же сообщал, что новый кабинет «не будет коалиционным», ибо не явится продуктом соглашения партий; но он, конечно, будет назависимым и не сдвинется ни вправо, ни влево... Словом, Керенский по прежнему держал в своей слабой голове твердый курс на буржуазную диктатуру, — с участием промежуточных элементов на пиру биржевиков.

Вопрос был в том, как отвечал на это Смольный, взявший на себя в революционном порядке подавление корниловщины и являвший ныне картину восстановленного единого демократического фронта?... Вечером 30-го в большом зале Смольного опять собрался Ц. И. К. Дан докладывал о деятельности военно-революционного комитета, подчеркивая, что Временное Правительство неудержимо тяготеет к компромиссу с Корниловым, и на него приходится сильно давить; но, конечно, старания увенчиваются полным успехом. Далее выступил министр Скобелев с рекламой Зимнего дворца и с требованием дальнейшей коалиции, которая «оправдала себя в последних событиях»... Этот обладатель горячего сердца и холодного рассудка был готов прикрыть своей мощной фигурой и весь Зимний дворец, и его компромиссы.

На таком фоне благоприятно выделился даже сменивший Скобелева Авксентьев, который резко на-

пал на Корнилова, подчеркивая военное значение его измены. Мало того, — Авксентьев оказался настолько «проницательным», что протянул нить от Ставки к Московскому Совецанию, а от него далее и к кадетской партии. И он требовал коалиции, но без кадетов. При этом он выражал точку зрения эсеровского Центрального Комитета. Стало быть, если у правых меньшевиков ныне объявилась фракция, требующая разрыва с коалицией и создания чисто демократической власти, то советские правящие эсеры стали требовать коалиции, но без единственной партии, представляющей организованную буржуазию... Мы вспомним это, но не станем пока останавливаться на политическом смысле этого факта, — то-есть точнее на отсутствии политического смысла у «самой большой российской партии».

Но так или иначе идея коалиции, после корниловщины, в Совете затрещала. Ее идеолог, ее певец, ее раб оказался снова в затруднительном положении, которое он, впрочем, предусматривал с момента выступления Корнилова. И он, Церетели, пошел в обход. Его речь на этом заседании была переполнена комплиментами энергии и разуму советской демократии, составившей единый фронт, о который разбилась контр-революция. «В этот страшный час революционная демократия оказалась ядром, вокруг которого сплотились все живые силы страны» (?!). И длинная вереница пустопорожних фраз увенчивалась несмелым, но определенным выводом: «когда тов. Скобелев сказал нам, что оправдался принцип коалиционного правительства, то мы все почувствовали внутреннюю правоту этих слов. Вокруг нас сплотились

все еще не организованные, но сознательные силы страны»... Конечно, элементы, явно замешанные в мятеже, должны быть «отметены» от власти. Но идея должна быть сохранена. А в качестве гарантии великолепный вождь мещанства настаивал ныне на революционной мере: на роспуске Государственной Думы!

Тем дело пока и кончилось. Заседание было закрыто, не дав ничего нового. У депутатской массы было настроение, но не было ни смелости, ни идеологии; и от лидеров она оторваться при таких условиях не могла. Смольный, завершив для Керенского ликвидацию корниловщины, попрежнему продолжал свою линию фактического и формального развязывания рук министру-президенту.

* * *

Плутократия спешно закрепляла позиции для новых нападений. Промежуточный Ц. И. К. изменял и предавал. Но основные и важнейшие процессы на почве корниловщины происходили в массах. Массы снова всколыхнулись в эти дни до самых недр. Провинция, как и столица, стала на ноги. Инициатива и руководство немедленно перешли к левым, оппозиционным советским партиям. Но к этому времени не мало провинциальных Советов уже имело левое большинство, руководимое большевиками. Во многих городах возникали местные военно-революционные комитеты. Движение провинции было огромно. В Ц. И. К. получались со всех концов сотни телеграмм о мобилизации местных демократических сил — с требованиями беспощадной ликвидации корниловщины и реши-

тельного отпора колеблющемуся Зимнему дворцу. Страницы «Известий» заполнялись этими телеграммами, но далеко не поглощали всей их массы.

Но, разумеется, особенно глубоко движение захватило столицу. Рабочие районы поголовно митинговали, организовывались, вооружались. И гегемония снова перешла всецело в руки большевиков... Однако, тюрьмы были попрежнему заполнены их партийными товарищами, среди которых сидел и Троцкий. И массы озлоблялись, и движение заострялось против официальных правителей, которые на глазах у всех снова заключали союз с мятежниками и держали в тюрьме представителей пролетарского авангарда, спасавшего революцию.

Военно-революционный комитет с своей стороны негодовал и требовал немедленного освобождения политических; но не решался на радикальные меры — на самостоятельное открытие тюрем: это значило бы окончательно ликвидировать «законную власть» и учинить переворот слева.

Вместо того, по настояниям военно-рев. комитета, звездная палата делала несколько раз почтительные представления Керенскому. Звездную палату водили за нос, обещая и снова обещая. Об этих обещаниях доводилось до сведения всего Смольного. Но надежды были напрасны: никого не освобождали. Ведь мы уловляли Кишкина...

Возбуждение же масс на этой почве было так сильно, что военно-революционный комитет был вынужден издать по этому поводу специальное обращение к рабочим: все меры де принимаются, воздерживайтесь от самочинных действий, ибо Корнилов еще у ворот. Призыв Ц. И. К., конечно, не имел бы никакого успеха. Военно-рево-

люционного комитета массы послушались и самочинных выступлений не было... Но столица снова кипела.

* * *

В это время в ее окрестностях бродили разрозненные отряды армии Корнилова, но они были уже не опасны — эти обрывки тучи грозовой. Разрозненные, запутавшиеся в собственном положении, покидаемые колеблющимся начальством, они спешили направо и налево демонстрировать свою лояльность и перемешаться с воинскими частями, высланными против них. В этот вечер, 30-го, по всему фронту вокруг столицы усиленно происходило братание.

Но спрашивается, что же происходило с главным начальствующим над корниловским войском? Что делал теперь ген. Крымов, которого мы оставили в Луге, — или что делалось с ним?... Не знаю, в этот день или накануне глава правительства и государства, в непрестанных своих заботах о мирной ликвидации кризиса, послал к Крымову в Лугу некоего «офицера, который когда-то у него служил, для того, чтобы он раз'яснил ему обстановку». Понимал ее Крымов до того или не понимал, — но во всяком случае он давно знал то, что знала и его армия: что идет он не против большевиков, а поднимает, перед лицом внешнего врага, мятеж действующей армии против «законной власти». Мало того: если его армия была «обманута» перед походом, то Крымов действовал с открытыми глазами еще в Ставке. Правда, его исходным пунктом был «максимум легальности».

Однако, перед заключительным актом переворота, каков бы он ни был, Крымов как будто бы не должен был остановиться ни в каком случае — если только позволит соотношение реальных сил... Но вот легальность срывается, и мятеж разоблачается на первых его стадиях. Связь же со Ставкой прерывается и начальник войск, действующих против революции, предоставляется самому себе. Понимает ли он ныне обстановку и умеет ли сделать надлежащие выводы?

Накануне, утром 29-го, когда перелом определился, но дело еще не было бесповоротно проиграно, Крымов показал, что он обстановки не понимает. Утром 29-го он издал в Луге приказ по своей армии за № 128. В этом приказе видна одна только растерянность: тут и волки не сыты, и овцы не целы... Крымов не находит ничего лучшего, как опубликовать в этом приказе заявления обеих сторон: Керенского о мятеже и Корнилова о провокации. Затем, ссылаясь на авторитет главковерха Клембовского, объявляет «для руководства» (1), что Корнилов, по постановлению казаков, несменяем, а все командующие фронтами ему подчиняются. II, наконец, Крымов оповещает о начавшихся в Петербурге бунтах, угрожающих голодом столице... Больше ничего. Спасти положение при такой «позиции» было невозможно.

Итак посланный Керенским офицер должен был разъяснить Крымову обстановку. Его «миссия» удалась. 30-го числа Крымов вместе с офицером объявился в Петербурге... Вы, конечно, понимаете дело так, что этот офицер арестовал и привез под конвоем главного технического руководителя мятежа и фактического открывателя фронта? Нет,

вы не понимаете обстановки: ведь это не был командующий большевистскими повстанческими войсками... Ген. Крымов просто приехал в столицу и немедленно направился во дворец.

Далее следует сцена, подробно воспроизведенная Керенским. Ее целиком должны использовать авторы будущих исторических мелодрам для невзыскательной публики. Дело было так: — «Когда мне было доложено, что явился ген. Крымов, я вышел к нему, просил его войти в кабинет, и здесь у нас был разговор. В начале ген. Крымов говорил, что они шли отнюдь не для каких-либо особых целей, что они были направлены сюда в распоряжение Временного Правительства, что никто никогда не думал идти против Правительства, что как только выяснилась вся обстановка, то все недоразумение разъяснилось, и он остановил дальнейшее продвижение. Потом он добавил, что имеет с собою по этому поводу приказ. Сначала этот приказ он не показал мне, но... видимо у него было некоторое колебание и, наконец, он отдал мне этот (известный нам) приказ такого яркого и определенного содержания... Я прочел приказ. Я знал Крымова и относился к нему с большим уважением... Я встал и медленно стал подходить к нему. Он тоже встал. Он видел, что на меня приказ произвел особенное впечатление. Он подошел сюда, к этому столу (показывает Керенский Следственной Комиссии), я приблизился к нему вплотную и тихо сказал: «да, я вижу, генерал, вы действительно очень умный человек. Благодарю вас». Крымов увидел, что для меня уже ясна его роль в этом деле». — «Сейчас же я вас вызвал, продолжает Керенский, обращаясь к председателю

след. ком., — и передал вам» — то-есть что передал? Крымова? Нет, председатель Следственной Комиссии тут же подчеркивает, что передал приказ.

Дальше Керенский стал допрашивать мятежного генерала, а генерал стал давать поневоле сбивчивые показания. «Тогда я (Керенский) расстался с ним, то-есть отпустил его, не подав ему руки... Пусть никто не подумает, что я перестал уважать его, отказывая ему в рукопожатии. О, совсем нет!» После нескольких иллюстраций мужества и благородства Крымова, министр-президент продолжает: «все это так ярко характеризует честную, мужественную и сильную сущность этого человека. Но я был официальнейшим лицом в официальной обстановке, среди официальных лиц: передо мной, министром-председателем и военным министром, стоял генерал, государственный преступник, и я не мог, не имел права поступить иначе».

Вы теперь, конечно, поняли, читатель, почему Керенский не мог, не имел права подать Крымову руку? Ну, вот... Вы, читатель, теперь наверно совсем хорошо поняли, что такое был у нас Керенский? После корниловской эпопеи тут, кажется, все стало ясно, как стеклышко.

Крымов ушел из дворца, ушел невозбранно. Никому из официальных людей в этом официальном месте не пришло в голову, что государственного преступника, согласно июльским прецедентам, пожалуй, следовало бы задержать. По меньшей мере, его надлежало допросить в официальном порядке... Но не успели. Через час или два по выходе из покоев Керенского генерал Крымов застрелился. Не станем больше трогать его праха.

* * *

Корнилов и его соратники в Ставке все еще не были арестованы. С ними и на следующий день продолжались переговоры о том, не желают ли они арестоваться? Ген. Алексеев лично собирался по-немногу в Ставку — очевидно в целях окончательного «урегулирования» этого дела, а больше для принятия дел от своих доблестных предшественников...

Это была кричащая демонстрация против организованной демократии — быть может несознательная, но тем не менее наглая. Видя ее, вышел из терпения даже ген. Верховский, уже назначенный военным министром. Он требует у Керенского разрешения снарядить в Ставку военную экспедицию, чтобы окончательно ликвидировать гнездо заговорщиков. И в то же время он телеграфирует Начальнику Штаба Алексееву: «сегодня выезжаю в Ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить с тем издевательством над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место. Корнилов и другие должны быть немедленно арестованы, — это является целью моей поездки, которую считаю совершенно необходимой»... Министр-президент сообщает, что «только с громадным напряжением, пуская в ход все свое влияние и настойчивость», ему «удалось предотвратить возможное осложнение в Ставке»... Да, это вам не дача Дурново! Если мятежники и преступники, не желающие быть арестованными, состоят в генеральских чинах, то тут надо употребить все влияние и настойчивость, чтобы не идти дальше переговоров. И пока не шли.

* * *

А между тем, в это время в Петербурге уже было известно, что Корнилов, фактически ликвидированный, имеет подражателей и продолжателей. Корниловщина перекинулась за тысячу верст, с северо-запада на юго-восток России. Явление начало обнаруживать признаки раковой опухоли и нуждалось в немедленной хирургической операции... Дело в том, что известный нам казачий атаман Каледин стал мобилизовать свои казачьи войска для поддержки и выручки Корнилова. Он сделал своей базой некоторые территории Области Войска Донского и там концентрировал все верные реакционные войска. Туда, к Каледину, уже направлялись эшелоны и с фронта.

В общем предприятие это было совсем не страшное. Начатое самостоятельно, оно было бы гораздо менее опасно, чем поход Корнилова. Теперь же, после провала корниловского заговора, это было совершенно наивное покушение, с негодными средствами. Время юго-восточной казачьей Вандеи еще далеко не пришло...

Известие о «выступлении» Каледина распространилось еще накануне. Какова бы ни была степень его опасности, но ликвидировать его было необходимо в самом экстренном порядке. Уже одного того факта, что на юго-восток двигались эшелоны с фронта, казалось бы, было достаточно для «решительных мер» нашей верховной власти...

Однако, о каких бы то ни было мерах ничего не было слышно. В газетах также я не нахожу никаких следов деятельности Керенского и его товарищей по отношению к попытке Каледина. И только тот же Верховский, еще не покинувший своего московского военного округа, публично

грозил казачьему атаману уничтожить все его эшелоны, идущие с фронта через его территорию.

* * *

Главе правительства и государства было в этот день совсем не до Каледина. Проводив Алексеева в Ставку, Керенский с особой лихорадочной энергией занялся переброской портфелей. И к вечеру 31-го числа Некрасов уже объявил журналистам, что новое правительство готово. Журналисты получили даже и список министров. Сам Некрасов почему-то из кабинета ушел, но ему подобные получили портфели. Из новых — Керенский пожаловал министрами возлюбленного Кишкина, затем известного нам москвича Малянтовича (юстиции), некоего эсера Архангельского (просвещения) и трудовика Ливеровского (сообщения). Остальные нам известны. Из них многие, для блага отечества, обменялись своими портфелями. Всего оказалось в кабинете: 3 эсера, 4 меньшевика (собственно настоящих — один Скобелев), 4 кадет, 2 «радикал-демократа» и пр.... Вот это называется энергия, государственная мудрость, умение найтись в трудных обстоятельствах. В один день такое дело сделать!..

Ну, а Ц. И. К.? Ц. И. К. снова собирался и продолжал вчерашние словопрения. На этот раз там выступали ораторы оппозиции. Очень умно и тактично говорил Каменев. Он указывал, что единственная законная коалиция — коалиция советских партий, коалиция красных кронштадтцев, рабочих и крестьян, — создавшаяся в дни корниловщины, только что спасла революцию и оправ-

дала себя. Но ее хотят разорвать. Вместо этой коалиции хотят создать другую — коалицию с той самой буржуазией, которая питала корниловский мятеж. Сейчас отвергают кадетов. Но это единственная партия организованной буржуазии. Другие, наскоро сколоченные группы не лучше, а хуже. Если быть логичным, то надо соглашаться на кадетов. Но это заведомые мятежники и корниловцы. Совету сейчас надо делать выбор. Либо с революцией и пролетариатом, либо против них, с буржуазией и контр-революцией.

Вероятно, я не ошибусь, если скажу, что большинство мамелюков слушало и сочувствовало; но не смело содействовать: во фракциях, которые в этот день заседали с утра, происходили ожесточенные битвы. Брожение среди правых советских элементов было огромно. Но лидеры пугали июльскими большевиками и не давали оформиться настроениям. В результате, сходились на беспринципном компромиссе, подсунутом эсеровскими обывателями: коалиция без кадетов казалась рациональным и достойным выходом.

Каменев, после речи, огласил резолюцию, которая, если я не ошибаюсь, была циркулярно предложена большевистским Ц. К. для внесения в столичные и провинциальные советы. Эта резолюция имела свою историю, и нам надо познакомиться с нею поближе. Впрочем, ничего нового и оригинального она собой не представляет: «Перед лицом контр-революционного мятежа ген. Корнилова, — говорится в ней, — подготовленного и поддержанного партиями, представители которых входят в состав Вр. Правительства (во главе с партией к. д.). Ц. И. К. считает долгом провозгласить, что отныне

должны быть решительно прекращены всякие колебания в деле организации власти. Не только должны быть отстранены представители к.-д. партии, открыто замешанной в мятеже, и представители цензовых элементов вообще, но должна быть отвергнута в корне та политика соглашательства и безответственности, которая создала самую возможность превратить верховное командование и аппарат государственной власти в очаг и орудие заговора против революции. Нетерпимы далее ни исключительные полномочия Вр. Правительства, ни его безответственность. Единственный выход в создании власти из представителей революционного пролетариата и крестьянства». Программа этой власти нам в общем уже известна: декретирование демократической республики, роспуск Государственной Думы и Государственного Совета, немедленный созыв Учредительного Собрания, отмена частной собственности на помещичью землю — с передачей ее в заведывание земельных комитетов, рабочий контроль над производством и распределением, национализация важнейших отраслей промышленности, беспощадное обложение капиталов и прибылей, прекращение всяких репрессий против рабочих организаций, немедленное предложение мира и т. д.

От имени нашей группы, меньшевиков-интернационалистов, в этом заседании Ц. И. К. выступал Лавинский, известный деятель П. П. С. и неразлучный спутник Мартова. Он также огласил резолюцию, но я совершенно не помню, кем, где и когда она составлялась. Во всяком случае я, по-видимому, не принимал в этом никакого участия. Иначе бы я помнил то неизбежное столкновение с Мартовым, которое я испытал бы при ее об-

суждении. Резолюция была совершенно неудовлетворительна. Предпосылки были правильны, но выводы дряблы и двусмысленны. Резолюция требует, то-есть не требует, а «полагает, что при создавшихся условиях только власть, непосредственно опирающаяся на революционные демократические классы и их органы и ответственная перед ними, способна завоевать себе доверие широких народных масс» и т. д.; правительственная же коалиция «совершенно дискредитировала себя перед народом в роли посредника между революцией и контрреволюцией» (?!); и — резолюция «отвергает возможность участия в министерстве представителей партии к.-д., этих истинных политических вдохновителей и руководителей корниловского мятежа»...

Вся эта вреднейшая и возмутительная размазня решительно никуда не годилась. Да в сущности она и не соответствовала речам Мартова в этот период. К сожалению, я лично запустил дела нашей фракции и не могу объяснить происхождение этого печального документа. Но все же полагаю, что он явился продуктом не столько поправления, сколько разложения нашей группы, действующей в Ц. И. К., — в полном соответствии с разложением всего верховного советского органа, взятого в целом.

Его заседание 31-го августа, как и предыдущие, кончилось ничем. Даже никакая резолюция принята не была. Часов около 8 вечера, немногочисленные депутаты, выслушав речи оппозиции, мирно разошлись кто-куда... Во-первых, говорили, что большой зал Смольного нужен для заседания петербургского совета, который уже начал собираться. Во-вторых, кроме этой важной причины была дру-

гая: лидеры были заняты в своих партийных центральных комитетах, решая там окончательно вопрос о власти.

* * *

К ночи они его решили. Часов в 11 в тот же день, по поручению эсеровского Ц. К., в Зимний дворец прискакали Гоц и Зензинов и заявили Керенскому, что эсеры не войдут в правительство, если туда будут приглашены кадеты... Что касается меньшевиков, то они, быть может, были более смелы и логичны, а может быть их доблестный лидер затащил их направо несколько дальше; насчет кадетов они были не столько категоричны, но все же более или менее тащились за эсерами, поддерживая их. При этом они усиленно кивали на будущее «демократическое совещание», которое де все рассудит.

Но как же сам премьер Керенский? Разве эсеры мыслили министерство без него? Или они решили поставить этого своего члена в твердые рамки, лишая его полномочий образовать любое министерство?... О нет, так далеко, конечно, не шли эсеры. Они заявили только то, что заявили: что сами они (то-есть их лидеры) не войдут в правительство, если там будут кадеты. А для Керенского была сделана специальная оговорка: Ц. К. не запрещает отдельным членам партии, за свой страх и риск входить в правительство. Если же Керенский пригласит кадетов, то он будет считаться действующим не от имени партии и не может требовать ее поддержки.

Для министра-президента это был во всяком слу-

чае некоторый сюрприз. Ведь новый «коалиционный» кабинет был уже готов и даже прорекламирован. Там были и эсеры и кадеты... Керенский стал тянуть и упираться. Во-первых, он слишком связан с Кишкиным, который «даже голосовал за эсеровскую резолюцию о корниловщине». А во-вторых, если так, то он вообще ни за что не ручается и ставит вопрос о своем дальнейшем пребывании у власти... Пререкания пока что не привели ни к чему. Только что составленный кабинет пришлось отменить, чтобы на завтра приступить к делу снова.

* * *

Впрочем, Керенский и назначенная им администрация, среди этих важнейших дел по жонглированию портфелями, отнюдь не забывали и организационной работы на благо отечества. К вечеру в Смольном я узнал, что генерал-губернатор Пальчинский приказал закрыть две столичных газеты. Одна из них была «Рабочий», а другая «Новая Жизнь». Первая была центральным органом крупнейшей пролетарской партии. Вторая была беспартийным независимым органом, проводившим последовательную политику интернационализма и классовой борьбы пролетариата. Их прикрыли в момент обороны революции от нападающих царских генералов и биржевиков, в момент сплочения и солидарности всей советской демократии.

Никакого формального повода, никакой видимой причины не было для прикрытия газет. Это был просто реванш за «Новое Время». Это была такая звонкая и наглая пощечина, которая заставила ах-

нута далекие от пролетариата и совершенно незаинтересованные слои. Пощечина, во-первых, всему российскому рабочему классу, ставшему, как один человек, на защиту революции и самого Керенского. Пощечина, во-вторых, всей свободной, независимой печати, ополчившейся прямо и честно против корниловщины, официальной и закулисной, прямой и косвенной... На другой день даже «Известия» назвали этот правительственный акт, черным по белому, гнусной провокацией. При этом вскоре выяснилось, что г. Пальчинский был скорее исполнителем предначертаний, данных министром-президентом. Очень хорошо!

Я узнал эту новость в Смольном, во время вечернего заседания петербургского совета, куда явились встревоженные Авилов и Гржебин. Надо было что-нибудь предпринять. Но было поздно, и выпуск завтрашнего номера был сомнителен. Практического значения приказу «верховой власти» мы, конечно, не придавали. Но надо было решить, как действовать с формальной стороны. Большевистский «Рабочий» поступил очень просто. Он игнорировал приказ и выпустил очередной номер, захватив на всякий случай небольшой вооруженный отряд для охраны своей типографии. Не такие были сейчас условия, чтобы гг. Пальчинский и Керенский, бывшие официальной властью, могли фактически применять полицейскую силу против рабочих...

У нас же, в «Новой Жизни», возникли разногласия: действовать ли в явно революционном порядке или соблюдать какой-то минимум «лояльности». Дело в том, что из редакции в этот момент были в Петербурге только Авилов и я. Горький

же, наиболее ответственное лицо, находился в Крыму, и снестись с ним тут же было нельзя. Это обстоятельство останавливало нас. И кроме того, типография «Нового Времени» чинила всяческие препятствия к выпуску закрытой газеты. Словом, в тот же вечер мы мобилизоваться не успели, и на следующий день наша газета не появилась.

* * *

На следующий день, 1-го сентября, я с утра отправился в Смольный — главным образом по делам «Новой Жизни». На лестнице встретил Карахана, который приветствовал меня: «А, — один из лучших представителей мелкобуржуазной демократии!» Я вытаращил глаза, но Карахан, смеясь, проследовал дальше. То же самое произошло при встрече еще и еще с кем-то... Наверху дело разъяснилось: мне сунули в руки номер «Рабочего» — с большим, посвященным мне фельетоном Ленина, где в первых строках он рекомендует меня в качестве одного из лучших представителей мелкобуржуазной демократии. Мои довожизненные статьи дали Ленину, в его подпольи, повод для высоких теоретических построений. Фельетон, озаглавленный (по моему адресу) «Корень зла», тогда не показался мне особенно интересным. Но сейчас напротив — он кажется мне в высокой степени поучительным, и может быть впоследствии я еще вернусь к этим рассуждениям великого революционера.

Помню, тут же меня подхватил под руку вечно колеблющийся, ветреный и легковесный меньшевик

Элиава, член военно-революционного комитета; он потащил меня в конец коридора, в крайнюю комнату налево, напротив кабинета президиума. Там происходило какое-то немногочисленное, беспорядочное заседание. Оказалось, что это особая комиссия при военно-революционном комитете, — наш доморощенный «комитет всеобщей безопасности», выполняющий полицейские функции. Почему-то на меня набросились с вопросами, кого именно сейчас еще следует арестовать, кто представляет собой, по моему мнению, опасность, в качестве продолжателей и пособников Корнилова? Дело шло, главным образом, о штатских людях, о лидерах буржуазии...

Но ведь нового заговора-то сейчас не было. Индивидуальные аресты сейчас были ни к чему. Поля для деятельности комитета всеобщей безопасности теперь собственно также не было. Оно могло бы открыться при иной политической конъюнктуре, при иных целях демократии, при ликвидации Керенского и создании революционной власти. Это не ставил сейчас на очередь ни Смольный в его целом, ни поднявшийся, руководимый большевиками, столичный пролетариат... В ответ на обращенные ко мне вопросы я только отмахивался и смеялся.

В малой зале, где обыкновенно заседало «бюро», я увидел министра внутренних дел Авксентьева и хотел расспросить его насчет «Новой Жизни». Около него стояла группа людей и допрашивала его о делах в Зимнем.

— Ну, а что же вы скажете об измене Керенского? — наивно спросил вдруг кто-то из левых рабочих.

Авксентьев помолчал в полном недоумении.

троссы кронштадтцев и выпускайте завтра. Пойдут с полной готовностью... Анархия? Непоследовательность!.. Э-э, плюньте! Теперь не до того...

В штабе меня немедленно охватила атмосфера самой наглой контр-революции. Сначала я прошел в комнату нашей советской делегации, где пребывали на дежурстве двое-трое наших смольных военных людей. Это были люди из большинства, мои противники. И они удивили меня дружеским приемом, который объяснялся именно тем, что здесь, на территории Зимнего, они чувствовали себя в глубоко враждебной атмосфере. Здесь эти люди, разбивавшие себе лоб на «поддержке и доверии» «неограниченной» коалиции, решительно отбрасывались к единому Смольному демократическому фронту.

Эти люди «дежурили» в штабе; но они собственно ничего не делали, — только томились и злобствовали в своем бессилии. Здесь, на территории верховной законной власти, их игнорировали и даже третировали — так же, как на всей территории России игнорировали и третировали бутафорскую верховную власть...

Зачем я приехал? По делу «Новой Жизни»? Дежурные скептически усмехались. Они ничего сделать не могут, кроме как показать, в каких покоех пребывает «генерал-губернатор». Но мне, собственно, и не нужно большего.

Довольно шумные, беспорядочные, несколько поблекшие за революцию апартаменты. Непроницаемые, изысканно вежливые часовые-юнкера. Давно забытые старорежимные, трусливо-надутые, нагло-подхалимные чиновничьи физиономии. Лощенные, блестящие, звенящие, скользящие по сомнительному

паркету офицеры. Как в инородное тело, в меня со всех сторон вонзались любопытно-презрительные взгляды. Я не замедлил механически подтянуться и принять невольно крайне высокомерный вид. На вопрос подплывшего ад'ютанта я назвал себя и предложил доложить Пальчинскому, отказавшись пояснить цель визита. Началось шушуканье, взгляды удвоились. На меня показывали глазами проходящим офицерам и генералам... Впрочем, Пальчинский не заставил себя ждать.

В видимом сознании полноты своей власти он сидел за столом, как-то странно поставленным впереди огромного кабинета. Я сел напротив. Разговор был очень краток, но не лишен характерных черт.

— Намерены ли вы отменить ваше распоряжение о закрытии «Новой Жизни»?

— Нет, не намерен. Собственно, это распоряжение сделано по личному желанию министра-председателя. Ваша газета не может быть терпима. В такой трудный момент она ведет свою прежнюю резкую агитацию против государственной власти, призывает к прямым беспорядкам... И какие у вас приемы! Как-то... ваша газета всегда... подчеркнет...

Пальчинский помог себе жестом и на его физиономии проявилась неподдельная ненависть к газете, немало травившей лично его... Я, однако, не имел оснований поддерживать разговор в такой плоскости.

— Но, ведь, вы знаете, — сказал я, — что мы можем эту же газету завтра выпустить под другим названием? И мы, конечно, это сделаем. В результате, если кто-нибудь проиграет, то...

Пальчинский как будто несколько обрадовался такому моему заявлению.

— А-а! Вы хотите выпустить? А вы читали декрет, который я подписал специально на этот случай? По этому декрету вам за это...

Никакого декрета я не читал, — но как бы то ни было, продолжать разговор было явно бесполезно. Не дослушав речи об ожидающих меня карах, я встал. В этот момент на столе зазвонил телефон, и Пальчинский заявил не без торжественности, как бы заключая аудиенцию:

— Сейчас меня требует к себе министр-председатель.

Мы одновременно вышли из кабинета и направились в разные стороны... После моего доклада в редакции вопрос стоял так: выпускать ли завтра «Новую Жизнь», как таковую, под старым названием, или изменить название для той же газеты. И в том, и в другом случае (принимая во внимание новый «декрет») необходимым условием выпуска был вооруженный отряд в типографии. Его без труда можно было достать в Смольном... Формально ответственного лица, Горького, в Петербурге не было. Действовать в резко революционном порядке можно было только за его счет, то-есть при его ведомах и согласии. Поэтому было решено действовать в более мягких формах: выпустить газету вопреки декрету, но под другим названием... Тут же было составлено от редакции заявление для напечатания на первом месте: «редакция не считает возможным немедленно продолжать выпуск газеты, так как не может быстро снестись с ответственным редактором газеты Максимом Горьким, находящимся в Крыму»...

* * *

В это самое время в Могилеве пропсходил заключительный акт корниловской трагикомедии... Начальник штаба Алексеев находился в Ставке уже с утра и..., повидимому, был принят Корниловым лично. Алексеев попрежнему настаивал, чтобы мятежники арестовались. Но Корнилов и Лукомский попрежнему отказывались. Алексеев настаивал, чтобы дело было ликвидировано без кровопролития; но уверял, что правительство «не остановится и перед решительными действиями». Увы! даже и такие аргументы не производили желаемого впечатления. Что тут делать?

Ген. Алексеев тогда вызвал к прямому проводу министра-президента. И доложил ему, что мятежники арестованными быть не хотят, а войска в Ставке разделились на два лагеря: большинство за Корниловым, а меньшинство — за законную власть. Что тут делать?

Однако, Керенский, как всегда, был тверд и непреклонен. Он приказал Алексееву исполнить то, что уже было приказано еще накануне. Керенский, по словам газет, присовокупил, что приказ об аресте Корнилова должен быть исполнен через два часа. Иначе Петербург будет считать Алексеева «пленником» (?) Корнилова и пошлет войска ему на выручку... Это было часа в два.

В восьмом часу вечера Алексеев телеграфно донес, что войска в Ставке благополучно переменили настроение и теперь все согласны подчиниться новому верховному главнокомандующему... Тем временем из Орши в Могилев, на «выручку» Алексеева, уже двигался отряд полковника Короткого. Алексеев поспешил раз'яснить, что в этом ныне нет нужды. А в 11 часов вечера того же 1-го сентября

он телеграфировал, что Корнилов, Лукомский и другие вожди заговорщиков благополучно арестованы и находятся под стражей... Никаких столкновений не было. В Ставку уже прибыла следственная комиссия и начала работу.

Корнилов был заключен в тюрьму в городке Быхове. Заключение это было очень относительно. Когда оно грозило не столь шуточным и даже рискованным арестом (при большевиках), Корнилов легко бежал. Пока же о степени серьезности ареста можно судить на основании того факта, что кроме обычной стражи Корнилова «охраняли» его собственные текипцы, то-есть особо преданный ему почетный конвой, с которым он, в частности, явился в Зимний к Керенскому в момент конфликта, перед московским совещанием... Против такого способа — можно сказать, добровольного заключения не раз протестовали армейские и советские организации. Но безрезультатно.

* * *

В те же часы в Смольном происходил другой заключительный акт корниловского эпизода... Идя туда, часов около восьми вечера, я встретил на лестнице Мартова.

— Идите скорее, — сказал он мне, — там любопытная сцена. Дикая дивизия пришла с повинной. Президиум и другие принимают ее делегатов.

Зала «бюро» была битком набита бешметами, папахами, бурками, позументами, кинжалами, черными блестящими усами, удивленными рачьими глазами и запахом лошадей. Это были выборные, сливки,

во главе с «туземными» офицерами — всего пожалуй человек 500. Толпа хранила глубочайшее молчание, тогда как делегаты отдельных частей, с бумажками в руках, на ломаном языке, говорили речи от имени их пославших. Говорили все в общем одно и то же. В наивно-высокопарных выражениях они воспевали революцию и заявляли о преданности ей до гроба, до последней капли крови. Ни один человек из их части, ни один человек их народа не шел и не пойдет против революции и революционной власти. Произошло недоумение, которое было рассеяно простым восстановлением истины. «Дикие» приносили торжественные клятвы.

Ни один из ораторов не преминул подчеркнуть свою особую гордость, что во главе российской революции стоят его земляки, которые сейчас и принимают их от имени «великого» Совета. Каждый посвятил часть, а то и добрую половину речи председателю Чхеидзе, а особенно Церетели; к нему иные обращались даже на «ты», называли его «великим вождем»... Церетели отвечал землякам в очень симпатичной речи. Его характерное ораторское свойство, констатированное его другом Даном, а именно бедность его лексикона, отражающая, на мой личный взгляд, объем всего его идейного содержания, — на этот раз компенсировалась необычайной «задушевностью» тона. И, разумеется, Церетели также говорил не только как лидер Совета. Он приветствовал «диких» и как кавказцев, как уроженцев тех же гор, из которых вышел он сам...

За столом президиума сидел и Каменев, а за ним в группе советских людей стоял Рязанов. Протис-

жавшись через толпу, я убеждал Каменева непременно выступить от имени большевиков. Он и сам сознавал, что это необходимо, но не решался. Между тем, «дикие», осязая ныне Совет, объединяя его с «законной властью» и с революцией, попрежнему представляли себе большевиков в виде злодеев из некоего неведомого потустороннего мира. Надо думать, что на большевиков они были бы готовы броситься с прежней яростью и теперь. Необходимо было тут же, в момент благосрастворения воздухов, продемонстрировать перед ними это страшилище; надо было дать элементарные понятия о большевистской партии, выражающей интересы рабочего класса; и, в частности, надо было подчеркнуть единый советский фронт с большевиками перед лицом корниловщины... Насколько помню, Каменев так и не выступил. Но выступил Рязанов, говоривший очень волнуясь, в довольно расплывчатых чертах.

* * *

В этот вечер, 1-го сентября, Ц. И. К. собирался снова. Зачем?... Да все для тех же правдных разговоров о власти. Разговоры начались часов в девять — все тем же нудным словоизвержением Скобелева о необходимости коалиции, ибо революция у нас буржуазная. Затем Богданов снова толковал о диктатуре демократии, но не советов, а кооперативов, новых дум и земств и т. д. Резко обрушился на коалицию Рязанов. Выступал кто-то еще. В общем было скучно и нелепо... К тому же звездной палаты налицо не было. Она снова хлопотала в Зимнем.

Керенский упирался в течение всего дня, настаивая на привлечении кадетов и угрожая своей отставкой. Вечером он созвал заседание с участием звездной палаты. Возникли все те же прения: с одной стороны, устранение кадетов усилит контрреволюцию и дискредитирует власть перед лицом армии (то-есть генералов); с другой стороны, привлечение кадетов вызовет отпор советской демократии. Так говорила звездная палата, заявив, что это ее последнее слово и что кадетов Ц. Н. К. не потерпит... Звездная палата покинула заседание — около 11 часов. Министры же Скобелев и Авксентьев оставались, и прения продолжались в том же духе еще часа два. Вся буржуазная часть собрания (включая Керенских, Никитиных, Верховских) настаивала на кадетях, считая Совет за величину, не стоящую внимания. Тогда советские министры заявили о своей отставке.

Сомнения едва ли возможны: Керенский рассчитывал на такой исход и вероятно считал его желательным, то-есть, по крайней мере, наименьшим злом... И сейчас же была решена вожденная директория или — совет пяти. В него вошли — Керенский, Терещенко, Никитин, Верховский и Вердеровский. «Вся полнота» была, как видно, у главы правительства и государства. То-есть «вся полнота» среди проходимцев адъютантов и лакеев Зимнего дворца...

Но все-таки как же Совет-то, с единым рабоче-крестьянским фронтом в придачу?... О, нашему доброму народу были даны солидные компенсации! Во-первых, тут же было решено распустить Государственную Думу и ее Временный Комитет. Во-вторых, было постановлено провозгласить Россию

республикой. В-третьих, было условлено, что Совет Пяти будет временной властью, — впредь до решения демократического совещания, созываемого Ц. И. К.... Обо всем этом было составлено официальное заявление, помеченное еще 1-м сентября. Подпись Керевского скрепил министр юстиции Зарудный, который, впрочем, тут же почему-то вышел в отставку...

В заявлении было, однако, отмечено черным по белому: «Вр. Правительство будет стремиться к расширению своего состава путем привлечения в свои ряды представителей всех элементов, кто вечные и общие интересы родины ставит выше временных и частных интересов отдельных партий или классов»... Как видим, это — законченная, классическая кадетская формула. Да и вообще все это, вместе взятое, — и в частности провозглашение российской республики в уплату за «директорию» — нельзя назвать иначе, как политическим хулиганством.

Я помню, как в Смольный, среди все тех же речей о власти в заседании Ц. И. К. с шумом вернулась из Зимнего звездная палата, а за ней и вновь отставленные министры. Я помню, как Авксентьев, в исступлении, какого я еще не видывал, бил кулаком о кафедру и кричал, что больше он не министр... Но что было в заседании дальше, я уже не видел и не слышал. Я должен был уйти из Смольного, — за мной пришли и торопили меня.

А в Смольном дальше все шло так, как только и можно было ожидать... Выкинутый и оскорбленный министр внутренних дел тут же обрушился с обвинениями... на Ц. И. К. и на военно-революционный комитет за помехи, чинимые Керенскому,

за «самоуправство», выразившееся в самовольном передвижении войск и судов. При этом он оперировал с документом, которым только что пугал его Керенский в Зимнем дворце. Но документ оказался подложным...

Затем, по обыкновению, говорили лидеры фракций — Либер, Мартов, Каменев. Говорили знакомые нам речи. А в заключение выступил Церетели, конечно, посрамивший оппозицию: ибо он, как всегда, был победителем в борьбе с буржуазией. «Керенский, — говорил лидер большинства, — мог бы нанести нам удар, если бы оставил нас без правительства. Но на каких бы принципах ни была создана власть, она создана и способна бороться с контр-революцией. Цензовые элементы (вы слышите, читатель, благородного вождя?) удалены по нашему желанию. И мы должны сказать, что это правительство мы будем поддерживать».

Это говорил человек, которого часом раньше его собственные «живые силы» выкинули из Зимнего дворца со всеми его «идеями» и со «всей демократией» в придачу.

После речи Церетели была огромным большинством принята его резолюция, где говорилось: в настоящем трагическом положении необходима «сильная революционная власть, способная осуществить программу революционной демократии и вести деятельную борьбу с контр-революцией и внешним врагом. Такая власть, созданная демократией и опирающаяся на ее органы, должна быть свободна от всяких компромиссов с контр-революционными цензовыми элементами»...

Это предпосылки, и мы видим, что они не

так плохи. Но вот выводы: «Ц. И. К. постановляет: 1) немедленный созыв с'езда всей организованной демократии и демократических органов местного самоуправления, который должен решить вопрос об организации власти... 2) до этого с'езда Ц. И. К. предлагает (вы слышите? они предлагают!) правительству сохранить свой теперешний состав и приветствует первый шаг его — провозглашение демократической республики, рассчитывая, что оно будет вести в тесном единении с органами революционной демократии решительную борьбу с контр-революционными заговорами; 3) Ц. И. К. находит необходимым, чтобы правительство действовало в тесном контакте с военно-революционным комитетом; 4) Ц. И. К. требует от демократических слоев не поддаваться провокации и с полной выдержкой ожидать решения демократического с'езда, воздерживаясь от самочинных выступлений». И, наконец, Ц. И. К. обещает новому правительству энергичную поддержку...

Все ясно. Комментировать не стану.

* * *

Может быть, читатель помнит, куда и зачем мне нужно было удалиться с половины этого заседания... С отрядом матросов человек в 25, Авилов, Гржебин, я и еще несколько близких сотрудников — двинулись из Смольного в типографию «Нового Времени», чтобы выпустить нашу газету. Отряд расположился частью у ворот, частью близ помещений, нам необходимых: ведь в этой типографии мы только печатали, матрицы изготовлялись в нашей собственной, на Шпалерной. Задача была в

том, чтобы от полноты власти Пальчинского охранить стереотипную и ротационную...

Очень спешили и волновались, но все же запаздывали. Стереотипы были готовы только около 4-х утра. Генерал-губернатору, если он желал пресечь наши злодеяния, уже пора было присылать свои вооруженные силы... Но вот стереотипы уже в машине, вот машину уже пускают.

Мы все собрались около, поминутно выбегая проверять посты. Противника не видно. Все мы и нововременские рабочие — в возбуждении и азарте: если и помешают, то хоть бы тысячу отпечатать и разнести по городу, из принципа...

Пущенная машина остановилась. Бумага рвется, и еще, и еще раз. Незадача! Переменяют бумажный вал, но не налаживается, казалось, долго, долго... Но вот колеса завертелись, посыпались, сложенные номера «Свободной Жизни» от 2-го сентября. Их охабками подбирают работницы и уносят.

Уже светло. Газетчики уже столпились у входа в ожидании своих порций... Вот тысяча, вторая, пятая, десятая, и дальше, и дальше. Вот уже 7 часов. Колеса все вертятся, дружно, без помехи. Газета вышла...

Отряд больше не нужен, его отпустили, и стали расходиться сами. На углах газетчики уже оделяли прохожих нашей газетой, где все было на своем месте и было, по обыкновению, «подчеркнуто» то, что следовало. Пальчинский, как и надо было ожидать, не сунулся со своей полной властью. Впрочем, генерал-губернатор получил отставку того же 2-го сентября.

* * *

Так было ликвидировано корниловское «выступление»... Бутафория Зимнего дворца сохраняла свой прежний характер; буржуазия попрежнему наступала, стремясь закрепить до-корниловские, после-июльские позиции и превратить свою формальную диктатуру в реальную. Клика Керенского, Терещенки и Кишкина попрежнему имела целью ликвидировать всякое влияние организованной демократии и установить диктатуру капитала... А Смольный, звездная палата, советское большинство попрежнему предавали революцию в руки буржуазии.

Воссозданный на мгновение единый революционный фронт они немедленно разорвали — ради своей мещанской идеологии, в силу своего классового положения между молотом и наковальней. Правда, законный брак мещанства с крупной буржуазией был расторгнут корниловским ударом. Но фактическое сожителство было продемонстрировано всенародно в день окончательной ликвидации корниловского эпизода. Вся наличная реальная сила и власть, принадлежавшая Совету, была снова положена к ногам контр-революционной плутократии.

Вопрос, однако, в том, что это была теперь за сила, и какое употребление могли сделать из нее бонапартия Зимнего? Вопрос заключается именно в этом...

Увы! необъятные силы Совета, попавшие в руки лидеров-мещан, они уже позорно промотали... Ц. И. К. меньшевиков и эсеров одряхлел, пребывая в старческом маразме и до корниловщины. Он попустительствовал контр-революции именно тем, что развеял по ветру свою силу и разложил ее в своем самоупраждении. А вместе с тем он обес-

сил и разложил вообще государственную власть, которая могла возродиться только на новых основаниях.

Теперь же, после корниловщины, у звездной палаты уже ничего не осталось за душой, кроме избитых фраз и жалких резолюций. Из них клика Керенского не могла сделать нужного употребления. Из них она не могла создать вождеденной диктатуры плутократии... Будет ли восстановлен законный брак крупной и мелкой буржуазии, или не будет, — но не в пример тому, чтобы было в мае, теперь «Совет» уже не принесет прежнего приданого. Оно общими усилиями промотано до конца.

Но и других источников нет для создания реальной диктатуры плутократии. Если их признаки явно обозначились после июля, то их рассеяла корниловщина. Пусть наступает Зимний, пусть изменяет Смольный. Пусть стоит грязное болото на том месте, где была некогда великая революция. Мы увидим, что это не страшно и не надолго...

И Зимний, и Смольный остались на своих местах и на своих позициях после корниловского похода. Но это только внешность, это — поверхность, которая не должна скрывать от нас существо дела. Огромный толчок, данный Корниловым справа, окончательно выбил революцию из атмосферы «июльской» реакции; он отбросил ее далеко влево и двинул далеко вперед.

Январь-май 1921 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
1. После «июля»	7

Керенский и его эпоха. — Вторая коалиция. — Ре-
прессии. — Ленин из подполья. — Стеклов в бесте. —
Перекидной огонь буржуазии. — В провинции. — На
фронте. — Вопрос о диктатуре. — Керенский и «не-
зависимость власти». — Вопрос о диктатуре в Ц. И. К.
— «Правительство спасения революции». — Почва для
диктатуры. — Дегрессия и реакция в массах. — «Успо-
коение» флота и Кронштадта. — Выдача вождей. —
Восстановление смертной казни. — Церетели в роли
Плеве. — Гонения на печать. — Военная цензура. —
Министерские циркуляры. — Злость и слабость второй
коалиции. — История с финляндским сеймом. —

2. Сказка про белого бычка	37
--------------------------------------	----

Погоня за новыми буржуазными министрами. — Ке-
ренский усовершенствует кабинет. — Чехарда канди-
датов. — Кадетские биржевики и просто биржевики. —
Новый кабинет готов. — Церетели сконфужен. —
«Приемлемые» условия контр-революционеров. — Совет
путается в ногах неограниченного премьера. — Керен-
ский «взрывает» бедную Россию. — В Таврическом. —
Эвакуация над большевиками. — В ком бьется русское
сердце. — Глубокомысленное начинание Керенского.
— «Государственное Совещание». — Похороны казаков.

— Позор Ц. И. К. — Пленум верховного органа. — Армейские организации. — Троцкий об июльских событиях. — Подозрительные построения в Ц. И. К. — Неприятности звездной палаты. — Отчеты министров-социалистов. — Земельные дела. — На продовольственном фронте. — Экономич. Совет. — «Железный день» вместо регулирования промышленности. — Дело мира при второй коалиции. — Патриоты или хамы? — Мартов о кон'юнктуре. — «Выбор» Керенского.

3. Синяя птица в руках

83

Пленум занимают, чтобы не скучал. — Официальный доклад о советской внешней политике. — Что привезет из Зимнего звездная палата. — Выдача Чернова. — Чернов в роли взятки. — Дающие и берущие. — Еще одно «историческое заседание». — Ночь на 22-е июля. — Повторение кашптуляции 20-го апреля. — В ожидании *сюр д'etat*. — Совещание советской оппозиции. — Канитель в Зимнем. — Некрасов и Милюков поддерживают Церетели. — Керенский восстановлен в роли спасителя. — Смольный «присоединяется». — Новый главоверх также «перед Богом и совестью». — Синяя птица поймана: третья коалиция составлена. — Ее представляют Совету и Ц. И. К. — Дело идет не столь гладко. — Диктатура буржуазии подтверждена и закреплена. — Другая сторона медали. — Массы оправляются.

4. Дела и дни третьей коалиции

123

В провинции. — Новый с'езд кадетов. — «Костлявая рука голода». — Буржуазия высоко держит голову. — Снова закрыты газеты. — С'езд губернских комиссаров. — Александр всероссийский и Георг британский. — Дело о «Стокгольме». — Нога о «Новой Жизни». — Керенский борется с капиталом и охраняет труд. — Перевод Ромаковых в Тобольск. — Бесплодное брожение в Ц. И. К. — Подергивания влево и вправо. — «Совещание по обороне». — Народ и Совет «взяли дело войны в свои руки». — Третья коалиция возрождает

большевизм. — Объединительный съезд большевиков. — В рабочей секции Совета. — Опять большевики!

5. Московское позорище 147

Для чего оно? — Состав «государственного совещания». — Подготовка. — Крупная буржуазия, творящая контр-революцию. — Мелкая буржуазия, попустительствующая контр-революции. — Пролетариат, борющийся с контр-революцией. — В день открытия в Москве. — Большевики скандалят в хорошем обществе. — В Большом театре. — Керенский грозит, но никому не страшно. — Министерские речи. — Корнилов и Каледин. — От Иверской на трибуну. — Чхендзе «от имени всей демократии». — Совет равен увечному вонну. — Декларация 14-го августа. — Предательство «по мере возможности». — Профессор Милюков и прочие тузы биржи. — Церетели на аркане у Бубликова. — Плеханов спасает Совещание. — Последний аккорд в неисправности «органчика». — Итоги. — Дела в Финляндии.

6. От диктатуры бутафорской к реальной диктатуре 176

Дело о смертной казни в Совете. — Поражение Церетели. — Дело об арестах. — Звездная палата шатается. — Госуд. Дума или Учр. Собрание? — Две армии. — Ц. И. К. мечется между ними. — Всерос. конференция меньшевиков. — Выборы в Гор. Думу. — Видят ли теперь большевиков? — Маленькое предупреждение справа. — В Смольном. — Прорыв под Ригой. — Донесения комиссаров. — Позиции буржуазии. — Пораженчество патриотов. — Реляции Ставки. — Ее разоблачение. — Поражение на фронте и демократия. — Петербургский гарнизон. — В Ц. И. К. — Я «хуже Володарского». — Закрывают «Пролетарий». — Солдатская секция о выводе гарнизона. — Большевики на фронт, казаков в Петербург. — Политическая программа контр-революции. — Генералы и биржевики готовы. — Выдача Пешехонова.

7. «Выступление» объединенной буржуазии . . .

Полугодовщина революции. — 27-е августа. — Корнилов идет на Петербург. — В Смольном. — Благословенная гроза. — Краткая история корниловщины. — Диктатура буржуазии и правительство Керенского. — Необходимые условия переворота. — Корнилов. — Подготовительная кампания. — Казачество. — «Общественные деятели». — Роль Мосцов. Сопровождения. — Передвижения корниловских полков. — «Меры» Керенского. — Керенский «соглашается» на военное положение. — Керенский вручает Корнилову власть над Петербургом. — Керенский вызывает в Петербург корниловскую гвардию. — История движения 3-го корпуса. — Юридические тонкости и политическая сущность. — «Выступление» Корнилова. — Заговор особого рода. — Меркурий-Львов. — Маккиавелли-Керенский. — Неизреченное глубокомыслие. — Несравненный диалог мятежника с законной властью. — «Решительные меры» министра-президента. — В правительстве. — Снова кризис. — «Великая провокация». — 27-е в Зимнем и в Смольном. — Конечный смысл грязного дела.

8. Ликвидация корниловщины 279

Ц. И. К. ночью на 28-е. — Прокламация Керенского. — Снова канитель о власти. — Ц. И. К. снова вотирует коалицию. — Керенский требует директории. — Прокламация Корнилова. — Мудрость Скобелева, доблесть Церетели. — Ц. И. К. отменяет коалицию: все спасение в директории. — Меры обороны. — Военно-революционный комитет. — Роль и позиция большевиков. — Меры в.р. ком-та. — Разрушение путей. — Вооружение рабочих. — «Междурайонное совещание». — Воен.-рев. ком. становится властью. — В Зимнем 28-го. — Снова жонглирование портфелями. — Смольный путается в ногах. — Корниловец Савинков во главе войск против Корнилова. — Ген. Алексеев и Милюков у Керенского. — «Решительные меры» 28-го. — Ход мятежа. — Корнилов и генералитет. — Корни-

ловщина и армия. — Силы Корнилова. — Поход. — В Луге. — В окрестностях столицы. — Рабочий Петербург поставлен на ноги. — «Нов. Жизнь» и «Нов. Время». — Восстановление единого демократического фронта. — Аресты в.р. ком. в ночь на 29-е. — Перелом. — Утро 29-го. — Повинная казаков. — Мятеежники «преданы суду». — Керенский — Верх. Главнокомандующий. — Творчество Савинкова. — В Смольном выясняется роль Зимнего. — 30-е августа. — Назначен ген. Алексеев, уволен Савинков, назначен Пальчинский, назначены Верховский и Вердеревский. — Толчок влево. — Буржуазия бьет тревогу. — Буржуазия закрепляет после-июльские позиции. — Керенский идет навстречу. — Смольный упирается. — Столица снова кипит. — Реванш за июльские события. — Окончательная ликвидация. — Ген. Крымов. — Мятееж Каледина. — 31-е августа. — Директория составлена. — Оппозиция в Смольном. — Звездная палата бунтует. — Закрыт «Рабочий» и «Нов. Жизнь». — 1-е сентября. — «Измена Керенского». — В штабе. — Г. Пальчинский. — Мятеежники согласились арестоваться. — Корнилов под охраной почетного караула. — Повинная дикой дивизии. — Советские люди покидают Зимний: Керенский победил. — Бутафорская диктатура восстановлена. — Ц. И. К. поддерживает директорию. — Все попрежнему. — Буржуазия снова наступает. — Ц. И. К. снова предает. — Но массы сами вернули силу. — Революция двинута вперед.



10973

0

DK
265
S847
1922a
kn.5

Sukhanov, Nikolai' Nikolae-
vich
Zapiski o revoliutsii

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

